



11-12/90

ISSN 0236-3283

Татуировка на теле,
шрамы на душе —

тема очерка
Ларисы Кислинской

Главный редактор
Геннадий БУДНИКОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АБРАМОВ
Игорь ВАСИЛЬЕВ
(ответственный секретарь)
Альберт ЛИХАНОВ
Дмитрий МАМЛЕЕВ
Георгий ПРЯХИН
Григорий ТЕРЗИБАШЬЯНЦ
(заместитель главного редактора)

Главный художник
Валерий КРАСНОВСКИЙ

Художественный редактор
Елена СОКОВА

Технический редактор
Ольга ЛАЗАРЕВА

На первой странице обложки
фото
Игоря ГАВРИЛОВА

© "МЫ", 1990
Издательство "Дом
Советского детского фонда
имени В. И. Ленина
Адрес: 101963, Москва,
Армянский переулок, 11/2А
Телефон: 923-66-61

Отпечатано в типографии
А/О Принт-Юхтиёт
Соинпринт Финляндия
при посредничестве
В/О "Внешторгиздат"

Сдано в набор 12.10.90 г.
Подписано в печать 03.11.90 г.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2
Число изд. 20,1. Тираж 1476650

11-12/90



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
СОВЕТСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир. Покаяние	2
---------------------------------------------------------------------------	---

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Надежда Тэффи. Авантюрный роман	65
Андрей Косенкин. Ангельский возраст, Рудик, или Китайский смех. Повесть	269
Зарубежная фантастика. Роберт А. Хайнлайн. Гражданин Галактики. Роман. Перевод с английского. Окончание	186
Игорь Линчевский. У нас на даче. Рассказ	33
Ирина Одоевцева. Разбиваются души о счастье. Стихи	254

ПРОБА ПЕРА

Динара Селиверстова, 19 лет. В серой дымке. Стихи	32
Виктор Шляхин, 16 лет. Крупинки вечности. Стихи	49
Александр Ушаков. Нет ничего тайного... или Исповедь преступника перед смертью	144

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

Лариса Кислинская. У преступности – не женское лицо	40
Георгий Танутров. Карета подана... ..	52
Письма в "МЫ"	62, 142
Ищу друга	312

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЕЛОВЫМ?

Оля Лялина. Фирменные игры, или Первые шаги на пути к вершине	257
Стыдно иметь деньги или стыдно не иметь денег?	176

ТВОЙ СВЕРСТНИК ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Дневник Анны Франк	8
Нина Тихонова. Шаги самозванства	262
Рок-энциклопедия	315

ПОКАЯНИЕ

Несмотря на свою никогда не проходящую занятость, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, Патриарший Экзарх Западной Европы, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир соблаговолил стать нашим гостем и принять участие в беседе с корреспондентом журнала "МЫ".

— Ваше Высокопреосвященство, сейчас очень часто звучит слово "покаяние". И всякий раз в душу закрадывается сомнение: много ли мы, мирские люди, о нем знаем? Ведь что ни говори, а у большинства бытует вульгарное представление о покаянии: скажем, если ты обвинил в чем-то давно умершего политического деятеля, значит, ты покался. Если я не ошибаюсь, "покаяние" имеет греческое происхождение и означает "изменение". Что лично Вы, Владыка, подразумеваете под этим словом? Отличается ли церковное покаяние от мирского? И в чем здесь разница?

— Что такое покаяние? Это познание себя, это суд над собой, это сознание греха и желание от него освободиться, это вражда ко

греху, это объявление ему войны.

В Православной Церкви покаяние является одним из семи Таинств, в котором кающийся получает от Бога прощение грехов и благодатную силу для борьбы с ними.

Стоит ли разделять покаяние на церковное и мирское?

Думаю, что внутренние переживания совести однозначны. Другой вопрос: приносит ли покаяние умиротворение, облегчение? Истинное — приносит. Может быть, не сразу, может, лишь после долгих переживаний наполняет оно отрадой сердце кающегося.

Что же касается обвинения кого-то, кто якобы был причиной твоего греха, — то это отнюдь не покаяние, это скорее можно назвать самооправданием и переносом своей вины на другого. Причину надо искать прежде всего в себе.

— Владыка, раньше я был уверен, что покаяться может любой человек, но с годами пришел к выводу, что это не так. Потому что, как мне кажется, для истинного покаяния требуется определенная духовная высота личности, подняться до которой удастся далеко не каждому. Имеет ли, на Ваш взгляд, импульсивное стремление неверующего чело-

века в дни горя искать утешения под сводами Церкви что-нибудь общее с истинным покаянием?

– Все мы дети Божьи. И познание человеком своих проступков, раскаяние в них – всегда радость для Господа. Вы говорите, что не каждый человек способен каяться, а только “личность, достигшая определенной духовной высоты”, но ведь достигнуть-то этой высоты, согласно христианскому вероучению, можно только через покаяние.

“Покаяние – это поле во всякое время возделываемое. Оно – древо жизни, воскрешающее мертвых грехами”, – говорит святой Ефрем Сирин... Надо бояться не тяжести грехов и приходить от этого в отчаяние, а бояться остаться с этим грузом, не попытавшись от него избавиться.

Вы говорите о стремлении неверующего “в дни горя искать утешения в Церкви”. А не отклик ли это на призыв Иисуса Христа: “Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я упокою вас” (Мф. 11, 22). Уверю вас, что любая, пусть робкая и боязливая, пусть маловерная попытка обращения к Богу не останется безответной. Не с этого ли шага начинали и те, кто потом стал Ангелом на земле, т.е. достиг святости.

– Сейчас молодежь испытывает острую неудовлетворенность жизнью. У части парней и девушек это происходит от материального несовершенства нашего общества. У других оттого, что

они не приемлют саму духовную атмосферу, сам воздух нашей жизни. Такие молодые люди нередко становятся наркоманами, спиваются, оказываются в домах для душевнобольных, кончают жизнь самоубийством. Способна ли Русская Православная Церковь дать им спасение?

– Проблемы, о которых вы говорите, не новы. Перед человечеством они стояли всегда. Еще древние греки, восхищаясь красотой и живой стройностью космического целого, с горечью и безысходным отчаянием сознавали безнадежность, тщету и бессмысленность в нем человеческого бытия. Реакция человека, ставящего перед собой вопрос о смысле жизни и не находящего ответ или ошибающегося в нем, может быть различна. Но стоит ли делить людей, как это делаете вы, на “части”. Думаю, это неправильно и несправедливо. Несчастный человек, в чем бы его беда ни состояла, всегда достоин сострадания и помощи. Как бы человек ни заблуждался, причина заблуждения одна – незнание пути, незнание, а может быть, и неимение цели и смысла.

Издавна Христианская Церковь сравнивается с кораблем, плывущим в бушующих волнах житейского моря. Этот образ не случаен. Двери Церкви открыты для всех. Здесь происходит встреча с Христом, который Один есть “Путь, Истина и Жизнь”. Но и мир открыт для Церкви, и ее служение миру состоит также в том, чтобы помочь человеку обрести



уверенность, открыть истинный критерий Добра, показать глупину бесконечной любви и милосердия Божия к людям.

– Я не раз наблюдал, как очень одаренные юноши и девушки оказывались совершенно бессильными перед натиском сегодняшней жизни. Волей-неволей они становились ее участниками, и это приводило порой к духовному и физическому вырождению...

– Для всех очевидно, что сейчас идет непримиримая, бескомпромиссная борьба Добра и Зла. И надо четко определить для себя, на чьей ты стороне. Причин падений человека множество: это и постепенные уступки наступающему Злу, это порой и отсутствие рядом единомышленников, а значит, отсутствие поддержки, это и слабая воля, и бессилие, и отчаяние. Но первопричина состоит в том, что человек не знает: что есть то Главное, из-за чего и ради чего он живет, он не знает, чем можно пожертвовать, а чем жертвовать нельзя. Тем не менее, как бы низко ни падал человек, не следует утверждать о его духовном вырождении. Порок – это неестественное состояние человека. Душа наша по природе своей добра, и для нее всегда открыта возможность для возрождения. "Не отчаивайся в себе, и не говори: Не могу уже спастись", – говорит святой Ефрем Сирий.

– В чем Вы видите основную



причину духовной катастрофы, охватившей значительную часть нашей молодежи?

– В оскудении любви между людьми. В разобщенности и разделении. Вы говорите о духовной катастрофе молодежи, но ведь это не означает, что другая часть человечества, не относящаяся к категории "молодежь", пребывает в духовном благополучии. Ведь мы – единый организм. Мы должны осознать это и повернуться лицом друг к другу, понять, что мы дети Одного Небесного Отца. Кто сильный – помоги слабому, кто богатый – дай бедному то, что у тебя в избытке: будь то материальные блага или доброта души.

– Все сейчас пытаются найти конкретные причины, которые привели наше государство в тупик. Некоторые советские писатели убеждены, что крушение России началось не с октября 1917 года, а чуть пораньше – с февраля. С отречения царя. Когда отрекся государь, Святая Русь как бы отеклась от самой себя, и все буквально посыпалось...

– Общество развивается по определенным законам, оно определяет государственный строй, способствующий его нормальному развитию. Связана ли духовная жизнь человека, жизнь Церкви с той или иной формой государственности? Допуская подобное, надо отметить, что связь эта никогда не была определяющей. Православная Церковь существовала в разных странах, при разных политических режимах оди-

наково – и в Новгородской республике, и при деспотии Иоанна Грозного, и под иноверной властью, – но она не теряла своей полноты и силы. Так в последнее время у нас Церковь существовала в атеистическом государстве, за рубежом – при разных политических режимах. Можно с уверенностью сказать, что не существует никакой внутренней связи между православием и тем или иным политическим строем. Поэтому стоит ли утверждать, что с падением монархии иссяк духовный источник, бьющий на Руси уже тысячу лет. Никогда не умолкал призыв Христа: "Кто жаждет, иди ко Мне и пей" (Ин. 7, 37).

– У многих, к счастью, уже открыты глаза на то, что мир, оказывается, не столь примитивен, как пытались нам внушить в течение нескольких десятков лет. Он гораздо богаче: у него есть не только физическая оболочка, но и духовная сердцевина. Один мой знакомый, чей прадед разрушал церкви, – глубоко верующий человек. Он изо дня в день ходит в Церковь и молит Бога простить. Есть ли у этого молодого человека надежда отмолить грехи своего прадеда?

– Молитва об умерших – это проявление единства всех верующих во Христа, единства живущих на земле и тех, что перешли уже в вечность. Оно выражается в любви и молитвенной поддержке, так как Церковь верит, что люди, ушедшие от нас, могут за нас молиться Господу так же, как и мы за них. Надежда на милость Бо-

жию есть у каждого христианина: "Просите и дано будет вам" (Лука, XI, 9), – сказал Господь. Окончательный же суд принадлежит Богу, а не человеку. Поэтому наше призвание – молиться и надеяться.

– Духовная неустроенность нашей молодежи часто проявляется в безумных развлечениях и диких пристрастиях. Но что меня больше всего поражает – многие из этих молодых людей находят дорогу в церковь. А некоторые появляются там, даже совершив тяжкие преступления.

– "Все мы согрешили и лишены славы Божией" (Римл. III, 23), – говорит Апостол Павел. Вновь обрести в себе образ Божий человек может только в Церкви. Все мы со своими пороками, грехами приходим ко Христу и покаянием смываем нашу грязь. Каждый грешник, входящий в Церковь, – праздник Богу. Ведь в Евангелии написано, что Господь радуется более об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках (Лук. XV, 7).

– Сейчас увеличился приток в духовные семинарии именно той части молодежи, которая совсем недавно сама ни во что не верила и чьи родители до сих пор не верят в Бога. Можно ли стремление вчерашних безбожников – стать священниками – расценивать как покаяние?

– Пастырское служение почетнейшее, но и труднейшее. Это путь Христа, путь на Голгофу, ибо "пастырь добрый жизнь свою по-

лагает за овец" (Ин. X, 11). Всякое искреннее стремление послужить делу Божию приветствуется и получает поддержку прежде всего от Бога. "Сила Моя совершается в немощи", – сказал Господь Апостолу Павлу. Семинария и Академия – это не простые учебные заведения. Это прежде всего Духовные школы, в которых человек может испытать, оценить и проявить свои духовные силы и не раз спросить себя о правильности выбранного пути.

– Владыка, в Русской Православной Церкви есть понятие соборности. Если я не ошибаюсь, оно означает, что все мы, живые и мертвые, собраны вокруг единого центра Мироздания, которым является Иисус Христос. Значит ли это, что все мы, ныне живущие, можем отмолить грехи и спасти души тех мертвых, кто был обманут и служил слепым оружием уничтожения веры, церковей, самого себя?

– Я уже говорил об этом. Повторю еще раз. Наше призвание и долг – молитва об умерших и надежда на милость Божию к нам. Дело же спасения всецело в руках Господа. Надо также помнить о благочестивом предании Русской Церкви, молясь об умерших, творить в память о них милостыню, как бы делая это от их имени. По словам Иоанна Златоуста, человек, не дающий милостыню и не заботящийся о бедных, не может быть спасен.

Беседу вел
Евгений ГЕЛЬМАНОВ

ТВОЙ СВЕРСТНИК ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК

12 июня 1942 г.

Надеюсь, что я все смогу доверить тебе, как никому до сих пор не доверяла, надеюсь, что ты будешь для меня огромной поддержкой.

Воскресенье, 14 июня 1942 г.

В пятницу я проснулась уже в шесть часов. И вполне понятно — был мой день рождения. Но мне, конечно, нельзя было вставать в такую рань, пришлось сдерживать любопытство до без четверти семь. Но больше я не вытерпела, пошла в столовую, там меня встретил Маврик, наш котенок, и стал ко мне ласкаться.

В семь я побежала к папе с мамой, потом мы все пошли в гостиную и там стали развязывать и разглядывать подарки. Тебя, мой дневник, я увидела сразу, это был самый лучший подарок. Еще мне подарили букет роз, кактус и срезанные пионы. Это были первые цветы, потом принесли еще много.

Папа и мама накупили мне кучу подарков, а друзья просто зада-

рили меня. Я получила книгу "Камера обскура", настольную игру, много сластей, головоломку, брошку, "Голландские сказки и легенды" Йозефа Козна и еще дивную книжку — "Дэзи едет в горы", и деньги. Я на них купила "Мифы Древней Греции и Рима" — чудесные!

Потом за мной зашла Лиз, и мы пошли в школу. Я угостила учителей и весь свой класс конфетами, потом начались уроки.

Пока все! Как я рада, что ты у меня есть!

Суббота, 20 июня 1942 г.

Несколько дней я не писала, хотелось серьезно обдумать — зачем вообще нужен дневник? У меня странное чувство — я буду вести дневник! И не только потому, что я никогда не занималась "писательством". Мне кажется, что потом и мне, и вообще всем не интересно будет читать излияния тринадцатилетней школьницы. Но не в этом дело. Мне просто хочется писать, а главное, хочется высказать все, что у меня на душе.

"Бумага все стерпит". Так я часто думала в грустные дни, когда сидела, положив голову на руки, и не знала, куда деваться. То мне хотелось сидеть дома, то куда-нибудь пойти, и я так и не двигалась с места и все думала. Да, бумага все стерпит! Я никому не собираюсь показывать эту тетрадь в толстом переплете с высокопарным названием "Дневник", а

если уж покажу, так настоящему другу или настоящей подруге, другим это неинтересно. Вот я и сказала главное, почему я хочу вести дневник: потому что у меня нет настоящей подруги!

Надо объяснить, иначе никто не поймет, почему тринадцатилетняя девочка чувствует себя такой одинокой. Конечно, это не совсем так. У меня чудные, добрые родители, шестнадцатилетняя сестра и, наверно, не меньше тридцати знакомых или так называемых друзей. У меня уйма поклонников, они глаз с меня не сводят, а на уроках даже ловят в зеркальце мою улыбку.

У меня много родственников, чудные дяди и тети, дома у нас уютно, в сущности, у меня есть все – кроме подруги! Со всеми моими знакомыми можно только шалить и дурачиться, болтать о всяких пустяках. Откровенно поговорить мне не с кем, и я вся, как наглухо застегнутая. Может быть, мне самой надо быть доверчивее, но тут ничего не поделаешь, жаль, что так выходит.

Вот зачем мне нужен дневник. Но для того чтобы у меня перед глазами была настоящая подруга, о которой я так давно мечтаю, я не буду записывать в дневник одни только голые факты, как делают все, я хочу, чтобы эта тетрадка сама стала мне подругой – и эту подругу будут звать Китти!

Никто ничего не поймет, если вдруг, ни с того ни с сего, начать переписку с Китти, поэтому расскажу сначала свою биографию, хотя мне это и не очень интересно.

Когда мои родители поженились, папе было 36 лет, а маме – 25. Моя сестра Марго родилась в 1926

году во Франкфурте-на-Майне, а 12 июня 1929 года появилась я. Мы евреи, и поэтому нам пришлось в 1933 году эмигрировать в Голландию, где мой отец стал одним из директоров акционерного общества "Травис". Эта организация связана с фирмой "Колен и К°", которая помещается в том же здании.

У нас в жизни было много тревог – как и у всех: наши родные остались в Германии, и гитлеровцы их преследовали. После погромов 1938 года оба маминных брата бежали в Америку, а бабушка приехала к нам. Ей тогда было семьдесят три года. После сорокового года жизнь пошла трудная. Сначала война, потом капитуляция, потом немецкая оккупация. И тут начались наши страдания. Вводились новые законы, один строже другого, особенно плохо приходилось евреям. Евреи должны были носить желтую звезду, сдать велосипеды, евреям запрещалось ездить в трамвае, не говоря уж об автомобилях. Покупки можно было делать только от трех до пяти и притом в специальных еврейских лавках. После восьми вечера нельзя было выходить на улицу и даже сидеть в саду или на балконе. Нельзя было ходить в кино, в театр – никаких развлечений! Запрещалось заниматься плаванием, играть в хоккей или в теннис, – словом, спорт тоже был под запретом. Евреям нельзя было ходить в гости к христианам, еврейских детей перевели в еврейские школы. Ограничений становилось все больше и больше.

Вся наша жизнь проходит в страхе. Йоппи всегда говорит: "Боюсь за что-нибудь братья – а вдруг это запрещено?"

В январе этого года умерла бабуся. Никто не знает, как я ее любила и как мне ее не хватает.

С 1934 года меня отдали в детский сад при школе Монтессори, а потом я осталась в этой школе. В последний год моей классной воспитательницей была наша начальница госпожа К. В конце года мы с ней трогательно прощались и обе плакали навзрыд. С 1941 года мы с Марго поступили в еврейскую гимназию: она – в четвертый, а я – в первый класс.

Пока что нам, четверым, живется неплохо. Вот я и подошла к сегодняшнему дню и числу.

Среда, 8 июля 1942 г.

Милая Китти!

Между воскресным утром и сегодняшним днем как будто прошли целые годы. Столько всего случилось, как будто земля перевернулась! Но, Китти, как видишь, я еще живу, а это, по словам папы, – самое главное.

Да, я живу, только не спрашивай, как и где. Наверное, ты меня сегодня совсем не понимаешь. Придется сначала рассказать тебе все, что произошло в воскресенье.

В три часа – Гарри только что ушел и хотел скоро вернуться – вдруг раздался звонок. Я ничего не слыхала, уютно лежала в качалке на веранде и читала. Вдруг в дверях показалась испуганная Марго. "Анна, отцу прислали повестку из гестапо, – шепнула она. – Мама уже побежала к ван Даану". (Ван Даан – хороший знакомый отца и его сослуживец.)

Я странно перепугалась. Повестка... все знают, что это значит: концлагерь... Передо мной мелькнули тюремные камеры – неужели мы позволим забрать отца!

"Нельзя его пускать!" – решительно сказала Марго. Мы сидели с ней в гостиной и ждали маму. Мама пошла к ван Даанам, надо решить – уходить ли нам завтра в убежище. Ван Дааны тоже уйдут с нами – нас будет семеро. Мы сидели молча, говорить ни о чем не могли. Мысль об отце, который ничего не подозревает, пошел навестить своих подопечных в еврейской богадельне, ожидание, жара, страх – мы совсем онемели.

Вдруг звонок. "Это Гарри!" – сказала я. "Не открывай!" – удержала меня Марго, но страх оказался напрасным: мы услышали голоса мамы и господина Даана, они разговаривали с Гарри. Потом он ушел, а они вошли в дом и заперли за собой двери. При каждом звонке Марго или я прокрадывались вниз и смотрели – не отец ли это. Решили никого другого не впускать.

Нас выслали из комнаты. Ван Даан хотел поговорить с мамой наедине. Когда мы сидели в нашей комнате, Марго мне сказала, что повестка пришла не папе, а ей. Я еще больше испугалась и стала горько плакать. Марго всего шестнадцати лет. Неужели они хотят высылать таких девочек без родителей? Но, к счастью, она от нас не уйдет. Так сказала мама, и, наверно, отец тоже подготавливал меня к этому, когда говорил об убежище.

А какое убежище? Где мы спрячемся? В городе, в деревне, в каком-нибудь доме, в хижине – когда, как, где? Нельзя было задавать эти вопросы, но они у меня все время вертелись в голове.

Мы с Марго стали укладывать самое необходимое в наши школьные сумки. Первым делом я взяла

эту тетрадку, потом что попало: бигуди, носовые платки, учебники, гребенку, старые письма. Я думала о том, как мы будем скрываться, и совала в сумку всякую срунду. Но мне не жалко: воспоминания дороже платьев.

В пять часов наконец вернулся отец. Он позвонил господину Коопхойсу и попросил вечером зайти. Господин ван Даан пошел за Мип. Мип работает в конторе у отца с 1933 года, она стала нашим верным другом и ее новоиспеченный муж Хенк тоже. Она пришла, уложила башмаки, платья, пальто, немного белья и чулок в чемодан и обещала вечером опять зайти. Наконец у нас стало тихо. Есть никто не мог. Все еще было жарко и вообще как-то странно и непривычно.

Верхнюю комнату у нас снимает некий господин Гоудемит, он разведен с женой, ему тридцать. Видно, в это воскресенье ему нечего было делать, он сидел у нас до десяти, и никак нельзя было его выжить.

В одиннадцать пришли Мип и Хенк ван Сантен. В чемодане Мип и в глубоких карманах ее мужа снова стали исчезать чулки, башмаки, книги и белье. В половине двенадцатого они ушли, тяжело нагруженные. Я устала до полу-смерти, и, хотя я знала, что сплю последнюю ночь в своей кровати, я тут же заснула. В половине шестого утра меня разбудила мама. К счастью, было не так жарко, как в воскресенье. Весь день накрапывал теплый дождик. Мы все четверо столько на себя надели теплого, будто собирались ночевать в холодильнике. Но нам надо было взять с собой как можно больше одежды. В нашем положении никто не от-

важился бы идти по улице с тяжелым чемоданом. На мне было две рубашки, две пары чулок, три пары трико и платье, а сверху – юбка, жакет, летнее пальто, потом мои лучшие туфли, ботики, платок, шапка и еще всякие платья и шарфы. Я уже дома чуть не задохнулась, но всем было не до этого.

Марго набила сумку учебниками, села на велосипед и поехала за Мип в неизвестную мне даль. Я еще не знала, в каком таинственном месте мы будем прятаться... В семь часов тридцать минут мы захлопнули за собой двери. Единственное существо, с которым я простилась, был Маврик, мой любимый котенок, его должны были приютить соседи. Об этом мы оставили записочку господину Гоудемиту. На кухонном столе лежал фунт мяса для кота, в столовой не убрали со стола, постели мы не заправили. Все производило впечатление, будто мы бежали сломя голову. Но нам было безразлично, что скажут люди. Мы хотели только уйти и благополучно добраться до места. Завтра напишу еще!

Анна.

Пятница, 21 августа 1942 г.

Милая Китти!

Наше убежище стало настоящим тайником. Господину Кралеру пришла блестящая мысль – закрыть наглухо вход к нам сюда, на заднюю половину дома, потому что сейчас много обысков – ищут велосипеды. Выполнил этот план господин Воссен. Он сделал подвижную книжную полку, которая открывается в одну сторону, как дверь. Конечно, его пришлось "посвятить", и теперь он готов помочь нам во всем. Теперь, когда

спускаешься вниз, нужно сначала нагнуться, а потом прыгнуть, так как ступенька снята. Через три дня мы все набили страшные шишки на лбу, потому что забывали нагнуться и стучались головой о низкую дверь. Теперь там приколочен валик, набитый стружкой. Не знаю, поможет ли!

Читаю я мало. Пока что я перезабыла многое, чему нас учили в школе. Жизнь тут однообразная. Мы с господином ван Дааном часто ссоримся. Конечно, Марго ему кажется куда милее. Мама обращается со мной, как с маленькой, а я этого не выношу. Петер тоже не стал приятнее. Он скучный, весь день валяется на кровати, иногда что-то мастерит, а потом опять спит. Такой тюфяк!

Анна.

Пятница, 9 октября 1942 г.

Милая Китти! Сегодня у меня очень печальные и тяжелые вести. Многих евреев — наших друзей и знакомых — арестовали. Гестапо обходится с ними ужасно. Их грузят в теплушки и отправляют в еврейский концлагерь Вестерборк. Это — страшное место. На тысячи человек не хватает ни умывалок, ни уборных. Говорят, что в бараках все спят вповалку: мужчины, женщины, дети. Убежать невозможно. Заключенных из лагеря сразу узнают по бритым головам, а многих и по типично еврейской внешности.

Если уж тут, в Голландии, так страшно, то какой ужас ждет их там, куда их высылают! Английское радио передает, что их ждут газовые камеры, и, может быть, это еще самый быстрый способ уничтожения. Мип рассказывает ужасные случаи, она сама в страш-

ном волнении. Она ждала машину гестапо, которая собирает всех подряд. Старуха дрожала от страха. Зенитки гремели, лучи прожекторов шарили в темноте, эхо от грохота английских самолетов перекатывалось среди домов. Но Мип не решалась взять старуху к себе. Немцы за это карают очень сурово.

Элли тоже стала тихой и грустной. Ее друга отправили в Германию на принудительные работы. Она боится, чтобы его не убило при бомбежке. Английские летчики сбрасывают тонны бомб. Я считаю, что дурацкие шутки вроде: "Ну, вся тонна на него не свалится!" или "Одной бомбы тоже хватит!" — очень бестактны и глупы. И не только Дирк попал в беду, далеко нет. Каждый день увозят молодежь на принудительные работы. Некоторым удается удрать по дороге или скрыться заранее, но таких очень мало.

Моя печальная повесть еще не кончена. Знаешь ли ты, что такое заложники? Тут немцы придумали самую утонченную пытку. Это страшнее всего. Хватают без разбора ни в чем не повинных людей и держат в тюрьме. Если где-нибудь обнаруживают "саботаж" и виновника не находят, то имеется повод расстрелять нескольких заложников. И потом в газетах появляются предостережения. Что за народ эти немцы! И я тоже когда-то принадлежала к ним. Но Гитлер давно объявил нас лишенными гражданства. Да, большей вражды между такими немцами и евреями нигде на свете нет!

Среда, 13 января 1943 г.

Милая Китти!

Сегодня мы опять страшно

расстроены, нельзя спокойно сидеть и работать. Происходит что-то ужасное. Днем и ночью несчастных людей увозят и не позволяют ничего брать с собой – только рюкзак и немного денег. Но и это у них тоже потом отнимают!

Семьи разлучают, отцов и матерей отрывают от детей. Бывает, что дети приходят домой из школы, а родителей нет, или жена уйдет за покупками и возвращается к опечатанной двери – оказывается, всю семью увели!

И среди христиан растет тревога: молодежь, их сыновей, отсылают в Германию. Везде горе!

Каждую ночь сотни самолетов летят через Голландию бомбить немецкие города, каждый час в России и в Африке гибнут сотни людей. Весь земной шар сошел с ума, везде смерть и разрушение.

Конечно, союзники сейчас в лучшем положении, чем немцы, но конца все равно не видно.

Нам живется неплохо, лучше, чем миллионам других людей. Мы сидим спокойно, в безопасности, мы в состоянии строить планы на послевоенное время, мы даже можем радоваться новым платьям и книгам, а надо было бы думать, как приберечь каждый цент и не истратить его зря, потому что придется помогать другим и спасать всех, кого можно спасти.

Многие ребяташки бегают в одних тонких платьицах, в деревянных башмаках на босу ногу, без пальто, без перчаток, без шапок. В желудках у них пусто, они жуют репу, из холодных комнат выбегают на мокрые улицы, под дождь, ветер, потом приходят в сырую, нетопленную школу. Да, в Голландии дошло до того, что дети на

улице выпрашивают у прохожих кусок хлеба! Я бы могла часами рассказывать, сколько горя принесла война, но мне от этого становится еще грустнее. Нам ничего не остается, как спокойно и стойко ждать, пока придет конец несчастьям. И все ждут – евреи, христиане, все народы, весь мир... А многие ждут смерти!

Анна.

Суббота, 30 января 1943 г.

Милая Китти!

Я вне себя от бешенства, но должна сдерживаться! Хочется топтать ногами, орать, трясти маму за плечи – не знаю, что бы я ей сделала за эти злые слова, насмешливые взгляды, обвинения, которыми она меня осыпает, как стрелами из туго натянутого лука. Мне хочется крикнуть маме, Марго, Дусселю, даже отцу: оставьте меня, дайте мне вздохнуть спокойно! Неужели так и засыпать каждый вечер в слезах, на мокрой подушке, с опухшими глазами и тяжелой головой? Не трогайте меня, я хочу уйти от всех, уйти от жизни – это было бы самое лучшее! Но ничего не выходит. Они не знают, в каком я отчаянии. Они сами не понимают, какие раны они мне наносят.

А их сочувствие, их иронию я совсем не могу выносить! Хочется завывать во весь голос!

Стоит мне открыть рот – им уже кажется, что я наговорила лишнего, стоит замолчать – им смешно, каждый мой ответ – дерзость, в каждой умной мысли – подвох, если я устала – значит, я лентяйка, если съела лишний кусок – эгоистка, я дура, я трусиха, я хитрая – словом, всего не перечислить. Целый день только и слышишь, какое я невыносимое су-



Рисунки Ольги ПОЗДНЯЕВОЙ

щество, и хотя я делаю вид, что мне смешно и вообще наплевать, то на самом деле мне это далеко не безразлично.

Я попросила бы господ бога сделать меня такой, чтобы никого не раздражать. Но из этого ничего не выйдет. Видно, такой я родилась, хотя я чувствую, что я вовсе не такая плохая. Они и не подозревают, как я стараюсь все делать хорошо. Я смеюсь вместе с ними, чтобы не показывать, как глубоко я страдаю. Сколько раз я заявляла маме, когда она несправедливо на меня нападала: "Мне безразлично, говори, что хочешь, только оставь меня в покое, все равно я неисправима!"

Тогда мне говорят, что я дерзкая, и дня два со мной не разговаривают, а потом вдруг все забывается и прощается. А я так не могу — один день быть с человеком страшно ласковой и милой, а на другой день его ненавижу! Лучше выбрать "золотую середину", хотя ничего "золотого" я в ней не вижу! Лучше держать свои мысли при себе и ко всем относиться также пренебрежительно, как они относятся ко мне!

Если бы только удалось!

Анна.

Понедельник, 19 июля 1943 г.
Милая Китти!

В воскресенье сильно бомбили Амстердам-Норд. Разрушения, наверно, ужасные. Целые улицы превращены в груды щебня, и понадобится немало дней, чтобы пристроить всех, у кого разбомбило дома. Уже зарегистрировано 200 убитых и множество раненых. Больницы переполнены. Дети бродят по улицам, ищут под обломками отцов и матерей. Меня и

сейчас бросает в холод, как только вспомню глухой гул и грохот, которые и нам грозили гибелью.

Анна.

Четверг, 11 ноября 1943 г.
ОДА МОЕЙ АВТОРУЧКЕ
(“Светлой памяти”)

Авторучка всегда была моим сотоварищем. Я очень ею дорожила, потому что у нее золотое перо, а я, по правде сказать, пишу хорошо только такими перьями. Моя ручка прожила длинную и интересную жизнь, о которой я и собираюсь сейчас рассказать.

Мне было девять лет, когда моя ручка (тщательно упакованная в вату) прибыла к нам в ящичке с надписью “Без цены”. Этот прекрасный подарок прислала моя милая бабушка — тогда она еще жила в Ахене. Я болела гриппом, лежала в постели, а на улице завывал февральский ветер. Чудесная ручка в красном кожаном футляре тут же была показана моим подругам и знакомым. Я, Анна Франк, стала гордой обладательницей авторучки!

Когда мне исполнилось десять лет, я получила разрешение брать ручку в школу, и учительница позволила мне пользоваться ею на уроках.

К сожалению, на следующий год мне пришлось оставлять свое сокровище дома, потому что классная наставница нашего шестого класса разрешала писать только школьными ручками.

Когда мне было двенадцать лет и я перешла в еврейскую гимназию, мне подарили новый футляр с отделением для карандаша и с шикарной застежкой на молнии.

Когда мне исполнилось тринадцать, ручка отправилась со

мной в убежище и здесь была мне верной помощницей в переписке с тобой и в занятиях. Теперь мне уже четырнадцать, и моя ручка была со мной весь последний год моей жизни...

В пятницу вечером я вышла из своей комнаты в общую и хотела сесть за стол поработать. Но меня безжалостно прогнали, так как папа и Марго занимались латынью. Ручка так и осталась на столе... Анне же пришлось довольствоваться самым краешком стола, и она, тяжело вздыхая, принялась "тереть фасоль", то есть очищать заплесневелые коричневые фасолыны.

Без четверти шесть я подмела пол и бросила мусор вместе с кожурой от фасоли прямо в печку. Сразу взмакнуло сильное пламя, и я очень обрадовалась, потому что огонь уже потухал, а тут вдруг снова вспыхнул. Между тем "латинисты" кончили свои дела, и теперь я могла сесть за стол и позаниматься. Но ручки моей нигде не было. Я обыскала все кругом, мне помогала Марго, потом к нам присоединилась мама, потом искали папа с Дусселем, но моя верная подруга исчезла бесследно.

"Возможно, она угодила в печку вместе с фасолью", — предположила Марго.

"Быть не может!" — ответила я. Но мою милую ручку так и не удалось обнаружить, и мы уже к вечеру решили, что она сгорела, тем более что пластмасса так хорошо горит. И верно, наша грустная догадка подтвердилась — на следующее утро папа нашел в золе наконец-то. От золотого пера и следа не осталось. "Очевидно, оно расплавилось и смешалось с золой", — решил папа. Но у меня есть

одно утешение, хоть и очень слабое: ручка моя была предана кремации, чего я — когда-нибудь в будущем — желаю и себе!

Суббота, 27 ноября, 1943 г.

Милая Китти!

Вчера вечером, когда я уже засыпала, я вдруг явственно увидела Лиз.

Она стояла передо мной — оборванная, изнуренная, щеки ввалились. Ее большие глаза были обращены ко мне с укором, словно она хотела сказать: "Анна, зачем ты меня бросила? Помоги же мне! Выведи меня из этого ада!"

А я ничем не могу ей помочь, я должна сложить руки смотреть, как люди страдают и гибнут, и могу только молить бога, чтобы он уберег ее и дал нам снова свидеться. Почему мне представилась именно Лиз, а не кто-нибудь другой, вполне понятно. Я судила о ней неверно, по-детски, я не понимала ее страхов. Она очень любила свою подругу и боялась, что я хочу их поссорить. Ей было очень тяжело. Я-то знаю, мне это чувство хорошо знакомо!

Иногда я мельком думала о ней, но тут же из эгоизма уходила в свои радости и горести. Вела я себя ужасно, и теперь она стоит передо мной, бледная, грустная, и смотрит на меня умоляющими глазами... Если бы я могла хоть чем-нибудь ей помочь!

Господи, да как же это — у меня здесь есть все, что угодно, а ее ждет такая страшная участь! Она ничуть не меньше меня верила в бога и всегда всем хотела добра. Почему же мне суждено жить, а она, быть может, скоро умрет? В чем же разница между нами? Почему мы разлучены с ней?

Честно говоря, я не вспоминала о ней вот уже много месяцев – да, почти целый год. Не то чтобы совсем не вспоминала, а просто никогда не думала о ней, никогда не представляла ее себе такой, какой она явилась мне сейчас в своей страшной беде.

Ах, Лиз, надеюсь, что ты всегда будешь с нами, если только переживешь войну! Я бы сделала для тебя все на свете, все, что упустила...

Но когда я смогу ей помочь, она уже не будет нуждаться в моей помощи. Вспоминает ли она меня хоть изредка? И с каким чувством?

Господи, помоги ей, сделай так, чтобы она не чувствовала себя всеми покинутой. Пусть она знает, что я думаю о ней с состраданием и любовью. Может быть, это даст ей силы выдержать. Нет, не нужно больше о ней думать. Все время вижу ее перед собой. Ее огромные глаза так и стоят передо мной.

Запала ли вера глубоко в сердце Лиз или все это навязано ей старшими? Не знаю, никогда ее об этом не спрашивала. Лиз, милая Лиз, если бы можно было вернуть тебя, если бы я могла делить с тобой все, что у меня есть! Поздно, теперь я ничем не могу помочь, теперь нельзя исправить то, что упущено. Но я никогда ее не забуду, вечно буду за нее молиться!

Анна.

Пятница, 7 января, 1944 г.
Милая Китти!

Какая я глупая! Ни разу мне не пришлось в голову рассказать тебе о себе и о всех моих поклонниках.

Когда я была совсем маленькая, чуть ли не в детском саду, мне очень нравился Карл Самсон. Отца у него не было, он жил с ма-

терью у тетки. Сын тетки, его двоюродный брат Бобби, умный, стройный, темноволосый мальчик, нравился всем гораздо больше, чем маленький смешной толстячок Карл. Но я не обращала внимания на внешность и много лет дружила с Карлом. Мы с ним долго были самыми настоящими добрыми товарищами, но я ни в кого не влюблялась.

Потом на моем пути встал Петер, и первая детская влюбленность целиком захватила меня. Я ему тоже нравилась, и мы с ним были неразлучны целое лето. Я вижу нас вдвоем – мы бродим по улицам, держась за руки, он – в полотняном костюмчике, я – в летнем платьице.

После каникул он поступил в реальное, а я пошла в старший приготовительный класс. То он заходил за мной в школу, то я – за ним. Петер был очень красив – высокий, стройный, складный, со спокойным, серьезным и умным лицом. У него были темные волосы, румяные, загорелые щеки, чудесные карие глаза и тонкий нос. Особенно я любила, когда он смеялся. У него становился такой озорной, ребячливый вид.

На летние каникулы мы уехали. Когда мы вернулись, Петер переехал на другую квартиру и теперь жил рядом с одним мальчиком, он был гораздо старше Петера, но так с ним подружился, что водой не разольешь! Наверно, этот мальчик ему сказал, что я совсем мелюзга, и Петер перестал со мной дружить. Я так его любила, что сначала ни за что не могла с этим примириться, но потом поняла, что, если я стану за ним бегать, меня будут дразнить "мальчишницей".

Шли годы. Петер дружил только с девочками своего возраста, а со мной даже не здоровался, но я никак не могла забыть его.

Когда я перешла в еврейскую гимназию, в меня влюбилось много мальчиков из моего класса. Мне было очень приятно, я чувствовала себя польщенной, но в общем это меня не трогало.

Потом в меня безумно влюбился Гарри. Но, как я уже сказала, больше я никого не любила.

Как говорит пословица: "Время исцеляет все раны".

Так было и со мной. Но я воображала, что забыла Петера и что мне он совершенно безразличен. Но в моем подсознании прочно жила память о нем, и однажды пришлось себе сознаться: меня так мучила ревность к его знакомым девочкам, что я нарочно старалась о нем не думать.

А сегодня утром мне стало ясно, что ничего не изменилось, наоборот: чем старше и взрослее я становилась, тем больше росла моя любовь. Теперь я понимаю, что Петер тогда считал меня ребенком, и все же мне было тяжело и горько, что он так быстро меня забыл. Я вижу его перед собой настолько отчетливо, что понимаю: никто другой так не будет заполнять мои мысли.

Сон совсем сбил меня с толку. Когда папа хотел поцеловать меня утром, я чуть не вскрикнула: "Ах, почему ты не Петер!" Все время думаю о нем, весь день твержу про себя: "О Петер, милый мой Петер!"

Кто же мне поможет? Хочется жить дальше и просить бога, чтобы он дал мне свидеться с Петером, когда я буду на свободе. Он по

моим глазам узнает, что я чувствую, и скажет: "Ах, Анна, если бы я знал, я давно бы пришел к тебе!"

Однажды, когда мы с папой говорили о сексуальных вопросах, он сказал, будто я еще не могу понять, что такое "влечение". Но я знала, что понимаю, а уж теперь-то мне все понятно наверняка!

Нет для меня ничего дороже тебя, мой Петель!

Я посмотрелась в зеркало — у меня стало совсем другое лицо. Глаза глубокие, светлые, щеки порозовели, как никогда, и рот кажется нежнее. У меня счастливый вид, и все же в глазах у меня какая-то грусть, от которой гаснет улыбка на губах. Не могу я быть счастливой, потому что знаю — Петер сейчас обо мне не думает. Но я снова чувствую на себе взгляд его милых глаз и его прохладную, нежную щеку у моей щеки.

О Петель, Петель, как мне изгладить твой образ? Разве можно представить себе кого-нибудь на твоём месте? Какая жалкая подделка! Я так люблю тебя, что любовь не уменьшается в моем сердце, она хочет вырваться на волю, открыться во всей своей силе!

Неделю назад, нет, даже вчера, если бы меня кто-нибудь спросил, за кого я хотела бы выйти замуж, я сказала бы: "Не знаю". А теперь я готова крикнуть: "За Петера, только за Петера, я люблю его всем сердцем, всей душой, безгранично и все же не хочу, чтобы он был слишком настойчив, нет, я позволю ему только коснуться моей щеки".

Я сидела сегодня на чердаке и думала о нем. И после короткого разговора мы оба начали плакать,

и я снова почувствовала его губы, бесконечно ласковое прикосновение его щеки.

"О Петер, думай обо мне, приходи ко мне, мой милый, милый Петер!"

Анна.

Суббота, 22 января 1944 г.

Милая Китти!

Объясни мне, пожалуйста, отчего большинство людей так боится открыть свой внутренний мир? Почему я веду себя в обществе совсем не так, как надо? Наверно, тут есть причины, знаю, но все же непонятно, что даже с самыми близкими людьми никогда не бываешь откровенной до конца.

У меня такое чувство, как будто после того сна я очень повзрослела, стала как-то больше "человеком". Ты, наверное, удивишься, если я тебе открою, что даже о ван Даанах я теперь сужу по-другому. Я смотрю на наши споры и стычки без прежнего предубеждения.

Отчего я так переменялась?

Видишь ли, я много думала о том, что отношения между нами могли бы сложиться совсем иначе, если бы моя мама была настоящей идеальной "мамочкой". Спорунет, фру ван Даан никак не назовешь человеком воспитанным. Но мне кажется, что можно было бы избежать половины этих вечных пререканий, если бы мама была более легким человеком и не обостряла отношения. У фру ван Даан есть свои положительные качества, с ней можно договориться. Несмотря на весь свой эгоизм, мелочность и сварливость, она легко идет на уступки, если ее не раздражать и не подзуживать. Правда, ее хватает ненадолго, но при некотором терпении можно с ней

сладить. Надо только по-дружески, откровенно обсуждать вопросы о нашем воспитании, о баловстве, о еде и так далее. Тогда мы не стали бы выискивать друг у друга только плохие черты!

Знаю, знаю, что ты скажешь, Китти!

"Неужто это твои мысли, Анна? И это пишешь ты, ты, о которой "верхние" говорили столько плохого? Ты, которая узнала столько несправедливости". Да, это пишу я! Хочу сама до всего докопаться, не желаю жить по старой пословице: "Как деды пели"... Нет, я буду изучать ван Даанов и выясню, что правда, а что преувеличение. А если я тоже разочаруюсь в них, тогда и запую ту же песенку, что и мои родители. Но если "верхние" окажутся лучше, чем о них говорят, я постараюсь разрушить ложное представление, которое сложилось у моих родителей, а если не удастся, останусь при своем мнении и при своем суждении. Буду пользоваться любым предлогом, чтобы говорить с фру ван Даан на разные темы, и не постесняюсь беспристрастно высказывать свое мнение. Не зря же меня зовут "фрейлейн Всезнайка".

Конечно, я не собираюсь идти против своего семейства, но сплетням я больше не верю! До сих пор я была твердо уверена, что во всем виноваты ван Дааны, но, наверное, часть вины лежит и на нас.

По сути дела мы, должно быть, всегда правы. Но от людей разумных — а мы себя причисляем к ним — все-таки надо ждать, что они смогут ужиться с самыми разными людьми. Надеюсь, что я проведу в жизнь то, в чем я теперь убеждена.

Анна.

Пятница, 18 февраля 1944 г.
Милая Китти!

Когда я поднимаюсь наверх, я непременно стараюсь увидеть "его". Моя жизнь стала гораздо легче, в ней снова появился смысл, есть чему радоваться.

Хорошо, что "предмет" моих дружеских чувств всегда сидит дома и мне нечего бояться соперниц (кроме Марго). Не думай, что я влюблена, вовсе нет. Но у меня такое чувство, что между мной и Петером вырастет что-то очень хорошее, и наша дружба, наше доверие станут еще крепче. Как только появляется возможность, я бегу к нему. Теперь совсем не то, что раньше, когда он не знал, о чем со мной говорить. Он все говорит и говорит, даже когда я совсем собираюсь уходить.

Маме не очень нравится, что я так часто хожу наверх. Она говорит: "Не надоедай Петеру, оставь его в покое". Неужели она не понимает, что это совсем особенные, душевные переживания? Каждый раз, как я ухожу в каморку, она смотрит на меня странным взглядом. А когда прихожу оттуда, непременно спросит, где я была. Терпеть этого не могу. Отвратительная привычка.

Анна.

Вторник, 7 марта 1944 г.
Милая Китти!

Когда я вспоминаю свою жизнь до 1942 года, мне все кажется ненастоящим. Ту жизнь вела совсем другая Анна, не та, которая здесь так поумнела. Да, чудесная была жизнь! Масса поклонников, двадцать подружек и знакомых, почти все учителя любят, родители балуют напраполю, сколько угодно лакомств, денег – чего же еще?

Ты спросишь, как это я ухитрилась всех покорить? Когда Петер говорит, что во мне есть "обаяние", это не совсем верно. Учителям нравилась моя находчивость, мои остроумные замечания, веселая улыбка и критический взгляд на вещи – все это казалось им милым, забавным и занятным. Я была страшной "флиртушкой", кокетничала и веселилась. Но при этом у меня были и хорошие качества – прилежание, прямота, доброжелательность. Всем без различия я позволяла списывать у себя, никогда не воображала и всякие сласти раздавала направо и налево. Может быть, я стала бы высокомерной оттого, что мною все так восхищались? Может быть, даже лучше, что меня, так сказать, в разгаре праздника вдруг бросили в самую будничную жизнь, но прошло больше года, прежде чем я привыкла, что никто больше мною не восхищается.

Как меня называли в школе? Главной заводилой во всех проделках и проказах – всегда я была первая, никогда не ныла, не капризничала. Неудивительно, что каждому было приятно провожать меня в школу и оказывать мне тысячу знаков внимания.

Та Анна кажется мне очень славной, но поверхностной девочкой, с которой теперь у меня нет ничего общего. Петер очень правильно заметил:

"Когда я тебя встречал раньше, ты вечно была окружена двумя-тремя мальчиками и целым выводком девочек, всегда ты смеялась, шалила, всегда была в центре".

Что же осталось от этой девочки? Конечно, я еще не разучилась

смеяться, еще умею каждому ответить, умею так же хорошо – а может быть, еще лучше – разбираться в людях, умею кокетничать... если захочется. Конечно, мне бы хотелось еще хоть один вечер, хоть несколько дней или неделю прожить так весело, так беззаботно, как прежде, но я знаю, что к концу этой недели мне все так надоело бы, что я была бы благодарна первому встречному, который поговорил бы со мной всерьез. Не нужны мне поклонники – нужны друзья, не хочу, чтобы восхищались моей милой улыбкой, – хочу, чтобы меня ценили за внутреннюю сущность, за характер. Знаю отлично, что тогда круг знакомых станет гораздо уже. Но это не беда, лишь бы со мной остались несколько друзей, настоящих, искренних друзей!

Однако я и в то время не всегда была безмятежно счастлива. Часто я чувствовала себя одинокой, но так как была занята с утра до вечера, то думать об этом было некогда и я веселилась вовсю. Сознательно или бессознательно, но я старалась шуткой заполнить пустоту. Теперь я оглядываюсь на свою прошлую жизнь и берусь за работу. Целый кусок жизни безвозвратно ушел. Беспечные, беззаботные школьные дни никогда не вернуться.

Да я и не скучаю по той жизни, я выросла из нее. Я уже не умею так беспечно веселиться, всегда в глубине души я остаюсь серьезной.

Свою жизнь до начала 1944 года я вижу, словно сквозь увеличительное стекло. Дома – солнечная жизнь, потом – в 1942 году – переезд сюда, резкая перемена, ссоры, обвинения. Я не могла сразу переварить эту перемену, она меня

сшибла с ног, и я держалась и сопротивлялась только дерзостью.

Первая половина 1943 года: вечные слезы, одиночество, постепенное понимание своих ошибок и недостатков, и в самом деле очень больших, хотя они кажутся еще больше.

Я старалась все объяснить, проговаривала перетянуть Пима на свою сторону – это не вышло. И мне пришлось одной решать трудную задачу: так перестроиться, чтобы не слышать вечных наставлений, которые доводили меня почти до отчаяния.

Вторая половина года сложилась лучше: я выросла, со мной стали уже чаще обращаться как со взрослой. Я больше думала, начала писать рассказы и пришла к заключению, что никто не имеет права бросаться мною, как мячиком. Я хотела формировать свой характер сама, по своей воле. И еще одно: я поняла, что отец не во всем может быть моим поверенным. Никому не стану доверять больше, чем самой себе.

После Нового года – вторая большая перемена – мой сон... После него я поняла свою тоску по другу: не по девочке-подруге, а по другу-мальчику. Я открыла счастье внутри себя, обнаружила, что мое легкомыслие и веселость – только защитный панцирь. Постепенно я стала спокойнее и почувствовала безграничную тягу к добру, к красоте.

И вечером, лежа в постели, когда я заканчиваю молитву словами: "Благодарю тебя за все хорошее, милое и прекрасное", – во мне все ликует. Я вспоминаю все "хорошее": наше спасение, мое выздоровление, потом все "милое": Петера и то робкое, нежное,

до чего мы оба еще боимся дотро-
нуться, то, что еще придет, – лю-
бовь, будущее, счастье. А потом
вспоминаю все "прекрасное",
оно – во всем мире, в природе, в
искусстве, в красоте, – во всем, что
прекрасно и величественно.

Тогда я думаю не о горе, а о том
чудесном, что существует помимо
него. Вот в чем основное различие
между мной и мамой. Когда чело-
век в тоске, она ему советует:
"Думайте о том, сколько на свете
горя, и будьте благодарны, что
вам это не приходится пережи-
вать".

А я советую другое: "Иди в
поле, на волю, на солнце, иди на
волю, пытайся найти счастье в
себе, в боге. Думай о том прекрас-
ном, что творится в твоей душе и
вокруг тебя, и будь счастлив".

По моему мнению, мамин со-
вет неправилен. А если у тебя са-
мого несчастье, что же тогда де-
лать? Тогда ты пропал. А я счи-
таю, что всегда остается прекрас-
ное: природа, солнце, свобода, то,
что у тебя в душе. За это надо
держаться, тогда ты найдешь себя,
найдеши бога, тогда ты все выдержи-
ши.

А тот, кто сам счастлив, может
дать счастье и другим. Тот, в ком
есть мужество и стойкость, тот
никогда не сдастся и в несчастье!

Анна.

Суббота, 1 апреля 1944 г.

Милая Китти!

И все же мне очень трудно. Ты
понимаешь, о чем я? Я тоскую о
поцелуе, о том поцелуе, которого
так долго приходится ждать. Не-
ужели он смотрит на меня только
как на товарища? Неужели я для
него не стану чем-то большим? Ты
знаешь, да я и сама знаю, что я

сильная, что почти все трудности
я могу нести одна, и что я не при-
выкла их с кем-нибудь делить. За
свою мать я никогда не цеплялась.
А теперь мне так хочется поло-
жить ему голову на плечо и просто
затихнуть!

Никогда, никогда я не забуду,
как во сне я почувствовала щеку
Петера и какое это было удиви-
тельное, прекрасное чувство! Не-
ужели он этого не хочет? Может
быть, только застенчивость меша-
ет ему признаться в любви? Но
почему же ему так хочется, чтобы
я всегда была около него? Ах, по-
чему он ничего не скажет? Нет,
больше не буду, постараюсь быть
спокойной. Надо оставаться силь-
ной, надо терпеливо ждать – и все
сбудется. Но... но вот что самое
плохое: выходит так, будто я за
ним бегаю, потому что всегда я
хожу за ним наверх, а не он при-
ходит ко мне. Но ведь это зависит
только от расположения наших
комнат, он должен это понять! Ох,
много, очень много ему еще на-
до понять!

Анна.

Четверг, 6 апреля 1944 г.

Милая Китти!

Ты спросила меня, чем я боль-
ше всего интересуюсь, чем увлека-
юсь, и я отвечаю тебе. Не пугайся,
предупреждаю, у меня этих инте-
ресов тьма-тьмуша!

На первом месте стоит лите-
ратура, но это, в сущности, нельзя
назвать просто увлечением.

Во-вторых, я интересуюсь ро-
дословными королевских домов.
Из газет, книг и журналов я собра-
ла материал о французских, не-
мецких, испанских, английских,
австрийских, русских, норвежских
и нидерландских царствующих

домах и много уже систематизировала, потому что я давно делаю выписки из всех биографических и исторических книг, которые читаю. Я даже переписываю целые отрывки из истории. Значит, история – мое третье увлечение; папа мне покупал много исторических книг. Не дождусь дня, когда я сама опять смогу рыться в публичной библиотеке.

В-четвертых, я интересуюсь греческой и римской мифологией, и у меня по этому предмету тоже есть много книжек. Потом я увлекаюсь собиранием портретов кинозвезд и фамильных фотографий. Я обожаю книги, чтение и интересуюсь всем, что касается писателей, поэтов и художников, а также историей искусств. Может быть, позже начну увлекаться и музыкой. С определенной антипатией я отношусь к алгебре, геометрии и арифметике. Все остальные школьные предметы я люблю, но историю больше всего!

Анна.

*Воскресенье утром, около
одиннадцати, 16 апреля 1944 г.*
Милая Китти!

Запомни навсегда вчерашний день – его нельзя забыть, потому что он самый важный день в моей жизни. Да и для всякой девушки тот день, когда ее впервые поцеловали, – самый важный день! Вот и у меня тоже. Тот раз, когда Брам поцеловал меня в правую щеку, не считается, и когда мистер Уокер поцеловал мне руку – тоже не в счет.

Слушай же, как меня впервые поцеловали.

Вчера вечером, часов в восемь, я сидела с Петером на его кушетке, и он обнял меня за плечи.

"Давай немножко подвинемся, – сказала я, – а то я все время стучаюсь головой о ящик".

Он отодвинулся почти в самый угол. Я просунула руку под его руку и обхватила его, а он еще крепче обнял меня за плечи. Мы часто с ним сидели рядом, но никогда раньше мы не были так близко, как в этот вечер. Он так крепко привлек меня к себе, что мое сердце забилося у него на груди. Но потом стало еще лучше. Он все больше притягивал меня к себе, пока моя голова не склонилась к нему на плечо, а его голова приникла к моей. А когда я минут через пять опять села прямо, он быстро взял мою голову обеими руками и снова привлек меня к себе. Мне было так хорошо, так чудесно, я не могла сказать ни слова, только наслаждалась этой минутой. Он немного неловко погладил меня по щеке, по плечу, играл моими локонами, и мы не шевелились, прижав головы друг к другу. Не могу описать тебе, Китти, чувство, которое меня переполняло! Я была счастлива, и он, мне кажется, тоже. В половине девятого мы встали, и Петер стал надевать гимнастические туфли, чтобы не топтать при обходе дома. Я стояла рядом. Как это вдруг случилось, сама не знаю, но прежде чем сойти вниз, он поцеловал мои волосы где-то между левой щекой и ухом. Я сбегала вниз без оглядки и... мечтаю о сегодняшнем вечере.

Среда, 19 апреля 1944 г.
Милый дружок!

Что может быть лучше на свете, чем смотреть из открытого окна на природу, слушать, как поют птицы, чувствовать солнце на ще-

ках и, обняв милого мальчика, молча стоять, крепко прижавшись друг к другу? Не верю, что это плохо, от этой тишины на душе становится светло. Ах, если бы только никто ее не нарушал – даже Муши!

Анна.

Пятница, 28 апреля 1944 г.
Милая Китти!

Никогда не забуду свой сон про Петера Весаеля. Стоит мне о нем подумать, как я опять чувствую его щеку у моей, опять испытываю это чудесное ощущение. С Петером (здешним) я тоже испытывала это ощущение, но не с такой силой... до вчерашнего дня, когда мы сидели на диванчике рядом, как всегда, крепко обнявшись. И вдруг та, прежняя Анна исчезла и появилась другая Анна. Та, другая Анна, в которой нет ни легкомыслия, ни веселости, – она только хочет любить, хочет быть ласковой.

Я сидела, прижавшись к нему, и чувствовала, как переполняется сердце. Слезы подступили к глазам, покатались по лицу прямо на его куртку. Заметил ли он? Ни одним движением он себя не выдал. Чувствует ли он то, что чувствую я? Он не сказал почти ни слова. Знает ли он, что рядом с ним – две Анны? Сколько вопросов, а ответа нет!

В половине десятого я встала, подошла к окну, где мы всегда прощаемся. Я вся еще дрожала, я была той, другой Анной. Он подошел ко мне, я обхватила его шею руками и поцеловала в левую щеку. Но когда я хотела поцеловать его и в правую, мои губы встретились с его губами. В смятении мы прижались губами еще раз, еще и еще, без конца!

Как Петер нуждается в ласке! Впервые он открыл, что такое девушка, впервые понял, что у этих "бесенят" тоже есть сердце, что они совсем другие, когда остаешься с ними наедине. Впервые в жизни он отдал свою дружбу, всего себя – ведь у него никогда в жизни не было друга, не было подруги. Теперь мы нашли друг друга. Я тоже не знала его, у меня тоже не было любимого, а теперь есть.

Но меня непрестанно мучит вопрос: "Хорошо ли это, правильно ли, что я так поддаюсь, что во мне столько же пылкости, как в Петере? Можно ли мне, девушке, так давать себе волю?"

И на это есть только один ответ:

"Я так тосковала, так долго тосковала, я была так одинока – и вот я нашла утешение и радость!" Утром мы такие, как всегда, и днем тоже, но вечером уже ничем не удержать нашей тяги друг к другу, нельзя не думать о блаженстве, о счастье каждой встречи. И тут мы принадлежим только самим себе. И каждый вечер после прощального поцелуя мне хочется уйти, уйти поскорее, чтобы не смотреть ему в глаза, бежать, бежать, остаться одной в темноте.

Но стоит мне спуститься на четырнадцать ступенек – и куда я попадаю! В ярко освещенную комнату, где разговаривают, смеются, начинают меня расспрашивать, – и мне надо отвечать так, чтобы никто ничего не заметил. Сердце у меня слишком переполнено, чтобы сразу стряхнуть все, что я испытала вчера вечером. Та нежная, кроткая Анна редко просыпается во мне, но тем труднее сразу выгнать ее за дверь. Петер глубоко задел меня, так глубоко,

как никогда, никогда, разве только во сне! Петер захватил меня целиком, он вывернул все во мне наизнанку. Не мудрено, что после таких переживаний каждому человеку надо успокоиться, прийти в себя, восстановить внутреннее равновесие. О Петер, что ты со мной делаешь? Чего ты хочешь от меня? Что будет дальше? Ах, теперь я понимаю Элли, теперь, когда я все это испытываю сама, я понимаю ее сомнения. Если бы я была старше и он захотел на мне жениться – что ответила бы я ему? Анна, будь честной! Замуж за него ты бы не пошла, но и отказаться от него так трудно! Характер у Петера еще не установился, в нем слишком мало энергии, слишком мало мужества, силы. Он еще ребенок, душевно он ничуть не старше меня, и больше всего на свете он хочет покоя, хочет счастья.

Неужели мне всего четырнадцать лет? Неужели я просто глупая девчонка, школьница? Неужели я и вправду так неопытна во всем? Но у меня больше опыта, чем у других, я пережила то, что в моем возрасте редко кто переживает. Боюсь себя, боюсь, что слишком скоро поддамся страсти, а как я тогда буду вести себя с другими мальчиками? Ах, как мне трудно, как борются во мне разум и сердце, как надо дать им волю – каждому в свой час! Но уверена ли я, что сумею правильно выбрать этот час?

Анна.

Вторник, 2 мая 1944 г.

Милая Китти!

В субботу вечером я спросила Петера, не рассказать ли папе о нас, и Петер, слегка помявшись, сказал, что это правильно. Я обра-

довалась – еще одно доказательство его внутренней чистоты. Спустившись вниз, я сразу пошла с отцом за водой и уже на лестнице сказала ему:

“Папа, ты, конечно, понимаешь, что, когда мы с Петером вместе, мы не сидим на расстоянии метра друг от друга. По-твоему, это плохо?”

Отец ответил не сразу, а потом сказал:

“Нет, Анна, ничего плохого в этом нет, но все-таки тут, когда живешь в такой близости, надо быть осторожнее”.

Он еще что-то говорил в таком же духе, и мы пошли наверх. А в воскресенье утром он позвал меня к себе и сказал:

“Анна, я еще раз все обдумал (тут я испугалась). Собственно говоря, здесь, в убежище, это не совсем хорошо. Я-то считал, что вы с Петером просто товарищи. Петер в тебя влюблен?”

“Ни капельки!” – сказала я.

“Видишь ли Анна, ты знаешь, что я вас отлично понимаю, но ты должна быть сдержаннее, не слишком поощрять его. Не ходи наверх так часто. Мужчина в этих отношениях всегда активнее, женщина должна его сдерживать. Там, на свободе, – дело другое. Там ты встречаешься с другими мальчиками и девочками, можешь гулять, заниматься спортом, вообще чем угодно. Но если вы тут слишком много времени будете проводить вместе, а потом тебе это перестанет нравиться, все будет гораздо сложнее. Вы же и так все время видите друг друга, почти постоянно. Будь осторожнее, Анна, не принимай ваши отношения всерьез”.

“Да я и не принимаю, папа. И

потом Петер – очень порядочный, хороший мальчик”.

”Да, но характер у него неустойчивый, на него легко повлиять и в хорошую, и в дурную сторону. Надеюсь, ради него самого, что он останется хорошим, потому что в основном он порядочный человек”.

Мы еще поговорили и условились, что отец поговорит и с Петером. В воскресенье, после обеда, когда мы сидели наверху, Петер спросил:

”А ты говорила с отцом, Анна?”

”Да, – сказала я, – я тебе все расскажу. Ничего плохого он не видит, но считает, что здесь, где мы живем в такой тесноте, между нами легко может произойти размолвка”.

”Но мы же условились – не ссориться, и я твердо решил, что так и будет”.

”Я тоже, Петер, но отец думал, что у нас все по-другому, что мы просто товарищи. А по-твоему, этого уже не может быть?”

”По-моему, может. А по-твоему?”

”И по-моему, тоже. Я сказала отцу, что доверяю тебе. И я по-настоящему доверяю тебе, Петер, полностью доверяю, как папе, и я считаю, что ты достоин доверия, правда?”

”Надеюсь”. (Тут он покраснел и смутился.)

”Я в тебя верю, верю, что у тебя хороший характер, что ты в жизни многого добьешься”.

Мы говорили еще о многом другом, потом я сказала:

”Когда мы отсюда выйдем, тебе, наверно, и дела до меня не будет, правда?”

Он весь вспыхнул: ”Нет, не-

правда, Анна! Ты не смеешь так обо мне думать!”

Тут меня позвали...

В понедельник Петер рассказал мне, что отец и с ним говорил.

”Твой отец считает, что из товарищеских отношений может вырасти влюбленность, но я ему сказал, что он может на нас положиться”.

Теперь папа хочет, чтобы я меньше ходила по вечерам наверх, но я на это не согласна. И не только потому, что я люблю бывать у Петера, – я объяснила отцу, что доверяю Петеру. Да, я ему доверяю и хочу доказать это. А как же доказать, если я из недоверия буду сидеть внизу?

Нет. пойду к нему наверх!

Между тем драма с Дусселем кончилась. В субботу, за ужином, он произнес красивую, тщательно обдуманную речь по-голландски. Наверное, Дуссель весь день готовил этот ”урок”. Его день рождения мы отпраздновали в воскресенье, очень тихо. От нас он получил бутылку вина урожая 1919 года, от ван Даанов (теперь они уже могли сделать ему подарок!) он получил банку пикулей и пакетик бритвенных лезвий, от Крапера – лимонный джем, от Мип – книгу и от Элли – горшок цветов. Он всем нам выдал по вареному яйцу.

Анна.

Четверг, 25 мая 1944 г.

Милая Китти!

Каждый день что-нибудь случается! Сегодня утром арестовали нашего славного зеленщика – он прятал у себя в доме двух евреев. Для нас это тяжелый удар, и не только потому, что эти евреи стоят на краю гибели: нам страшно за

этого бедного человека.

Весь мир сошел с ума. Порядочных людей отправляют в концлагеря, в тюрьмы, в одиночки, а над старыми и молодыми, над богатыми и бедными измываются подонки. Одни попадают на том, что покупали на черном рынке, другие – на том, что скрывали свреев или подпольщиков. Никто не знает, что его ждет завтра. И для нас арест зеленщика – тяжелая потеря. Наши девушки не могут, да и не должны сами таскать картошку, и нам остается только одно – есть поменьше. Как нам это удастся – я тебе напишу, во всяком случае – удовольствие слабое. Мама говорит, что по утрам никакого завтрака не будет, за обедом – хлеб и каша, вечером – жареная картошка, иногда – раза два в неделю салат или немного овощей и больше ничего. Значит, придется поголодать, но все не так страшно, как если бы нас обнаружили.

Анна.

Милая Китти!

Прошел мой день рождения. Мне исполнилось пятнадцать лет. Получила довольно много подарков: пять томов истории искусства Шпрингера, гарнитур белья, два пояса, носовой платок, две бутылки кефира, банку джема, пряник, учебник ботаники – от мамы с папой, браслет от Марго, еще одну книжку от ван Даанов, коробку биомальца от Дусселя, всякие сладости и тетрадки от Мип и Элли и – самое лучшее – книгу "Мария-Тереза" и три ломтика настоящего сыра от Кралера. Петер подарил мне чудесный букетик роз, бедный мальчик так старался что-нибудь для меня раздобыть, но ничего не нашел.

Высадка союзников идет отлично, несмотря на дрянную погоду, страшные штормы и ливни в открытом море.

Черчилль, Смэтс, Эйзенхауэр и Арнольд вчера посетили французские деревни, которые заняты и освобождены англичанами. Черчилль прибыл на торпедном катере, который обстреляли с берега. У этого человека, как у многих мужчин, совсем нет чувства страха! Даже завидно!

Отсюда, из нашего убежища, никак нельзя разобрать, какое на строение в Нидерландах, никак не раскусить. Безусловно, люди рады, что "инертная" Англия наконец взялась за дело. Надо бы хорошенько встряхнуть каждого, кто свысока смотрит на англичан, ругает английское правительство "старыми барами", называет Англию трусливой и вместе с тем ненавидит немцев. Может быть, если этих людей потрясти, их запутанные мозги снова встанут на место!

Анна.

Пятница, 21 июля 1944 г.

Милая Китти!

Опять проснулась надежда, опять наконец все хорошо! Да еще как хорошо! Невероятное известие! На Гитлера совершенно покушение, и не каким-нибудь "еврейским коммунистом" или "английским капиталистом", нет, это сделал генерал благородных немецких кровей, граф, да к тому же и молодой! "Небесное провидение" спасло фюреру жизнь, и, к сожалению, к великому сожалению, он отделался царапинами и пустячными ожогами. Убито несколько офицеров и генералов из его свиты, другие ранены. Вино-

ник расстрелян. Вот доказательство, что многие генералы и офицеры сыты войной по горло и с наслаждением отправили бы Гитлера в тартарары. Они стремятся основать после смерти Гитлера военную диктатуру, потом заключить мир с союзниками, снова вооружиться и через двадцать лет опять начать войну. А может быть, провидение нарочно немножко задержало уничтожение Гитлера, потому что для союзников гораздо удобнее и выгоднее, если "чистокровные" германцы передерутся между собой и уничтожат друг дружку, тогда русским и англичанам останется меньше работы и они тем скорее смогут начать отстраивать свои города. Но пока что до этого не дошло, и я не хочу предвосхищать блистательное будущее. Но ты, наверно, поняла, что все, о чем я рассказываю, — трезвые факты, они обеими ногами стоят на реальной почве. В виде исключения я тут ничего не приплетаю про "возвышенные идеалы".

Кроме того, Гитлер был так любезен, что сообщил своему любимому и преданному народу о том, что с сегодняшнего дня все военные подчинены гестапо и что каждый солдат, узнавший, что его командир принимал участие в "подлом и низком покушении", может без дальнейших околичностей пристрелить его.

Вот это будет история! У Ганса Дампфа заболели ноги от беготни, его командир на него наорал. Ганс хватает винтовку, кричит: "Ты хотел убить фюрера, вот тебе за это!" Залп — и высокомерный командир, осмелившийся кричать на бедного солдатику, перешел в вечную жизнь (или в вечную смерть —

как это говорится?). Дойдет до того, что господа офицеры со страху наделают в штаны и будут бояться даже пикнуть перед солдатами.

Ты поняла или я опять наболтала бог весть что? Ничего не поделаешь, я слишком счастлива, чтобы писать связно, при одной мысли, что в октябре я снова сяду за парту! О-ля-ля, да я сама только что писала: "Не хочу предвосхищать будущее!" Не сердись, не зря же меня называют "клубок противоречий"!

Анна.

Вторник, 1 августа 1944 г.

Милая Китти!

"Клубок противоречий"! Это последняя фраза последнего письма, и с нее начинаю сегодня. "Клубок противоречий" — ты можешь объяснить мне, что это значит? Что значит "противоречие"? Как многие другие слова, и это слово имеет двойной смысл: противоречие кому-нибудь и противоречие внутреннее.

Первый смысл обычно означает: "не признавать мнения других людей, считать, что ты лучше всех все знаешь, всегда оставлять за собой последнее слово", — в общем, все те неприятные качества, которые приписывают мне. А второе никому не известно, это — личная тайна.

Однажды я тебе рассказывала, что у меня, в сущности, не одна душа, а две. В одной таится моя необузданная веселость, ироническое отношение ко всему, жизнерадостность и главное мое свойство — ко всему относиться легко. Под этим я понимаю вот что: не придавать значения флирту, поцелую, объятию, двусмыс-



ленной шутке. И эта душа во мне всегда наготове, она вытесняет другую, более прекрасную, чистую и глубокую. Но ту, хорошую сторону Анны никто не знает, потому так мало людей меня терпит.

Да, конечно, я веселый клоун на один вечер, а потом целый месяц никому не нужна. Совсем как для серьезных людей любовный фильм: просто развлечение, отдых на часок, то, что сразу забываешь, ни хорошее, ни плохое. Мне немного неприятно рассказывать тебе это, но почему не сказать, раз это правда? Моя легкомысленная, поверхностная душа всегда одолевает ту, глубокую, побеждает ее. Ты не представляешь себе, как часто я пыталась отодвинуть, парализовать, скрыть эту Анну, которая в конце концов составляет только половину того, что зовется Анной, но ничего не выходит, и я знаю почему.

Я боюсь, что все, кто меня знает такой, какой я всегда бываю, вдруг обнаружат, что у меня есть и другая сторона, гораздо лучше, гораздо добрее. Я боюсь, что надо мной станут насмехаться, назовут меня смешной и сентиментальной, не примут меня всерьез. Я привыкла, что ко мне относятся несерьезно, но к этому привыкла только "легкая" Анна, она может это вынести, а другая, "серьезная", слишком для этого слаба. И если я когда-нибудь насильно вытаскиваю "хорошую" Анну на сцену, она съеживается, как растение "не-тронь-меня", и как только ей надо заговорить, она выпускает вместо себя Анну N 1 и исчезает, прежде чем я успеваю опомниться.

И выходит, что та, "милая" Анна никогда не появляется на людях, но когда я одна, она главенс-

твует. Я точно знаю, какой мне хочется быть, какая я есть... в душе, но, к сожалению, я такая только для себя самой. И, может быть – нет, даже наверняка, – это причина, почему я считаю, что я по натуре глубокая и скрытная, а другие – что я общительная и поверхностная. Внутри мне всегда указывает путь та, "чистая" и "хорошая" Анна, а внешне я просто веселая козочка-попрыгунья.

И, как я уже говорила, я все чувствую не так, как говорю другим, поэтому обо мне и сложилось мнение, что я бегаю за мальчишками, флиртую, всюду сую свой нос, зачитываюсь романами. И "веселая" Анна над этим смеется, дерзит, равнодушно пожимает плечами, делает вид, что ее это вовсе не касается. Но – увы! Та, другая, "тихая" Анна думает совсем иначе. И так как я с тобой абсолютно честна, то признаюсь: мне очень жаль, что я прилагаю невероятные усилия, чтобы изменить себя, стать другой, но каждый раз мне приходится бороться с тем, что сильнее меня.

И все во мне плачет: "Видишь, вот что вышло: у тебя дурная репутация, вокруг – насмешливые или огорченные лица, людям ты несимпатична – а все из-за того, что ты не слушаешь советов своего лучшего "я". Ах, я бы и слушалась, но ничего не выходит: стоит мне стать серьезной и тихой, как все думают, что это притворство, и мне приходится спасаться шуткой. Я уж не говорю о своей семье, они сразу начинают подозревать, что я заболела, дают пилюли от головной боли, от нервов, щупают пульс и лоб – уж нет ли у меня жара, спрашивают, действовал ли желудок, а потом порицают меня за



плохое настроение. И я не выдерживаю. Когда ко мне так пристают, начинаю по-настоящему капризничать, потом мне становится грустно, и наконец я выворачиваю сердце наизнанку, плохим наружу, а хорошим внутрь, и начинаю искать средства — стать такой, как мне хотелось бы, какой я могла бы стать, если бы... да, если бы не было на свете других людей...

Анна.

На этом дневник Анны обрывается.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

4 августа "зеленая полиция" напала на "убежище", арестовала всех, кто там скрывался, вместе с Крайером и Коопхойсом, и увезла в немецкие и голландские концлагеря.

Гестапо разгромило "убежище". Среди старых книг, журналов и газет, брошенных как попало, Милл и Элли нашли дневник Анны. Кроме нескольких страниц, не интересных читателям, дневник был напечатан полностью.

Из всех скрывавшихся вернулся только отец Анны. Крайер и Коопхойс вынесли множество лишений в голландских лагерях и возвратились к своим семьям.

Анна умерла в марте 1945 года в концлагере Берген-Бельзен, за два месяца до освобождения Голландии.

Я – обрученная кольцами дыма,
Я – обрученная тучами чада
С городом, с этим трагическим мимом,
С этим безумным исчадием ада,
С этим безумцем, счастливым и жалким.
Я – его жизнь, им самим порожденная,
Я – его жрица, жена и служанка,
С ним обрученная, им обреченная
На кандалы – ведь они освященные
Вечным обрядом слепого венчанья, –
И на любовь, что зовут разделенною,
Если взаимное будет отчаянье.

В серой дымке до дна растворяется небо.
Мне не видно отсюда ни рельсов, ни шпал.
А уход, возвращение – все это небыль.
Все забудет лишь тот, кто когда-то все знал.
Но опять пролетят поезда, замирая
Тихим гулом вдали, тихой болью в груди,
О себе мне, наверное, напоминая,
Но оставшись уже далеко позади.
Как снотворное воздух застывший глотаю.
Лишь бы только не спутать часы и года
И не слышать, как где-то вдали пролетают
Поезда, на земле не оставив следа.

Ты щелкнул зажигалкой, затянулся –
Чуть дрогнул золотистый уголек.
Тебе казалось, будто ты споткнулся,
Ты проиграл – ты, опытный игрок.
Игра – сплошная линия без фронта,
Внезапность, безысходность – все тогда,
Когда ты вдруг, дойдя до горизонта,
Почувствовал, что сзади пустота,
Когда ты вдруг заметил, что дорога,
Что мостовая – мостик в никуда,
А те, кого с тобою было много –
Они ушли, исчезли без следа.
Кружилось солнце – брошенная прялка.
Нам ни о чем не надо говорить.
Ты усмехнулся, щелкнул зажигалкой.
Ты прав. Я рядом. Дай мне закурить.

ПРОБА ПЕРА

Динара
СЕЛИВЕРСТОВА,
19 лет
Москва

В СЕРОЙ ДЫМКЕ

Игорь ЛИНЧЕВСКИЙ

У НАС НА ДАЧЕ

РАССКАЗ

Мы на даче часто играем в "картошку". Это игра такая. Как волейбол. Только кто ошибается – садится в центр круга и по нему мячом все стараются врезать. Не так, конечно, чтобы выплыв от боли, но чтоб чувствовал и играл как следует. Мы в "картошку" всегда втроем играем – я, Борька и Катька.

Когда ребята пришли, я огород поливал. У Борьки мяч в руках. Говорит:

– К Кутузовым новые дачники приехали. С девчонкой. Пошли знакомиться? На "картошке" ее испытаем.

– Конечно, – говорю. – О чем речь? – и лейку сразу бросил.

Катька говорит:

– Наконец-то хоть один человек рядом будет. Надоели вы мне хуже горькой редьки. Я в школе с мальчишками вообще не разговариваю, а вас терплю из-за скуки. Но теперь, когда эта девочка здесь, я вас терпеть не намерена и мучать ее не дам!

Борька испугался, что развлечение пропадет.

– Я треплюсь, – говорит. – Я с ней сам подружиться хотел. Всю жизнь такую встретить мечтал.

Катька с подозрением посмотрела на него.

– Врешь ты все, Борисюга, – говорит. – Я тебя насквозь вижу.

– Да не! – говорит Борька. – По-честному. Хочешь в крапиву встану?

– Очень надо, – говорит Катька. – Во-первых, ты в брюках, а во-вторых, все равно не поверю.

Я лейку с земли поднял – почти вся вода из нее вылилась, опять к колонке бежать.

– Пошли хоть познакомимся, – говорит Борька.

Приходим к Кутузовым. У них на участке черт-те что творится – в беседке пятеро дачников, в саду раскладушек штук десять, а новенькие прямо со своим диваном приехали. Диван на участок еще не занесли, он посреди улицы стоит. А на нем девочка лежит. Увидела нас, села.

– Привет, – говорит. – Я думала, тут никого из нормальных людей нету, думала – тут одни пенсионеры. Давайте познакомимся. Меня Лилей зовут.

– Бульдог, – говорит Борька. У него в школе такая кличка была. Щеки у него толстые и ноздри видны, даже если не нагибаться.

– Горячова, – представилась Катька. – Екатерина.

Я тоже руку Лильке пожал. Она мне понравилась – бойкая

девчонка. Рука у нее крепкая. Мне бойкие нравятся. Такие, как Катька.

Мы немного помолчали. Потом Лилька заметила у Борьки мяч и говорит:

– А во что вы тут играете?

Борька оживился сразу:

– В "картошку", – говорит. – Целыми днями режемся.

– Перестань, – говорит Катька. – Видишь, какая она тоненькая?

– В "картошку"? – переспросила Лилька. – Это как?

– Сыграем – научишься, – Борька говорит.

– Перестань, – говорит Катька. Борька на нее не взглянул. Говорит:

– И учиться нечему. Очень легкая игра.

– Не слушай, – Катька Лильке говорит. – Пойдем, я тебе лучше пляж покажу.

– На пляже тоже можно играть, – я говорю.

Лилька с дивана вскочила.

– Подождите, – говорит. – Я маму предупрежу.

Как завизжит:

– Мя-мя!!! – у меня уши заложило.

На крыльцо выходит ее мама. Краса-вица-а! Я таких только на обложках журналов видел. Пробралась мимо раскладушек к калитке. С нами поздоровалась, осмотрела каждого по отдельности.

– Ну, – говорит. – Люди достойные. Можешь идти погулять.

Лилька сказать ничего не успела. Вот это мама, так мама, я бы такую маму на десять своих пап не обменял. Не спросила – куда идем, зачем идем, когда вернемся.

На пляже как всегда все забито. Дети грудные голышом бегают, старички со старушками в складных стульчиках сидят. А в реке из-за купающихся воды не видно.

– Ничего себе пляжик, – Лилька говорит. – Говорила я маме – на юг надо ехать.

– А что на юге? – говорит Борька. – На юге черники не поешь.

– А здесь – винограда, – говорит Лилька.

– Почему? – вступился я. – На станции в ларечке, пожалуйста, рупь двадцать кило...

Разболтались мы, про Катьку совсем забыли. Даже вперед ушли, а она где-то позади плетется. Уже на другие темы перешли. Про город заговорили. Оказывается, мы с Лилькой в одном районе живем.

– Надо же, – говорю. – До двенадцати лет дожили, а друг о друге не знали. Вот ведь бывает!

Борька сразу завидовать начал.

– Подумаешь, – говорит. – Я в одном доме с генерал-лейтенантом живу и то молчу, – и тоже на шаг отстал. Мы с Лилькой вдвоем пошли. А Борька вдвоем с Катькой. Идут сзади, Катька

что-то под нос бурчит, Борька поддакивает. Нас обсуждают. Я иду, делаю вид, что не слышу, временами и правда не слышу. У Лильки отец, оказывается, водолазом работает – все океаны под водой исползал. Бывают же у людей отцы – не то что некоторые. Мой с работы одни таблицы приносит, а у Лильки весь дом в находках, в раковинах всяких огромных. Лилька говорит, даже ухо не надо прикладывать – и так слышно, как море шумит. Иногда, говорит, даже надоедает. Особенно по ночам.

– Знаете что, – Катька сзади громко говорит. – Мне весь день шататься здесь не светит. Будем в "картошку" играть или нет?

– А как же, – Лилька говорит. – Я очень хочу научиться играть в вашу "картошку".

– Какая же она наша, – злорадно говорит Борька. – Она общая, – и ухмыляется своими бульдожьими щеками.

– Бросьте, – говорю. – Какая может быть "картошка"! Не по людям же прыгать?

– Зачем по людям? Вот тут местечко хорошее, – Борька говорит и показывает рукой на место, откуда только что дядька ушел – там два человека вплотную если встанут, едва уместятся.

– Вы правила расскажите, – Лилька просит. Я ей подробно растолковал, что к чему. Ей понравилось.

– Давайте, – говорит, – начнем.

Кое-как встали в кружок. Только начали играть, Борька какой-то женщине на руку наступил. Женщина на солнышке спала, не поняла спросонья, что случилось, вскочила и – тресь меня сумкой по башке.

– Будешь, – говорит, – знать, как кнопки подкладывать!

Не знаю, что там ей приснилось, – наверное, она учительницей в младших классах работала.

Лилька за меня заступаться стала.

– Это, – говорит, – не он...

Женщина и Борьке – тресь! У Борьки мяч из рук выкатился, к воде запрыгал. Хорошо, у воды парни стояли, человек шесть, обрадовались.

– О, шарик! – кричат. – Чей шарик? – и давай играть в волейбол. Сразу место нашлось – парни здоровые, животы как у атлантов на Эрмитаже.

Мы подошли. Борька говорит:

– Это наш мяч.

– Подключайтесь, – один из парней говорит.

– Да что ты мелюзгу привлекаешь, – самый здоровый говорит. – Посидите, мелюзга, не песочке, – это он нам, сам волосатый весь, даже пупка не видно.

– Это мой мяч, – Борька говорит. – Захочу – вообще отниму.

– Кто тебе его даст, мелюзга, – волосатый говорит. – Ну, ладно, так и быть, мелюзга, подключайтесь. Сыграем в "картошку"!

Борька рядом с ним встал, хитрюга.

– Сыграем, – говорит.

Пошла у нас игра. Нас парни будто не замечают. Мы как статуи стоим. Парни резвятся, друг друга вышибают, особенно волосатый старается – всех вышиб. Делать стало нечего – за нас принялся. Круг реже стал, Борька точно против волосатого оказался. Я на Борьку смотрю – побледнел он. Вспомнил, как тот друзей дубасил.

Волосатый с Лильки решил начать – как дал крученный, я даже зажмурился. Открываю глаза, смотрю – жива. Волосатый уже в центре сидит – с дружками. Только наша четверка играет. Никто не рискует по "картошке" вдевать. Катька, наверно, не хочет в одиночестве с парнями сидеть, Борька перед Лилькой выпендривается, а мне от него отставать неохота. Лилька легонько мяч пальцами – тырк, ловко у нее так получается, – мяч высоко летит, брать его легко и приятно.

Часа полтора мы играли. Парни возмущаться начали. Больше всех – волосатый.

– Завязывать пора, – говорит. – Или по нам бейте или кончайте издеваться.

Лилька чуть встала на цыпочки, как закатит ему по лбу – волосатый на песок сел. Мяч от него отскочил прямо Борьке в руки. Борька его подмышку сунул.

– Мне за молоком надо, – говорит.

Надо, так надо – никто не против. Ушли мы, а парни сидеть остались. Нам вслед смотрели.

– Хорошая игра, – Лилька по дороге говорит. – Подачу отрабатывает.

– Так ты волейболистка? – Борька спрашивает.

– Ага, – Лилька говорит.

– Ну и что? Я каратэ занимаюсь, – Катька говорит. – Хочешь подеремся?

Лилька остановилась.

– Не хочу, – говорит.

– Не хочешь – тогда катись отсюда, – Катька говорит.

Чего на нее наехало – непонятно. Мне бойкие девчонки нравятся, но Катька, по-моему, переборщила. Главное – ни с того, ни с сего.

– Пожалуйста, – Лилька говорит. – Идемте, ребята. Мы с мамой блины печь собирались.

– Какие блины! – Катька кричит. – Сперва диван затащите!

– И затащим, – Борька говорит.

– Ну-ну, – Катька в нос говорит. – Я посмотрю.

– Смори, – говорю. – Если делать нечего.

Катька вдруг – бряк на дорогу и начинает рыдать. Мы с Борькой растерялись, а Лилька говорит:

– Так вы идете к нам на блины? Я жду...

Мы совсем расстроились.

– Что делать будем? – Борька тихо спрашивает.

– Откуда я знаю, – так же тихо ему отвечаю. Катька как села,

так и сидит. Всю пыль на дороге слезами искапала. Потом внезапно встала, слезы вытерла и говорит как ни в чем не бывало:

– Это я вас проверяла – друзья вы мне или нет.

Мы с Борькой дыхание перевели.

– Ну и как? – Борька спрашивает.

– Так себе, – Катька говорит. Потом к Лильке обращается.

Говорит:

– Я, между прочим, тоже блины люблю.

– Я пошутила, – Лилька говорит. – Какие блины? Блинчики, блины, когда диван еще не втащили?

Ну и компания!

– Из-за вас я за молоком опоздал, – Борька говорит. – Знаете, что теперь со мной сделают?

– Представляю, – говорю. – Примерно то же, что и со мной за огород.

– Ты еще дополиваешь, – Катька говорит. – А вот молоко уже кончилось. Борьке хуже будет.

– Ты моего отца не знаешь, – говорю.

– А ты – моего, – Катька мне говорит.

– А ты – моего, – Борька неизвестно кому говорит.

– А мой папа художник, – Лилька говорит. – У нас весь дом в картинах. Одна вообще обои заменяет – во всю стену и до потолка. Мамин портрет.

– Ты же говорила, он у тебя водолаз? – удивляюсь я.

– Действительно, он водолаз, – Лилька говорит, – а заодно и рисует в свободное от работы время.

Я не стал уточнять. Рисует – значит нравится человеку.

– Пойдемте ко мне, – предложил Борька. – Вы моим объясните, почему я за молоком не успел...

– Сам не можешь? – Катька говорит. – У меня дел по горло, а я к тебе потащусь!

У всех дела нашлись. Лильке надо диван втащить, мне огород дополивать, у Катьки тоже какие-то дела. Один Борька без дела остался. Начали выяснять – у кого дела важнее. Девчонки развизжались – слушать противно. Лилька как резанная верещит, Катька от нее не отстает, Борька молчит, а меня совсем не слышно. Я схватил с земли палку, как двину по дереву. Отдача такая, будто самого себя палкой стукнул. Громче девчонок завизжал, палку выронил. Девчонки заткнулись, на меня уставились. Я от стыда не знаю куда деться. Борька рухнул на землю, хохочет, катается и кричит:

– Ох, держите меня, я сейчас умру, не могу больше, помогите!

И про молоко некупленное забыл. Я ему напомнил, он кататься перестал, помрачнел.

– Что будет, – говорит.

– Что-что, – говорю, – выплют по первое число.

– Какие все-таки мальчишки злые, – Катька говорит. – Правда, Лиля?

– Правда, – Лилька говорит.

Подружились, пока вместе визжали.

– Дуры вы, – говорю. Больно уж зло меня разобрало.

– Мы? – удивились.

– Вы, – Борька подтвердил. – Ты и ты, и ты тоже дурак. Я из-за вашего визга мяч потерял. Он бразильский был. С родины Пеле. У нас такие не продаются. Хоть в Бразилию теперь едьте, а мяч чтоб сейчас же тут был.

Огляделись – в самом деле мяч исчез. Как испарился. Хотя бразильским он, конечно, не пах.

Борька чуть не плачет.

– Мне его дядя двоюродный из Португалии привез, – говорит. От волнения все перепутал.

Девчонки с дороги сошли, на коленках ползают, траву раздвигают. Борька по другой стороне рыщет. Только я ему помочь хотел, смотрю – по дороге парень идет, бывший волосатый, теперь в рубашке и джинсах, мяч Борькин на руке подбираывает.

– Вы, – говорит, – мелюзга, шарик посеяли?

– Я, – Борька говорит и к мячу тянется. Парень мяч над головой поднял.

– Попрыгай вокруг дерева, – говорит, – тогда отдам.

Борька уже прыгать собрался, ноги согнул. Катька кричит:

– Не вздумай! Я сейчас сама с ним побеседую! – Подходит к парню и в стойку становится. В каратистскую. Тут и Лилька подошла. У парня от ее резака на лбу отпечаток шнуровки все еще виден.

– Дарю, – парень быстро так говорит.

Но Катька для остротки провела имитацию ударов. В одну секунду все болевые точки поразила. Уважаю я таких девчонок. Побольше бы таких. И чтоб все знакомые были. Я б тогда страха не знал.

Парень с километр от нас отошел, а все оглядывался. Похоже, боялся, что мы близко подкрадемся. Торопился, раза три упал в спешке.

– Знаете что, – Лилька говорит. – Давайте втащим мой диван, сделаем Катины дела, потом польем огород и пойдем объясним Борькиным, почему он не купил молоко!

– Мои дела я должна делать лично, – Катька говорит. – На худой конец с тобой, Лилия. А с ними я дела делать не могу, я их с трудом выношу.

– Пойдем отсюда, – Борьке говорю. – Бери свой португальско-бразильский мяч и пойдем.

– Пойдем, – говорит Борька, и мы солдатским шагом, нога в ногу идем к поселку. Девчонки от нас не отстают. Когда становится виден диван, они начинают шептаться и Лилька кричит:

– Хорошо! Катя согласна, чтобы ее дела делать вместе!

Мы останавливаемся и ждем, пока они подойдут.

– А какие дела? – спрашиваю я у Катьки. – Может, ты сберкассу грабить хочешь?

– Не хочу, – Катька говорит.

– А что ты хочешь? – спрашивает Борька.

– Тайна, – Катька говорит.

– Ты что, больная? Как же мы делать будем, если не знаем – что именно?

– Они так всегда, – говорит Катька Лильке. – Сперва сами попросят, а потом ломаются.

Лилька понимающе кивает головой. Говорит:

– У нас в школе тоже есть один. Я, говорит Лилька, за тебя готов хоть в огонь и в воду. Еще во втором классе в зоопарк приглашал...

– В меня сразу пятеро влюбились, – Катька пересказывает. – Эти вот двое и в школе трое.

Мы с Борькой не выдержали.

– Чего?! – говорим. – Чего ты плетешь?

– Вот видишь, – Катька говорит. – Им доверять нельзя.

Лилька опять кивает.

– Чего ты киваешь? – говорю. – Слышишь, что она тебе плетет?

– А? – Лилька вскрикнула. Будто проснулась. – Я, – говорит, – маме киваю. Вон она, у дивана стоит.

Смотрим, мама ее у дивана стоит, руками нам машет. Издалека видно – краса-вица-а! Лилька, правда, ее переплюнула.

Подожли поближе, Лилькина мама говорит:

– Диван на участок внести невозможно – некуда ставить. Нам одна супружеская пара раскладушки свои уступила.. Сами согласились на диване спать. Надо лишь перенести его поближе к забору – дорогу освободить.

Тут и благородные супруги выходят. Супруг в пенсне и в строгом черном костюме, а супруга в строгом черном платье с глухим воротом и тоже в пенсне. Как брат с сестрой. Очень симпатичные оба.

– Мы спать на раскладушках не привыкли, – супруг говорит. – У нас в городе гарнитур в стиле "ампир", кровать с балдахином, а раскладушки скрипят. Спишь, как в целлофане. У вас софа в стиле "модерн"?

– У нас хороший диван, – говорит Лилькина красавица. – Мы бы на нем сами спали, но вы же понимаете – ребенок...

– Да-да, конечно, – наперебой говорят супруги. – Пусть вас не затруднит, это мы вам обязаны!

Они поворачиваются и идут в сторону станции. Их шахматные фигурки долго еще нам видны.

Лилькина мама хохочет и целует всех подряд – меня, Катьку, один раз Борькин мяч поцеловала.

– Вот и устроились, – она говорит. – Вот и ладушки! Теперь и блины можно печь!

фото Игоря ГАВРИЛОВА

У ПРЕСТУПНОСТИ — НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

За те годы, что пришлось заниматься криминальной темой, иногда кажется, что удивить или шокировать чем-нибудь трудно. В уголовных делах порой встречается такой изощренный садизм, такая жестокость, такой цинизм. Но вот читаю: "Когда сообщник отрезал голову, я поворачивала ее, чтобы ему было удобнее. Затем, увидев на шее крестик, сняла его и положила в рот трупа — брать чужой крестик грешно..."

Это строки из уголовного дела 18-летней соучастницы в убийстве. Девушка, помогаю-





щая при расчленении убитой – жертвой стала профессиональная проститутка, которая слишком много знала о преступлениях, совершенных бандой, куда входила юная особа, понимала, что брать крестик – грех. А то, что она делала? Как назвать это? В итоге девушка оказалась за решеткой, а теперь в женской колонии. И хотя приговор вступил в законную силу, я не называю ее фамилии, потому что в колонии она оказалась уже не одна, а с крошечным ребенком. Думаю, что эта девочка, родившаяся в тюремной больнице, была для ее молодой матери чем-то вроде спасательной соломинки. Имея грудного ребенка, преступница явно рассчитывала на снисхождение в суде. При определении наказания действительно это обстоятельство было учтено. Но что же в будущем ждет ее ребенка? Не пойдет ли девочка по стопам матери? А сама молодая мать – тоже дочь алкоголички, которой было достаточно подсыпать в рюмку немного порошка, как она "отключалась", а в квартире тем временем происходили "сходки" банды, где принимала участие ее 18-летняя дочь, ныне осужденная.

К сожалению, в наших колониях такая "преемственность" поколений прослеживается. Но выяснить ее статистику невозможно. Как, впрочем, и другую: сколько преступлений совершено молодыми или несовершеннолетними правонарушительницами. И происходит это не потому, что наши правоохранительные органы скры-



вают эту цифру. Просто такой статистикой никто никогда не занимался. По данным МВД СССР, можно судить только о росте преступлений, совершенных несовершеннолетними. Итак, за 6 месяцев прошлого года ими было совершено почти 107 тысяч преступлений, что на 9,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Каковы же разновидности совершенных юными женщинами преступлений? Если говорить о самой "модной" сейчас теме – организованной преступности, то молодые женщины, конечно, входят в различные противоправные кланы. Но женских банд в чистом виде у нас пока не встречалось, хотя специалисты по борьбе с преступностью среди несовер-



порок только в павлиньих перьях – роскошные наряды, дорогая косметика и прочие элементы красивой жизни, забывают, что если только эти шикарные особы попадают в зоны, они возвращаются оттуда совсем другими. И мне тоже приходилось видеть тех, кто вместо долларов зарабатывал на вокзалах рубли, а порой довольствовался просто стаканом дешевого портвейна. Спитые, опухшие лица, огрубевшие руки, озлобленный взгляд, татуировка. Они вернулись из колонии, где потеряли свое женское лицо. А может ли быть у преступности женское лицо?

Мы сейчас много пишем о гуманизации содержания заключенных, особенно женщин. Обсуждаем все вопросы содержания в неволе, вплоть до интимных.

Ведь для многих женщин, особенно молодых, самым страшным в неволе оказывается то, что они перестают быть женщинами. Грубая, одинаковая одежда, хождение строем, плохая еда – все это действует и на женскую психику, и на женскую внешность. Но самое страшное, по утверждению многих колонисток, – это отсутствие внимания со стороны противоположного пола. Да и отсутствие, естественно, представителей этого пола вообще. И тогда начинаются извращения. И если раньше лесбиянки в женских колониях стыдились своих наклонностей, то сейчас они занимаются этим откровенно, заявляя: уж если мужской гомосексуализм у нас сейчас практически ненаказу-

шеннолетних утверждают, что в Казани стали появляться именно девичьи "разбойничьи" стаи. К чисто женским видам преступлений относятся разбой, мошенничества, кражи, "наводки" на богатого клиента или квартиру. Многие валютные проститутки используют психотропные средства, добавляя их незаметно в спиртное, затем беззастенчиво грабят своих одурманенных клиентов. И, попавшись на этом, могут получить солидный срок как грабительницы, в то время как их основной вид занятий – проституция, – несмотря на весь шум вокруг этой проблемы, не просто уголовно не наказуем, но и в среде юных особ считается чуть ли не престижной профессией.

Те девушки, которые видят







ем, то что же можно вменить им? А ведь в первую очередь все извращения влияют на психику. Выйдут такие искаленные морально еще молодые женщины на свободу – и что дальше? Только в прошлом году в колониях для несовершеннолетних отбывали наказания около полутора тысяч девушек.

В небольшом по объему материале трудно предложить какой-либо выход из создавшегося положения. Да и цели у меня совсем другие. Говоря о гуманизации содержания в местах лишения свободы, не стоит забывать, что там есть женщины, совершившие тяжчайшие преступления, по своей жестокости и изощренности не поддающиеся никаким объяснениям.

Жутко было читать о случае каннибализма. Но куда страшнее то, что двумя пособницами современного каннибала были две женщины – близкие подруги людоеда. Они поочередно принимали участие в том, что заманивали молоденьких девочек в дом, становились соучастницами в изнасиловании, дальнейшем убийстве, а потом и кошмарных пиршествах. Одну из женщин потом постигла участь своих жертв.

Волосы встают дыбом, когда узнаешь подробности уголовного дела, над раскрытием которого трудились оперативники МУРа, а сейчас расследуют следователи Мосгорпрокуратуры. Пособницами извращенного садизма были его жена и ее несовершеннолетняя дочь. Они принимали участие во всех зверствах, включая изнаси-

лования в извращенной форме. И, читая подобные истории, многие наши соотечественники, доведенные до отчаяния свалившимися сейчас на нас бытовыми испытаниями, и слышать не хотят о гуманности по отношению к тем, кто способен на такие зверства. Именно поэтому я не хочу говорить на эту тему.

Давайте поговорим о другом.

Если женщины нашего общества, в том числе самые юные, становятся на преступный путь, значит, общество больно. Сейчас в колониях находятся в основном девочки, рожденные в пьяное десятилетие – в 70-е годы. Много дебильных, несущих на себе последствия пьяного зачатия. Что могли дать им их матери, чаще всего одиночки или разведенные, которые с утра до ночи на работе? Или матери-воровки, проститутки? Что могли они привить своим дочерям, какие нравственные ценности? Какое воспитание могут дать своим будущим детям юные воспитанницы колонии – с татуировкой на теле и шрамами на душе? Это наше будущее, и для того, чтобы оно не было столь страшным, чтобы оно не плодило новое поколение женщин с татуировкой и шрамами, надо что-то делать, чтобы изменить жизнь женщин. И делать это надо сейчас, завтра будет поздно. Взгляните на эти юные лица за колючей проволокой – равнодушных здесь быть не может.

Лариса КИСЛИНСКАЯ

ПРОБА ПЕРА

Виктор ШЛЯХИН,
16 лет
Рязань

Крупинки вечности

Ах, Водолей мой, Водолей,
Созвездие мечты моей,
На ежедневном небосклоне
Все тучи серые разгонит,
Ударит молнией с высот,
Мой ленный сон

в момент прервет;
И я проснусь, пойду вперед,
Туда, куда звезда зовет...
...Но не зовет меня звезда,
Лишь где-то стонут поезда,
И дождь идет, и грязь кругом,
И не найти мне нужный дом...

Порой так хочется мечтать
И птицею себя представить,
И землю грешную оставить,
И хоть немного полетать.

Порой так хочется мечтать,
Во сне влюбиться не напрасно,
Любви, счастливой
и прекрасной,
Себя всего до дна отдать.

Порой так хочется мечтать
И стать могучим и всесильным,
Великим, мудрым и красивым,
Лгать и бояться перестать.

Порой так хочется мечтать,
Страну представить
возрожденной,
Здоровой, многомиллионной,
Сумевшей Запад обогнать.

Порой так хочется мечтать
И видеть светлые картины
Без грязи и болотной тины,
И глаз вовек не открывать...

Порой так хочется мечтать!

Вижу руки на белых клавишах,
Вижу руки на черных клавишах.
И я слышу музыку, музыку,
И мне кажется, что я живу.

Губы шепчут: "Ты мне нравишься!"
Глаза шепчут:

"Ты мне нравишься!"

Все кругом, как настоящее,
И как будто все наяву!

Плавню движутся нежные пальчики,
Плавню клавиш касаются пальчики,
Я боюсь – оборвется мелодия,
Прекратится мой сладостный сон.

Тишина разольется по зальчику,
Темнота разольется по зальчику,
Я проснусь, оглянусь в отчаяньи –
Таков уж жизни закон.

А мне хочется слышать музыку,
А мне хочется видеть пальчики,
А мне нравится эта девочка –
Ну что же поделаешь тут.

Ах, какая красивая музыка,
Ах, какие красивые пальчики,
Только жаль, что рассветные лучики
Этот мир у меня украдут.

Тупики, тупики, тупики, тупики...
И налево стена, и направо стена.
Темно так, что не видно своей же руки,
Тупики, тупики, в тупиках вся страна.

Я иду – а куда? А туда, куда все.
Только выхода нет, лишь одни тупики;
Вот проносятся мимо авто по шоссе –
Но в конце у шоссе все равно тупики.

И прилавки пусты, да и души пусты –
Растерялось все в поисках света.
Все ослепли без солнца, как будто кроты,
И любовь уж разменной стала монетой.

Что любовь – мы и жизнь-то не ценим
ни в грош,
Пропадая в безвестии бездны –
Все равно ведь в тупик, ты в тупик
попадешь,
В бесконечный, бетонно-железный.

P.S. Видно, вся тупиковость хранится в крови:
Оттого моя жизнь – все одни тупики,
И куда я ни ткнусь – и в борьбе, и в любви,
И в политике левой – везде тупики.

Пыль – это крупинки вечности,
осевшие на бесконечности
округло-крикливой замкнутости
полированных плоскостей...
А мы – осколки пределов,
оканчивающихся на Западе,
и стоящих выше внезапности
опавшей осенней листвы...
Мы движемся по траектории,
отдаленно напоминающей
четкие очертания теоретических схем.
И по признаку параллельности,
взаимно перпендикулярные,
мы знаем, где небо кончается,
и где начинается День...

Я устал просыпаться в надежде
И глядеть в беспросветную даль.
Одеваться в чужие одежды,
Окунаться в чужую печаль.

Надоело безудержно верить,
Что ответ на добро есть не зло,
Что всегда открываются двери,
Просто мне иногда не везло.

Тяжким пламенем гаснут рассветы,
Незаметно проходит наш день,
Наложив безразличное вето
На различные судьбы людей.

Я прожил этот день бесполезно,
Верно, что-то случилось со мной –
Меня жжет раскаленным железом,
Отбирая и ум, и покой.

Этот взгляд, этот голос и облик:
Ах, опять покоряюсь глазам.
В них рассветного солнца

есть отблеск,
В них всего лишь
полграмма свинца...

Шары летели над землей
В прозрачном предзакатном небе.
Народ махал шарам рукой,
Забыв о водке и о хлебе.

Я заглянул в глаза людей
И встретил в них
не страх и ужас,
А просто добрый взгляд детей,
Увидевших большую лужу.

Ах, как прекрасны те шары,
Что величаво в небе плыли.
Мы все сложили топоры,
Хоть на момент о зле забыли,

Ведь злу не удалось достать
Шары, подхваченные ветром.
Полет свободный не прервать
И не измерить ржавым метром.

Но вот исчезла красота –
Шары за горизонтом
скрылись...
Кругом опять лишь суета,
И люди снова заблудились...



KAPETA

Денис получил по морде мокрым посудным полотенцем.

– Ма, а ты быстро бегаешь, – оценил он – и получил еще раз.

Он даже не закрывался руками: знал – получает за дело. И только когда, замахнувшись в третий раз, Лора безвольно опустила полотенце, он победно подмигнул ей и стал весело разворачиваться на своей новенькой, блистающей под утренним солнцем инвалидной коляске...

Сотрудница райсобеса, посо-

Он высунулся в окно, насколько это было возможно, и, затаив дыхание, ждал – даже не замечая, как с размокшей газеты на подоконник падают жирно-оранжевые капли. Наконец дверь подъезда со стуком отворилась – и из-под

ПОДАНА...

козырька показался Павел Анатольевич (или "Павлик", как называла его Лора). Даже отсюда, сверху, с высоты третьего этажа, он казался весьма самоуверенным. Однако выглядеть так ему оставалось недолго – секунды полторы, ровно столько, сколько завернутое в газету месиво летело от рук Дениса до его швейцарского костюма.

– Как самочувствие, дядя Падлик, – улыбаясь во весь рот, поинтересовался Денис. – У меня, кажется, выпали кильки в томатном соусе. Он показал пустую банку: – Вы там случайно не находили?

Из кухни раздался яростный крик матери. По-видимому, она тоже подошла к окну и, увидев, что портрет ее возлюбленного обогатился двумя новыми красками (оранжевой – от килек и багровой – от ярости), сразу все поняла. А еще через пару секунд

ветовавшая мне побывать в гостях у Лоры Андреевны, охарактеризовала ситуацию как "типичную для семьи, где имеется подросток-инвалид, содержащийся в домашних условиях". Еще я узнал от нее, что, когда детей-инвалидов сдают в специальные интернаты, "семья почти всегда остается полной", в противном же случае – когда "мама проявляет упорство" и ущербное дитя остается дома, – "уходит, как правило, отец".

...Женщина лет тридцати пяти, представившаяся мне Лорой, сразу развеяла мой стереотип матери-жертвенницы (со скорбным лицом и в заштопанной кофточке). Веселая, модно одетая, с молодежной прической – в первый момент я даже решил, что разговариваю со старшей сестрой Дениса. Но это только в первый момент.

...Все беды начались с прививки. В районной поликлинике, где

наблюдался годовалый Динечка, юная медсестра вколола ему "что-то не то" (по выражению Лоры), "а может быть, и не так". В общем, к году и трем месяцам малыш перестал двигать ножками.

И началось. Хождения по специализированным центрам и платным поликлиникам, телефонные отлавливания медицинских "светил" и блуждания по забытым богом российским деревням в поисках настоящей "бабки".

Ничего не помогало. А Лора все искала, искала... Это тогда в одной из высоких инстанций "имеющая вес в медицинских кругах" дама сжалилась над двадцатилетней девчушкой с затравленными глазами и посоветовала ей "доверить сына государству", на что Лора (как она рассказывает) "послала ее куда подальше" и ушла, хлопнув дверью.

Насчет "послала", может быть, она и сгущает. Но то, что не последовало совету, который в то время давали ей многие, – это факт. Проявив таким образом своеволие, нетипичное для среднестатистической советской женщины, она спровоцировала реакцию, вполне типичную для советского мужчины, – отец Дениса (с которым, кстати, она не была расписана) распрощался с ней через две недели после той беседы с авторитетной дамой от медицины.

И начался новый виток мытарств – надо было трудоустроиваться. Тридцать рублей (столько выделяли тогда в месяц на инвалида) – сумма недостаточная даже для того, чтобы выжить. Не то что жить.

До рождения Дениса она была

стюардессой. Всего лишь полгода провела она среди облаков, прохаживаясь с минералкой в кокетливой пилоточке набекрень. Тогда казалось – ничего особенного. Теперь же те шесть с половиной месяцев она вспоминает как "райскую жизнь"... После целого года скитаний по отделам кадров – после года отказов и унижений – она плюнула на все и пошла убирать подъезды в собственном доме.

– С Денисом у нас всегда было полное взаимопонимание, – рассказывает Лора, – но два года назад его как подменили. Он стал просто невыносимым! Начал курить, сквернословить. И эта идиотская война с Павлом. На прошлой неделе испортил ему новый костюм. А ведь прекрасно знает, на чьи деньги мы живем последние полтора года: сколько бы я ни вязала – больше шестидесяти в месяц я не заработаю. А только на одни процедуры, которые он делает трижды в год, нужно по 225 рублей за курс. Или – прошлым летом сломалась карета. Знаете, сколько ушло на ремонт?

– Какая карета?

И Лора поясняет, что так они называют инвалидную коляску фирмы "Инвакар", подаренную Денису Детским фондом (который в свою очередь получил в подарок около сотни таких колясок от Райхмана, канадского миллионера). Хотя эпитет "карета" пошел не от этой, американской, и не от предыдущей, львовского производства, а от обычной детской прогулочной коляски, в каких заботливые мамы выгуливают малышей от полутора до двух с половиной лет. Денису было тогда семь, и "сосунковая тележка"

страшно его раздражала. Поэтому-то Лора и придумала игру: подкатывая утром коляску к его кровати, она говорила: "Карета подана!"... Игру эту они иногда вспоминают и сейчас. Причем новую коляску Денис называет "инвалютной каретой" (так он обыграл название фирмы "Инвакар").

— Так вот, — продолжает Лора, — и за ремонт коляски, и за процедуры, и за все остальное платит Павел... Но Денису, видите ли, не нравится, что он кооператор. Он даже придумал ему кличку — "участник перестройки дядя Падлик"... Да еще его все время подзуживает Катя: ей тоже не нравится Павел.

— А кто это Катя?

Тихая, неприметная одноклассница Дениса поначалу воспринимала его как общественное поручение. Она быстро отбарабанивала ему условия какой-нибудь математической задачи, проверяла, запомнил ли он, в какие годы посещали Италию великие пролетарские писатели, и убегала на каток, где ждала ее подруга, или спешила домой читать рыцарские романы.

Перемены начались в девятом классе — после того, как она по ошибке прихватила с собой его учебник по литературе и обнаружила в нем тетрадный листок, испещренный неровным почерком.

Катя была потрясена. Она никогда бы не предположила, что этот непутевый малый с кривой ухмылочкой может писать такие горькие и мудрые стихи.

В свой следующий визит Катя как бы невзначай забыла у Дениса свою любимую книгу...

Теперь она приходит к нему

почти каждый день. Классный руководитель не нарадуется ее общественной активности.

—... А я вижу, как ему здесь тяжело, — Катя поднимает голову и всматривается в окна третьего этажа (мы стоим на том самом месте, куда временами с неба падают кильки), — Лора его не понимает.

И я узнаю, что "мать печется лишь о том, как его накормить и одеть", а об удовлетворении духовных запросов Дениса даже не задумывается. Причем в добычании денег Лора, по мнению Кати, не брезгует никакими средствами. Вплоть до "тесной дружбы" с Павлом — этим "примитивным делягой с тугим кошельком", который "влюблен в нее, как теленок". И ей безразлично, как расценивает этот роман Денис...

— Нет, подростковая ревность тут не главное, — отвечает на мой вопрос Катя.

— Но за что же тогда он так не терпит Павла?

— За взгляд, — говорит она и, заметив мое удивление, утвердительно кивает, — да, он несколько раз ловил на себе его взгляд, ...жалостливо-снисходительный. Денис никогда ему этого не простит... Хотя, — немного подумав, добавляет Катя, — свою роль играет, конечно, и ревность.

... Ночью, когда не спится, а из соседней комнаты доносится методичное поскрипывание диванных пружин (к которым словно прикреплены его нервы), Денису порой хочется вскочить и двинуть ногой в стену. Но вскочить он не может. И тогда... он начинает петь.

"Казанова, Казанова — зови меня так!" — горланит он что есть мочи. "Зачем делать сло-ожным,

что проще просто-о-ва, – выводит Денис своим ломающимся, юношески козлиным баритоном. – Ты – моя женщина, я – твой муж-ина...”

“Подонок!” – неизменно кричит Лора и бьет кулаком в стену. А чуть позже из-за этой стены он слышит ее рыдания.

И тогда – все меняется. Ненависть уходит. Вместо нее он чувствует какую-то странную – щемящую и вместе с тем сладкую душевную боль. В такие минуты он почему-то как-то особенно нежно любит и Лору, и себя, и весь мир... Даже злобно сопящего за стеной дядю Павлика.

...Нет, Катя, конечно, славная девушка. И добрая. И неглупая. Беда ее в том, что она еще слишком юная. Многого она пока не понимает. Не может понять.

Как объяснишь ей, например, что значит для красивой двадцатилетней девушки, поднявшейся под небеса (и в прямом, и в переносном смысле) и уже ощутившей вкус полета, вдруг упасть вниз – под лестницу темного, загаженного кошками подъезда. Кто сможет разглядеть в этом падении взлет – один из сотни, из тысячи?.. Или – может ли эта шестнадцатилетняя девочка почувствовать то, что чувствовала Лора в двадцать пять, когда выносила Дениса к песочнице и предусмотрительные мамы оттаскивали своих чад подальше (“Мало ли, отчего ноги не двигаются, может, что-то разное”)... Или – что чувствовала она в тридцать, когда не могла оставить его во дворе ни на минуту: среди окрестной шпаны нашлись два негодяя, которым понравилось издеваться над беспомощным подростком... Или – что

чувствует Лора сейчас, когда Денис подошел к распутию, за которым...

Да нет, она пока не собирается падать духом. Пусть временами она и срывается, но это бывает нечасто. Обычно же он видит ее улыбку, она постоянно чему-то радуется. “Даже если горят все моторы, и машина летит в преисподнюю – пассажиры должны пьянеть от ваших улыбок!” – учили их на курсах.

И может быть, благодаря именно этой выучке в жизни Дениса пока, в общем-то, все хорошо. Хорошо, конечно, относительно. Но покажите мне того, кому хорошо абсолютно...

Кроме Кати, у Дениса есть еще Серега, Олег и Славик. Первые двое – тоже “опорники”. Так же, как и Денис, они ездят на колясках. Правда, не на таких шикарных, но зато – как острит Олег – “пахнущих Родиной”.

Сказав “ездят на колясках”, я допустил неточность: Олега возят – то мама, то бабушка. После перенесенного ДЦП руки Олега ослаблены, и ему трудно управлять коляской. Хотя дело тут не в руках (когда его сажают в “карету” Дениса, он колесит ничуть не хуже ее хозяина). Дело в том, что Львовское экспериментально-производственное объединение средств протезирования и передвижения – единственное в стране предприятие, выпускающее инвалидные коляски для подростков, производит (извините за тавтологию) одну-единственную модель. Одну – на все виды заболеваний, на все формы двигательной патологии, на все возрасты – от двенадцати до шестнадцати лет! Причем “модель” эта на-

столько неудобна, настолько тяжела и неповоротлива, что мне понятно, почему Олег называет ее "бомбовозом". Управлять такой машиной могут только ребята с бицепсами, как у Сереги.

С Олегом Денис дружит давно, лет десять. Они познакомились в одной из длиннющих очередей в городской поликлинике. Пока их ошалелые от трудового дня матери тупо изучали узоры на линолеуме, под раскидистой листвою торчащего из калки папоротника рождалась мужская дружба. Денису было тогда шесть лет. Олегу – пять.

С Серегой он познакомился недавно – год назад. Лора возила его в ближайший обувной за кроссовками. И вот, когда она, суетясь, бегала туда-сюда, вынося из магазина то одну, то другую пару, судорожно примеряя ему обувь и улыбаясь раздраженной продавщице, следящей за ними через стеклянную стену, Денис услышал позади:

– Может, купим пополам? У нас, вроде, один размер...

Денис оглянулся. В метре от него стоял парень, судя по всему, ровесник. Точнее, сидел в под-ростковой коляске отечественного производства. Вместо правой ноги на ее сиденье лежала под-вернутая штанина джинсов.

Денис сразу не понял, шутит парень или действительно предлагает какую-то сделку. Но потом вдруг сообразил, что Лора мерит ему кроссовки только на правую ногу, а левая прикрыта пледом. Может, парень решил, что под пледом протез?

– У меня две ноги! – неожиданно громко сказал Денис и откинул плед.

Секунды три они молчали, непонимающе глядя друг на друга. А потом... их как будто прорвало – они вдруг начали смеяться, да как! Громко, нахально, истерично, они смеялись так, как будто хотели кому-то что-то доказать! Появившаяся Лора с испуганным лицом и двумя парами дурацких голубеньких кроссовок вызвала у них новый взрыв сатанинского хохота...

Да не подумайте, что Серега – инвалид. Пока нет. Он станет им, как сказал мне Денис, через два месяца.

...В Минсобесе РСФСР я обнаружил одну любопытную цифру – 138 тысяч. Такое число несовершеннолетних инвалидов зафиксировано на 1 января 1990 года. Это на всю-то Российскую Федерацию – на 36 миллионов ребят! Удивительное благополучие. Такое не снилось ни одной Швейцарии... Еще удивительнее то, что пятнадцатилетних инвалидов в РСФСР (как, впрочем, и по всей стране) в несколько раз меньше, чем шестнадцатилетних.

Загадки эти решаются довольно просто: назвав человека "инвалидом", надо ему платить. Что и делает государство, нехотя "отстегивая" взрослым нетрудоспособным пенсию (оставляющую шанс не умереть с голода). "Не отстегнешь – тогда ведь придется трудоустраивать, – рассуждает "аппарат насилия", – а это "себе дороже". С несовершеннолетними же все проще: "не инвалид" – и гуляй! Жил на содержании родителей – и живи!

Вот и Серега, попавший под электричку в четырнадцать (правая нога его ампутирована по самое бедро), уже почти два года не

может добиться звания "инвалид". "Не положено, — сухо ответили его матери. — Не положено ему никакого пособия. Вот если бы у него была ампутирована еще вторая нога и если бы не было возможности для протезирования..."

Ничего. Скоро Серега станет инвалидом — через два месяца ему шестнадцать.

... Ну и, наконец, Славик, сосед Дениса. Ему, так же, как и Олегу, четырнадцать. Но в отличие от ребят он не "опорник" и передвигается на своих двоих. Причем так хорошо, что даже имеет гэтзошный значок за бег на средние дистанции. Кроме того, он любит играть в шахматы, с коими и приходит к Денису почти каждый день в любое время и без приглашения.

Да, и еще один друг — Елена Борисовна, школьный преподаватель истории. Из трех педагогов, приходящих к Денису на дом, с двумя ему явно не повезло: "математичка" все время спешит и без конца смотрит на часы, "русачка", наоборот, засыпает после каждой фразы. Но зато какая у него "историчка"!

Елена Борисовна сразу почувствовала, как интересны Денису "отступления от программы", и предложила ему заниматься дополнительно. И вот уже больше года она проводит с ним два факультативных занятия в неделю. В конце каждого месяца Лора потихоньку подсовывает ей деньги. Денис об этом не знает — он считает свою учительницу бессребреницей и относится к ней с большим уважением. "Елена — это класс!" — охарактеризовал он мне ее. Два месяца назад он заявил Лоре, что, видимо, станет историком. А вскоре на его "вернисаже"

появился вырезанный из журнала Дмитрий Донской...

"Вернисажем" Денис окрестил одну из стен своей комнаты, представляющую собой гигантский коллаж. Вместе со шкафом "Лас-Вегас", в котором я насчитал четырнадцать игр, книжными полками, где Толстой соседствует с Кипплингом, а Гейне с Вонегутом, вместе с большим аквариумом, где плавают две рыбки, "живущие только в Австралии", и старой подзорной трубой, в которую он наблюдает за лицами прохожих, "вернисаж" — одна из достопримечательностей Денисовой комнаты. Здесь — и восемь моделей гоночных автомобилей, и задумчивый Гребенщиков, и танец белых аистов, и пышнотелая Сабрина (почему-то очень раздражающая Катю), и Рууд Гуллит с европейским кубком, и упомянутый уже Дмитрий Донской, упирающийся своим острым шлемом в бедро Сабрины...

Достаточно заглянуть в эту комнату — и, даже не знакомясь с ее хозяином, можно с уверенностью сказать, что это парень пятнадцати — семнадцати лет, что он неглуп, общителен, с чувством юмора, что у него куча разнообразных увлечений, но в жизни он пока не определился и вопрос "куда идти?" решит для себя нескоро. Во всяком случае его шансы найти свое место в жизни можно определить банальным "фифти-фифти".

Но если к интерьеру добавить еще сияющую никелем, удобную и легкую инвалидную коляску, то шансы хозяина этой комнаты состояться в жизни сразу падают практически до нуля.

Почему? Ведь можно же быть историком, филологом, програм-

мистом, переводчиком, да мало ли кем! Ведь полно профессий, где ноги – не главное.

Это если рассматривать ситуацию с позиции некой абстрактной логики. Что же касается логики конкретной, внутриведомственной, то известно, какие барьеры встанут на пути инвалида, пожелавшего поступить в тот или иной вуз...

Пикурия с Лорой, воюя с "дядей Падликом", Денис чувствует себя порой совершенно несчастным. Бывают моменты (он говорил об этом Кате), когда ему хочется вырваться из этого дома, уехать с ней куда-нибудь, снять квартиру и зарабатывать на сценариях исторических фильмов... Если бы он только знал, какие бури и шквалы ожидают его через два года! Тогда, наверное, все сегодняшние страсти показались бы ему легким бризом, и он понял бы, что живет на островке счастья – в мире, который создала ему Лора.

Мир, начинающийся за оклеенной пленкой входной дверью, не приспособлен для Дениса. Можно, конечно, сказать: не только для него – он не приспособлен ни для кого из нас. И все-таки для Дениса – в особенности. И эта не приспособленность проявляется на всех уровнях – от лестничных ступенек до внутриведомственных интересов. Стоит лишь переступить порог...

Не верите? Тогда присаживайтесь в его "карету" – и вперед! Побудьте в шкуре Дениса хотя бы полчаса.

Итак, вы выехали на лестничную клетку. Подъезжаете к лифту, нажимаете кнопку. Но... она не загорается. Обычное дело – лифт

не работает. Но на сегодня вам назначена консультация!

И вот Лора опять звонит по соседям. Если ей удастся поймать кого-нибудь в это время и если она сумеет этого "пойманного" уговорить, то, значит, следующие минут двадцать вас (шестидесятикилограммового юношу) вместе с вашей "каретой", кряхтя и покрываясь потом, будут спускать по узкой лестнице. А потом еще минут десять Лора будет расточать слова благодарности – прежде чем спустит коляску вниз по самодельному пандусу.

Почему – самодельному? Потому что тот, что стоял здесь изначально, был непригоден ни для одной инвалидной коляски.

Лора долго бегала по инстанциям, пытаясь заставить кого-то исправить очевидный брак. Но – тщетно...

– Помню, я хотела выяснить, – возбужденно говорит она, – почему человеку, проектировавшему эти пандусы, не пришло в голову измерить расстояние между колесами инвалидной коляски. К нему меня так и не допустили. Но его заместитель – я никогда этого не забуду – сказала мне одну прекрасную фразу: "Но он же не мог предположить, что в этом доме действительно будет жить инвалид-колясочник". "Так зачем же тогда вообще надо было строить эти пандусы?" – спросила я. И знаете, что она мне ответила? – "Пандусы в этом доме предусмотрены номинально!"

"Номинальный" пандус пришлось переделывать самостоятельно – Лора поставила пять пузырей" двум парням из соседнего СМУ.

...Съехав на асфальтирован-

ную дорожку, вы сразу же сталкиваетесь со следующим препятствием – тротуарным бордюром. Без посторонней помощи вам его не преодолеть. Но – рядом Лора.

Так, теперь определимся, куда мы едем... Естественно – на ту сторону шоссе. Ведь там сконцентрирована вся жизнь вашего района: магазины, кафе, культурные точки...

Вы можете перейти шоссе даже под землей, воспользовавшись (единственным в районе!) подземным пандусом. Но – один маленький нюанс: ни в овощной, ни в парикмахерскую, ни в кафе, ни в бассейн, ни в кинотеатр попасть вы не сможете. Потому что нигде – НИГДЕ – нет ни одного пандуса.

Невольно у вас возникает вопрос: так зачем же нужен тот, в подземном переходе? Чтобы, оказавшись на этой стороне шоссе, вы поглазели через стеклянные стены, как жуют сосиски, стригутся и покупают билеты на вечерний сеанс другие – те, у кого с ногами все о'кей? Или, может быть, этот пандус тоже "номинальный"?

А.Г. АСМОЛОВ, вице-президент Общества психологов СССР:

– Вся беда в том, что мы живем в обществе, канонизировавшем культуру полезности, в обществе, где ценность человека определяется лишь тем, какую конкретную пользу он приносит. В государствах подобного типа на обочине оказываются категории, не вписывающиеся в эту культуру, – дети, старики, инвалиды.

В отдельных случаях, когда культура полезности превраща-

ется в культ, от "неперспективных" избавляются даже физически. Так было в Спарте, где процветал инфантицид (убийство детей. – Г.Т.), у некоторых малых народностей – где умерщвлялись старики и инвалиды. Однако кроме видимого уничтожения – когда ребенка сбрасывают со скалы или копьем пронзают старика, – существует еще и другое, невидимое. Суть его как раз и заключается в том, что вас **не видят**... Главное – убрать вас куда-нибудь подальше, неважно, что это будет – дом престарелых, интернат для инвалидов или детское спецучреждение. Если же спрятать вас не удается – это все равно ничего не меняет: вас все равно не будут замечать. Вас как бы не существует. Вы – невидимка...

– **А как переносят это состояние подростки-инвалиды?**

– Здесь все обстоит еще сложнее. На подростка-инвалида обрушиваются сразу три кризиса: подростковый, инвалидный и общий кризис нашей культуры – которая сейчас мечется между культурой полезности и культурой достоинства. Сегодня, когда все общество стоит на распутье, не зная, куда идти, таким, как Денис, особенно трудно...

В субботу днем я опять в гостях у Дениса – он пригласил меня на день рождения. Вчера ему исполнилось шестнадцать. Я нарочно пришел раньше всех – задать имениннику пару вопросов.

– Что чувствую, – переспрашивает он. – Да ничего. При чем здесь шестнадцать лет?.. А вообще-то настроение паршивое.

Оказывается, Олег, узнав о последнем припадке Дениса,

вспомнил, что в его доме живет студент второго курса исторического факультета. Договорился с ним о предстоящем звонке и дал Денису его телефон. И вот вчера именинник с замиранием сердца набрал телефон второкурсника. И услышал то, что больше всего боялся услышать. "Не суйся, парень, все равно не пройдешь, – посоветовал студент. – Только испортишь себе нервы. При мне заваливали одного инвалида. И завалили". ...Подарок самому себе к шестнадцатилетию не получился.

– Это только в программе "Время" трепяты, что все в нашей стране для инвалидов. А на деле... – Денис невесело ухмыляется. – Зачем тогда столько крику о милосердии?

...Мне почему-то вспомнился пандус в его подъезде. Нет, не теперешний, не самодельный. Другой – тот, что был здесь изначально (как рассказала мне Лора). В чем-то он олицетворяет все наше официальное милосердие...

Да, Денис оказался удачливее других. Да, ему действительно помогли – выделили коляску, да к тому же импортную. "Карета подана!", как говорит Лора. Но вот куда на этой "карете" ехать? Куда податься этому полному энергии и жизненных сил шестнадцатилетнему парню?

...Когда же мы наконец поймем, что инвалид – это такой же человек, как мы с вами! Когда осознаем, что на его месте могли бы (почему "могли бы"? – можем, в любой момент!) оказаться мы. Когда до нас наконец дойдет, что инвалиду нужна не жалость, а признание, не подачки, а возможность участвовать в жизни об-

щества, что главное для него, как и для нас, – состояться как личности.

Наверное, когда мы поймем это, на улицах наших городов, как, впрочем, и в наших отношениях, станет меньше бордюров. И больше пандусов. Не "номинальных" – реальных. Действующих.

После пива, которое принес Славик, всех потянуло на песни. Ребята поют уже третью из репертуара "Наутилуса".

"Гуд бай, Аме-е-рика, о-о..." – тянет нестройный хор. Серега играет на гитаре и запекает хрипловатым тенором. Ему подпевают Лена (его пассия), Катя, Денис, усердно гудит на одной ноте Славик. Песня все никак не падится. Кажется, еще чуть-чуть и она рухнет, разбившись вдребезги...

Но тут запел молчавший до этого Олег. Своим неожиданно сильным баритоном он подхватил песню уже у самой земли и повлек, повлек ее куда-то вверх – к вечерним облакам, плывущим за открытым окном. А следом за Олегом, доверившись его слуху, в розоватое небо полетели Катя, Лена, Серега, Денис. Даже Славик наконец-таки "попал" в мелодию.

Когда уже по второму разу они поют куплет про уплывающий навсегда "последний бумажный пароход", Лора поднимает лицо к потолку и закусывает верхнюю губу... Потом она резко встает, подхватывает две ближние тарелки и быстро уходит на кухню. Там она еще долго гремит посудой, имитируя хозяйственные хлопоты...

...Карета подана.

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

ВЫСКАЗАТЬСЯ – НЕКОМУ

Мне всего 12 лет. Не знаю, как другие девочки, но когда я иду по улице, мне кажется, что каждый парень или мальчишка хочет обидеть меня или посмеяться надо мной. Но в то же время хочется, чтобы я им понравилась. А в школе мальчишки если и обратят на тебя внимание, то только для того, чтобы стукнуть или обидеть. Есть и хорошие – и слова грубого от них не услышишь, и сумку тяжелую донести помогут. Но таких очень мало.

Есть у меня подруга. На два года старше меня. Когда мы вдвоем – все нормально, но стоит появиться третьему, как она начинает разговаривать со мной как с маленькой, старается унижить меня.

До окончания школы мне еще пять лет, но, думая о профессии, я теряюсь. В детстве хотела стать дояркой, когда повзрослела, решила стать акушеркой, но девочки говорят, что в институт можно пробиться только по блату, да я и не знаю, где такой институт, а спросить у кого-нибудь боюсь.

Бабушки и мама говорят, что у меня ужасный характер, что я грубая и невоспи-

танная. Я и правда не схожусь с людьми, но ничего поделать с собой не могу.

Простите, что пишу о своих проблемах, но слишком много мыслей накопилось, а высказаться некому.

Света В.,
Саратов

ТРУДНО ЖИТЬ СЕЙЧАС НА СВЕТЕ

Я хочу быть со своими сверстниками, чтобы меня понимали, чтобы было какое-нибудь общее дело. Я человек общительный. У меня много друзей и знакомых и среди уличных тусовок, и среди образованных людей. Причем с людьми старше меня лет на пять-шесть мне гораздо легче общаться, чем с ровесниками. Но это потому, что среди моих ровесников мало умных ребят, большинство еще из детства никак не выйдут, но зато трахается каждый второй. Трудно жить сейчас на свете. Идешь по улице часов в одиннадцать, народу никого, и молишься, чтобы только какого-нибудь ублюдка на твоей дороге не оказалось. Потому что если окажется, то тут уж кричи не кричи – ничего тебя не спасет. А милиция у

нас только к ребятам может на улице приставать.

В прошлом году я ездила в "Артек". Мне там так понравилось! Сама атмосфера не такая, как у нас. Месяц как в сказке. Приехала домой – месяц по школе ходила, как левая. Так тошно было в первые дни. А потом вроде ничего, привыкла.

А вообще я жуткая лентяйка. Мне мать говорит: "Иди на курсы иностранного языка." А мне лень. Хотя если уж я загорюсь, костями лягу, а сделаю. Везде сама езжу, если надо куда-нибудь устроиться, потому что мама у меня на это не способна. За нее все время бабушка все дела делала. Так и живу помаленьку. Буду устраиваться во время школы на работу, так как денег нету, а выглядеть человеком все-таки хочется, как это ни странно.

Наташа,
г. Химки Московской области

ЗАЧЕМ ЭТО?

Меня волнует вот такая проблема: мы с подругами часто откровенничаем, и почти все не собираются выходить замуж девочками. Они хотят лет с 17–18 начинать поло-

вую жизнь. Но зачем это? Девчонки, милые, остановитесь, зачем вам это надо? Я разговаривала не с одним парнем, и все хотели бы брать в жены девочку, а не женщину, к тому же прокуренную. Меня волнуют курящие девушки. Я учусь в 10-м классе, у нас в школе 90% девушек курят. Пятинадцатилетние девушки дымят как паровозы. Конечно, это модно, я сама полгода курила, но бросила и уверена, что никогда больше не затянусь. Извините, что не пишу адрес.

С.Т.,
15 лет

ВРУ ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ

Я совсем не знаю, кто я или что я, так – шарик воздушный. Мне 15 лет, живу в деревне. Я – последняя дура из-за того, что понимаю весь бардак нашей жизни. Жила бы спокойно, радовалась школьным вечерам, уважала учителей, но нет! В моей дурной башке начинали рождаться мысли – мысли такие, от которых орать хочется: "Люди, да что же вы делаете?"

Часто вспоминаю себя в начальных классах. Девочка в бе-

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

лом фартуке с алым галстуком на груди. Парад октябрятских войск! Да это что. Учителя... Господи, да это же для меня были святые! Да, девочка в розовых мечтах...

А сейчас? Все кругом врут, воруют, и никому ничего не надо. А как же я? Забыли. Что же мне делать среди пьяных пацанов, съемных девок? Уехать в город? А что – в городе не так? Съедают липкими глазами подонки, кругом непонимание. Ну как же быть? Упасть в серость? Да я там уже одной ногой. Я поганая девчонка, потому что люблю врать. А вру от нечего делать! И пацана потеряла из-за этого.

Пить я ни разу не пробовала. И не курила. Считаю, что дела эти не для девчонок. И с пацанами близка не была.

Скажите, мальчишки, ведь есть же девочки лучше, чем я? Ведь я дерьмо. А в свободное время шью мягкие игрушки и играю в куклы. Была у меня крыса белая Лорка, да кошка съела. Я так плакала.

Ребята, девчонки, поймите меня правильно. Скажите мне, какая я? Что я или кто? Существует я или живу, а может, существует эта вся серость?

Юлька,
Саратовская область

Я ОЧЕНЬ ОДИНОКА В ДУШЕ

Мне 15 лет, учусь в 10-м классе. Вряд ли те, кто знаком со мной, скажут, что я не счастлива: много друзей, веселая, общительная, симпатичная, хорошо учусь, активистка и т.д. Но никто и не догадывается, как пусто и неуютно в моей душе. Мне говорят, что я – счастливая... Да лучше бы отдать всю эту "маску", а мне бы взамен человека, который бы понимал меня, помогал мне...

Очень страшно входить в жизнь без надежной опоры. Я очень часто думала о смысле жизни, для чего живем на земле, и вот пока решила жить, чтобы понять это (были мысли о смерти). Когда особенно тяжело, я слушаю "Ласковый май", песни "Друг" или "Холодный парк" спасают меня, возвращают к жизни. Нет, я люблю "Май" не за милых, симпатичных ребят, я понимаю: эти песни – обо мне! Я люблю простоту, честность, мое детство прошло с мальчишками, с ними я быстрее нахожу общий язык. В семье ко мне относятся хорошо, и я очень люблю маму, бабушку, братишку, но я очень одинока в душе.

Наташа,
Курская область

Надежда ТЭФФИ

АВАНТЮРНЫЙ РОМАН

"Напечатайте что-нибудь о любви..." "Опубликуйте роман о любви..." "Нам, подросткам, интереснее всего читать про любовь..." Такие строки были во многих письмах, пришедших в редакцию.

И вот – роман о любви. Его автор – знаменитая писательница Надежда Александровна Тэффи (ее настоящая фамилия – Лохвицкая), чья слава до революции была поистине оглушительной... В конце 1920-х годов, уже жняя в Париже, она написала этот роман (никогда, кстати, не печатавшийся в СССР) с "закрученным" сюжетом, с преступлениями, парижскими ресторанами и дансингами, наркотиками, написанный как бы под звуки аргентинского танго – популярнейшего танца той эпохи... Роман о любви?.. А может быть, о расплате за любовь? О том, как героиня романа Наташа, полюбив Гастона Люкэ, юношу-преступника, заплатила за эту любовь самым дорогим, что у нее было, – своей жизнью. А к такому чувству надо отнестись с уважением.

А еще вас ждет путешествие в мир "блистательного" Парижа 1920-х годов, населенного космополитической, разношерстной публикой – заезжими американскими и прочими богачами, авантюристами всех мастей и, конечно, русскими эмигрантами – зачастую смешными и жалкими, не вписавшимися в авеню и площади "столицы мира" и создавшими свое, странное бытие на обломках рухнувшей в 1917 году жизни.

И все же это – роман о любви. Чувстве глубоком и прекрасном, если оно подлинное. Несмотря ни на что...

1

*"Зачем занимать Трибунал этим..." –
раздался голос с Горы.*

Луи Маделен. "Революция".

Кирджали был родом буглар.

А.Пушкин.

Шофер гнал вовсю, как ему и было приказано. Тяжелая машина, ужаса, как гигантский шмель, обгоняла бесконечную вереницу автомобилей, возвращавшихся в Париж.

Пассажиры – два манекена модного дома "Манель" и управляющий того же дома мосье Брунето – напряженно молчали.

Для удобства чтения эпиграфы и большинство иностранных фраз переведено на русский язык непосредственно в тексте. Переводы выполнены А. Ушаковым (с французского) В. Прониным (с немецкого).



Рисунок
Валерия КРАСНОВСКОГО

Молчала манекен Наташа (коммерческий псевдоним Маруси Дуной), потому что злилась на неудачную поездку, на дождь в Довилле-скуу и на манекена Вэра (коммерческий псевдоним француженки Лизы Боль), которая стала разводить драму с мосье Брюнето. Нашла то время!

Вэра поджимала губы и отворачивалась от Брюнето, который, будто в чем-то виноватый, лебезил перед ней, прикрывая ей ноги домом, и что-то шептал.

"Ссорятся, — думала Наташа. — Что-то она из него выматывает"

Брюнето приходилось, по-видимому, туго. Подъезжая к Парижу, снял шляпу, и Наташа с удивлением увидела, что плешивый с начесом его был совсем мокрым.

— Милая Наташа, — сказал он, — мы, конечно, пообедаем все вместе. Мне только надо на одну минутку заехать... Вэра поедет со мной... нарегулировать... вообще подсчитать. Милая Наташа, мы с Вэра сейчас выйдем, а шофер отвезет вас на Монмартр, он знает куда. Возьмем

утылку шампанского, если хотите, танцуйте и ждите нас. Я вас очень рошу!

Он обращался к Наташе, но смотрел на Вэра и при словах "очень рошу" нагнулся и прижался лицом к руке Вэра.

Та молча закрыла глаза.

Он схватил телефонную трубку и сказал шоферу:

– Авеню Монтень. Ко мне.

Был уже десятый час, когда Наташа подъезжала к ресторану.

– Возвращайтесь на авеню Монтень, – сказала она шоферу.

В подъезд одновременно с ней входил высокий молодой человек. Он оропливо пропустил ее вперед с тихим восклицанием благоговейного дивления.

Поднимаясь по лестнице, Наташа видела в огромном зеркале том-ую изящную даму в серебристо-белом мантио, отделанном черной нсицей. На длинной гибкой шее две нитки розового жемчуга. Крупные ерные локоны плотно облегали затылок.

– Господи! До чего же я красива! Как странно, что дураку Брюнето равняется пухлая Вэра!

Она села за столик, заказала вино и стала ждать.

Чувствовала себя спокойной, довольной, богатой. Главное, хорошо, то спокойной. Можно себе представить, какую сейчас истерику зака-ывает Вэра несчастному Брюнето. А в понедельник, когда патронша Манельша узнает обо всех штучках (уж, конечно, шофер насплетнича-т!), обрушится на бедную его плешивую голову такая буря, из которой му живому не выскочить.

Скучно все это, нудно.

Наташа пила маленькими глотками вино, курила, слушала воющий жаз.

– Хорошо быть свободной!

За соседним столиком уселся тот самый молодой человек, которого на встретила при входе. Место, очевидно, далось ему не даром. Он го-то долго хлопотал и спорил с метрдотелем. Наташа поняла, что это елается из-за нее, и украдкой следила за соседом.

Он был еще очень молод, лет двадцати пяти, не больше. Белокурый, ероглазый, с пухлыми щеками и надутой верхней губой, как это бывает детей, когда они что-нибудь очень внимательно делают. Он медленно янул вино из стакана, закидывая голову, и беспокойно глядел на На-ашу. Видимо, хотел заговорить и не знал, как за это приняться.

Но вот зажглись в зале красные лампочки, погас верхний свет, и ачался "номер". Две очень похожие друг на друга полуголые смуглые анцовщицы плясали фантастический танец. Плясали больше на руках, ем на ногах. Бриллиантовые каблукы сверкали в воздухе.

Публика зааплодировала.

Вихляя боками, танцовщицы пробирались между столиками к вы-оду.

– Шурка! – вскрикнула Наташа, поймав за тюлевую юбку ту плясунью, то была поменьше.

– Наташка! Ты как сюда попала?

– Тише! Пусть думают, что я богатая англичанка. Жду своих. Ты давн здесь танцуешь?

– Вторую неделю. У меня новая сестра. Еще больше на меня похож чем прошлогодняя. Хорош наш номер? Ну, я бегу. Заходи!

Она убежала. За ней следом, роняя стулья, кинулся молодой человек с надутой губой. Вернулись вместе. Шурка, запыхавшаяся, пролепетала на чудовищном французском языке:

– Мадам, вуаси мосье ве презенте...¹

Пстрыкнула и убежала.

Молодой человек растерянно раскланивался, приглашая танцевать.

Танцевал он изумительно.

“Уж не профессионал ли?” – подумала Наташа.

И лицо у него вблизи было совсем славное. Детское – веселое, доброе и слегка смущенное. Говорил по-французски с акцентом.

– Вы не француз? – спросила Наташа.

– Угадайте! – ответил он.

– Вы... – начала она и остановилась.

Кто он, действительно?

– А ваше имя?

Он помолчал, точно придумывал.

– Гастон Люкэ.

– Значит, все-таки француз?

Он опять ответил: “угадайте” и прибавил:

– А я сразу узнал, что вы англичанка.

– Почему?

– По вашему акценту, по вашей внешности и по вашим жемчугам.

Наташа улыбнулась.

– Это наследственные.

– Ну, нет! – засмеялся он. – Это только фальшивые так называют у вас настоящие.

– Ну, конечно, – сухо ответила Наташа.

Как же можно было сомневаться, когда мадам Манель продавала эти великолепные изделия по шестьсот франков за нитку и то только хорошим клиентам к хорошим платьям.

Танцевали много. Мальчик был не красноречив. Больше улыбался, чем говорил. Но улыбался так счастливо, и у самых уголков его рта делались крошечные ямки.

– А вы не уедете в вашу Англию? – спросил он вдруг.

– Нет еще. Не скоро.

Тогда он покраснел, засмеялся и сказал:

– Я вас люблю.

Было уже около двенадцати, и Наташа стала беспокоиться отступлением Вэра и Брюнето, когда неожиданно явился шофер и подал ей письмо.

Брюнето писал, что приехать не может, рассыпался в извинениях, благодарил заранее “за все, за все”. Наташа поняла, за что. За то, чтоби

¹ Мадам, представляю вам господина... (искаж. фр.).

она не проболталась патронше. В конце письма сказано было, что она может располагать автомобилем, и был приколот булавкой пяти-отфранковый билет.

– Я скоро уеду, – сказала Наташа шоферу. – Подождите немножко. Мальчик опять звал кружиться.

– Последний танец, – сказала она. – Пора домой.

Он даже остановился.

– Вам уже надоело? Вам скучно? Да, я сам знаю. Здесь тесно и душно. Поедем в другое место. Хотите? Я вам покажу... под Парижем. Там чудесно. Еще не поздно... Умоляю вас!

Наташа представила себе свою скучную отдельную комнатку. Отчего же остаться еще хотя на часок "богатой англичанкой", раз это так заманчиво? Еще часок, другой, и конец. Навсегда.

– Ну, хорошо, едем, – решила она. – Мой шофер внизу. Вы скажите ему адрес.

Он покраснел от удовольствия, засуетился...

Наташа подошла к своему столику, заплатила за вино и, накинув на плечи грациозно-манекенным жестом свое сверкающее манто, пустилась с лестницы.

2

*Он был Дьявол,
Она была...*

Г.Гейне.

Ресторан, к которому привез Наташу Гастон Люкэ, оказался совсем близко за Сеной. Он занимал небольшой двухэтажный домик, весь окруженный стеклянной верандой, изукрашенной гирляндами и цветными фонариками, весь пылающий, как бенгальский костер, среди темных тихих домиков пригорода.

Глухие удары оркестрового барабана доносились на площадь, всю уставленную автомобилями.

– Вот здесь будет уютно! – сказал Гастон, когда Наташа отпустила шофера.

Внизу помещался бар. Наверху – ужинали, пили и плясали. Еле нашлось свободный столик.

На маленьком пространстве, уделенном для танцев, давя друг друга ногами и локтями, колыхались голые спины, голые плечи, распаренные лица.

Оркестр вела дама-пианистка, вела мастерски. Смеялась, выкрикивала английские словечки, гримасничала, хлопала по боку пианино. Плادко зализанная остролистая голова с локонами, вылезавшими из-под нее, делала ее похожей на веселую борзую собаку.

В каше танцующих выделялся негр, выкидывавший какие-то особые позы, не очень красивые, но всегда неожиданные. Одет негр был разноразно, и Наташу удивило, что он, пристально посмотрев в их сторону, весело мигнул Гастону. Странное знакомство.

- Вы знаете этого негра? - спросила она.
- Нет, - ответил тот как-то испуганно.
- Мне показалось, что он вам поклонился.

Гастон покраснел.

- Это вам показалось. Он просто так ломается. Он, наверное, в вас влюбился.

- А скажите, вы давно знаете Шуру?
- Шуру? Какую?
- Танцовщицу.

- Да... то есть я видел ее очень часто... раза два.

Попробовали танцевать, но в этой давке трудно было двигаться.

Негр, вытягивая шею, следил за ними. Он все время танцевал с молоденькой блондинкой, выламывая ее в разные стороны. И нельзя было разобрать, танцует он или просто дурит.

- Здесь ужасно душно, - сказала Наташа. - Пора домой.

Гастон встревожился:

- Посидим еще. Я вам сейчас принесу чудесный коктейль. Здешняя специальность. Вы только попробуйте. Умоляю вас! Я сейчас принесу.

Он стал пробираться между танцующими.

Наташа вынула зеркальце, пудру, подкрасила губы. Заметила на платье пятнышко от вина и очень встревожилась. Платье принадлежало "мэзону" и было надето на нее, чтобы демонстрировать его в Довилле во время обеда, не состоявшегося из-за ссоры Вэра с мосье Брюнето. Из-за этого пятнышка могут быть неприятности, особенно если пятно будет в дурном настроении.

"Ну, сейчас не стоит об этом думать. Надо веселиться".

Именно "надо веселиться", подумала она и тут же почувствовала, что вовсе ей не весело, а только беспокойно, тревожно и пора все это кончить. Богатой англичанкой она себя не чувствовала, поддерживать это недоразумение было бессмысленно и скучно. Подозрительный Гастон оказался глупым и мало забавным.

Она стала искать его глазами и увидела за дверью, у лестницы, вешая пальто, душой в бар. За его спиной стоял негр и, скосив глаза вбок, что-то ворчал, нагнувшись близко, очевидно, шептал.

"Значит, он знаком с этим негром?"

Потом оба скрылись, должно быть, спустились в бар.

Толпа танцующих немножко поредела. С улицы доносилось жужжание пускаемых в ход моторов.

Наташа открыла сумочку, чтобы отобрать деньги для такси. Подкладка оказалась мокрой: флакон духов раскупорился, и перчатки, платок и даже деньги оказались в зеленых пятнах от полинявшего зеленого шелка пудреницы.

- Ну вот, попробуйте! - раздался голос Гастона.

Он нес, улыбаясь ямочками рта, два бокала оранжевого питья с торчащими из него соломинками. Один бокал поставил перед Наташей, из другого, выбросив соломинку, хлебнул большим глотком, зажмурил глаза и засмеялся:

- Чудесно!

Наташа попробовала коктейль. Да, вкусно и даже не очень крепко. Оркестр играл "Это только ваша рука, мадам". И вдруг Гастон, все смеясь и заглядывая ей в лицо, стал подпевать чуть-чуть хриплым, чувственным и странным голосом:

— Madame, I love you!

Он наклонился близко, и Наташа чувствовала запах его духов, душистый, глухой, совсем не знакомый и очень беспокойный.

— Если любить его, — подумала она, — то от этих духов с ума сойти можно.

— А ведь вы разговаривали с негром? — сказала она, слегка от него отстраняясь.

— And I will never in my life forget you!"² — напевал он, не отвечая.

Не слышал? Или не хотел ответить?

Да и не все ли равно.

— Коктейль вкусный. Как он называется?

— Я знаю очень много вкусных вещей, — отвечал Гастон. — Мы как-нибудь поедем с вами на один островок... довольно далеко. Там одна малячка что-то вам покажет, чего у вас в Англии совсем не знают.

— Странный вы человек, Гастон Люкэ. Скажите мне, чем вы вообще занимаетесь?

— Вами. Я вами занимаюсь.

Он взял ее руки и, смеясь, поднес к губам.

И тут она обратила внимание на его пальцы. Они были грубые, с маленькими плоскими ногтями, хорошо отделанными, но некрасивой формы. Но главное уродство, пугающее, как смутное воспоминание о каком-то страшном рассказе, — был далеко отставленный, несоразмерно длинный большой палец, почти доходящий до первого сустава указательного.

"Рука душителя", — подумала Наташа и все смотрела и не могла отвести глаз, но смотрела исподтишка, словно если он заметит, что узнан, тут и произойдет нечто ужасное, чего она не знает и представить себе не смеет.

Он поднял бокал и сунул ей в рот соломинку.

— Ну, еще! Ну, еще! Вкусно? Весело? Чудесно?

И беспокойный запах его духов вошел в нее, как хлороформ, против которого каждый усыпляемый инстинктивно борется и которому ладко и безвольно покоряется, когда почувствует, что нет уже для него жизни другого дыхания, кроме этого, нежеланного, единственного, паженного.

— У вас странные руки! — говорила Наташа и почему-то смеялась.

— Я очень устала. Я сегодня ездила в Довилль.

Ей хотелось рассказать ему обо всем, чтобы вместе посмеяться над недоразумением с "богатой англичанкой". Но говорить было лень. От крепкого коктейля билось сердце, кружилась голова и начинало тошнить.

¹ Мадам, я люблю вас! (фр., англ.).

² И я никогда в жизни не забуду вас (англ.).



Она вспомнила, что не обедала, что в ресторане только выпила шампанского.

– Надо скорее домой.

Она приподнялась, но сейчас же опустилась на стул и чуть не упала. Цветные лампочки закачались, зазвенело в голове... Глаза закрылись, тошнота сдавила горло.

"Гук! Гук! Гук!" – глухо гукало что-то – не то барабан оркестра, не то ее сердце. Должно быть, сердце, потому что больно было в груди...

– Ну, что вы! Что вы! – говорил взволнованный голос.

Это Гастон. Милый мальчик!

– Даме немножко дурно. Коктейль был слишком крепкий.

Кому он говорил?

Наташа с трудом открыла глаза.

Негр!

Негр стоит около ее столика. Вблизи он маленький, с серыми, брюзгливо распушенными губами. Невзрачный. Лакейчик!

У него в руках Наташин пустой бокал.

– Тогда не надо больше пить. Я унесу коктейль, – говорит он и уносит пустой бокал.

– Попробуйте встать, – говорит Гастон. – Здесь есть комнатка. Вы минутку полежите, и все пройдет.

Он ведет ее. Ноги у нее движутся странно легко, но пола она не чувствует. Глаза не смеет открыть – чуть приоткроет – все зазвенит, закружится, и удержаться на ногах уже нельзя.

– Даме дурно! – слышится голос Гастона.

– Сюда, сюда, – отвечает кто-то.

Ее несут.

Потом она чувствует упругое прохладное прикосновение подушки к затылку и правой щеке, такое знакомое, простое, спокойное.

Мелькнули в глазах ярко-желтые бусы, длинной бахромой падающие откуда-то сверху, и жуткое, смертельно бледное, почти белое женское лицо с квадратно сложенным твердым полотенцем на голове.

Потом острый, тонкий звон.

Потом... ничего.

Сон без снов...

И вот – шорох, шепот.

Что-то чуть-чуть пощекотало шею...

Наташа с трудом открывает глаза и не совсем понимает тот сон, который вдруг видит.

Снится ей розовый туман, снится негр. Он нагнулся над чем-то, что лежит на ночном столике... И еще кто-то спиной к ней, и она не видит его лица. Негр распялил губы брезгливой гримасой, что-то злобное сказал, звякнул чем-то...

– Шют'! – шепнул другой и быстро обернулся. И вдруг отчаянно, почти громко воскликнул:

– Она смотрит!

Лицо его Наташа не видела. Розовый туман не был неподвижен. Он пыл, мерцал... Мелькнуло ослепительно бледное женское лицо с белым квадратным полотенцем на темени... Большая теплая рука легла на глаза Наташи... Но она все равно больше не могла бы смотреть. Шум, звон, плещущие искры заполнили мир, и тяжелые веки опустились прежде, чем закрыла их эта рука. Последнее, что почувствовала она, – был запах странных духов, как будто уже знакомых, таких душных, сладких, блаженных, что, теряя сознание, она улыбнулась им, как пастыю.

3

– *А кто ваш духовный отец?*

– *Шевалье де Казанова.*

– *Испанский дворянин?*

– *Нет, венецианский авантюрист.*

Валье Инклан.

Какая бывает чудесная жизнь!

Две дамы в малиновых платьях, длинных, твердых, широких, танцуют, жеманно подобрав юбки пальчиками. Под малиновым кустом сидит малиновый пастушок и играет на дудочке...

Чудные, кудрявые, малиновые облака... А за ними малиновая лодочка, и в ней мечтательная дама в малиновом платье. Она опустила

¹ Провались! (фр. жаргон).

руку в воду. А перед ней малиновый кавалер в завязанных бантах подвязках читает что-то по книжечке.

Какая счастливая жизнь!

Подальше на островке два барана... Еще дальше – снова пляшут пышные дамы под свирель пастушка...

Закрывать глаза и потом посмотреть повнимательнее.

Теперь все ясно. Это не жизнь. Это просто обои.

Наташа повернула голову и увидела прямо перед собой лицо сегодняшней ночи: ослепительно белое женское лицо.

Оно было меньше, чем казалось ночью, и принадлежало гипсовому бюсту итальянки, украшавшему камин маленькой уютной комнаты со спущенными розовыми шторами, с розовым абажуром в желтых бусах на висячей лампе и на лампочке ночного столика. Кто-то засмеялся за стеной, и веселый женский голос быстро что-то затараторил.

Послышался звонок, мелкие шаги за дверью. Живой разговор. Было так просто, как во всех маленьких отельчиках. Совсем не жутко. Наташа приподнялась и увидела, что лежит в платье, в сверкающем вечернем туалете она ясно поняла. Она лежит в вечернем платье. Она смялась, поняла. Она лежит в вечернем платье. Она смяла чудесное вечернее платье, которое должна сдать в полном порядке.

От этого профессионального шока в усталой, одурманенной голове мысли задвигались – вспомнился весь вчерашний день, поездка в Долиль, шампанское в ресторане, Гастон, вечер, негр.

– Я напилась?

И вдруг вспомнилась ночь, негр, шепот:

– "Она смотрит!"

Рука...

Наташа опустила ноги с кровати. Голова слегка кружилась.

– Что они смотрели на столике – негр и тот, другой?

На столике лежали ее розовый жемчуг и сумочка. Больше ничего. Может быть, негр думал, что жемчуг настоящий, и хотел обокрасть ее.

И вдруг она спохватилась.

– Где манто?

На манто был дорогой мех!

Украли!

Она вскочила.

– О-о-о! Вот это действительно было бы ужасно!

Чуть не плача обошла она комнату.

– Слава Богу!

Манто завалилось между кроватью и стеной.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату заглянула приветливо улыбающаяся пожилая горничная в белой наколке.

– Мадам уже встала? Мадам хочет кофе?

Она подбежала к окну и отдернула занавески.

– Я сейчас принесу.

¹ "Произведение" модного дома Манепь (искаж. фр.).

Из окна видны были площадь, трамвай, набережная. Все такое простое, обычное. И горничная так приветливо улыбалась. Ничего, значит, необычного не произошло. А уж одну минуту мелькнула у нее мысль — подсыпали ли ей чего-нибудь в коктейль... Может быть, даже и негр приходил ночью... И все это был сон.

Горничная принесла кофе с круассанами.

— У вас много жильцов? — спросила Наташа.

— Да, с субботы на воскресенье многие здесь ночуют. Приезжают цевать и остаются.

Наташа спокойно выпила свой кофе.

Хорошо, что сегодня воскресенье. Она успеет к завтраму привести ть в порядке.

Подошла к зеркалу, достала из сумочки пудру и карандаши. В другом отделении, куда она прятала духи, платок и деньги, — были только духи и платок. Три стофранковых билета, оставшиеся от денег, присланных Бюне в ресторан, — пропали. В ресторане она их потерять не могла, потому что помнила, как здесь, в дансинге, заметила, что мокрая складка подкрасила их зелеными пятнами. Значит, они пропали...

Она открыла еще раз отделение, где были карандаши и пудра, и там полтора франка, смятые комочком. Это были ее собственные деньги, которые она везла из Довилля.

Итак, все-таки ее обокрали. Кто? Негр? Гастон? Или тот, другой, чье лицо она не видела? Да ведь это, пожалуй, и был Гастон...

Калко было денег.

Вот и повеселилась "богатая англичанка"! Значит, и им тоже не плохо живется. Хорошо еще, что не задушили. Надо будет нарочно пойти когда-нибудь на Монмартр, в тот ресторан, и посмотреть этому габону прямо в глаза.

Какой от этого будет толк, она себе ясно не представляла. Спросить деньги все равно не решится...

Из трамвая выпрыгнул элегантный молодой человек и стал пересекать площадь. Приблизившись к отелю, он поднял голову и обвел глазами окна.

Гастон!

Гастон. И шел, очевидно, сюда, в отель. Как же он осмелился?..

Она накинула свое чудесное манто и вышла в коридор. Гастон подождал по лестнице.

В полутемном коридоре плохо видно было его лицо.

Как я рад, что вы встали, — радостно сказал он. — Я ужасно беспокоюсь. Все думал, что это, может быть, от коктейля вам стало плохо. Ведь все прошло? Правда?

Горничная могла стащить деньги", — быстро решила Наташа и схватила Гастону руку.

У него были мягкие свежие губы, и он так ласково держал ее за руку.

Мы непременно здесь позавтракаем! — сказал он. — Я специально сюда и приехал, чтобы угостить вас уткой с апельсином. Это здешняя особенность. Посидим на балкончике, посмотрим на публику и чу-

десно позавтракаем. А потом я вас сам отвезу домой.

— Какой противный вчера был негр, — вдруг вспомнила Наташа.

— Негр? Негр дрянь: он остановил меня, когда я вчера шел вам коктейлем, и болтал какую-то ерунду, что вы не англичанка, и всякий вздор. Я его оборвал сразу. Он совсем дрянь. С ним не надо кланяться.

— Да я и не собираюсь.

Они вышли на веранду, где уже начался завтрак.

Чудесный, солнечный июньский день был такой веселый, радостный, будто сам смеялся.

Прошла какая-то экскурсия, вероятно, общества приказчиков, с трубами и барабанами, украшенными вялыми цветами. Приказчики приостановились и дикими звуками исполнили марш из "Фауста", который почти никто из слушателей не узнал.

По реке широким лебедем проплыл белый пароход...

"Сказать про деньги или не сказать? Жулик он или не жулик?" думала Наташа, глядя на розовое, свежее лицо Гастона, на его детскую улыбку с ямочками и смеющиеся ясные глаза.

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Гастон. — И отвечу вам прямо: "да".

Наташа смутилась.

— О чем же я, по-вашему, думала?

— Обо мне.

— Но что именно?

— Ага, значит, признались, что обо мне. Мне только этого и надо было. Так вот, повторяю снова, "да". И прибавлю: "безумно".

"Какой он, однако, слава Богу, болван", — облегченно вздохнула Наташа.

Но с ним, с болваном, было весело. Жизнь делалась забавнее и приятнее, если смотреть на нее вместе с веселыми глазами Гастона. Дневные тягучие и душные его духи чувствовались меньше, легче, не беспокоили и не тревожили.

— Вам нужно чуть-чуть желтее розовое для щек. О, нет, только не "мандарин". Есть такой. Я вам привезу. И ногти чуть-чуть розовее непременно длиннее. Ваш жанр должен быть всегда немножко "черочур". Понимаете? Надо непременно выработать жанр. Вы только не когда не подходите к испанке — шаль, гребенка... Это к вам очень подойдет, но сразу сделает банальной. Золотые ногти? Это вам бы пошло, если бы их никто не носил, а вы сами бы выдумали. А теперь уже нельзя. Вы должны быть всегда особенной. Я для вас все придумаю.

Он был страшно мил.

Подали счет.

Он взял ее руку и несколько раз поцеловал мягко и ласково.

Потом вынул две стофранковые бумажки и сунул их под сложенный на тарелке счет.

На уголке бумажки, торчавшем из-под счета, Наташа ясно увидела зеленое пятно.

¹ Цвет пудры.

Все, что угодно... но уже не вор, не вор окончательно, ибо, если бы вор, то наверное бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее...

Ф. Достоевский. "Братья Карамазовы".

Гастон остался растерянный и искренно удивленный, когда Наташа, холодно отказав ему в просьбе проводить ее, села одна в такси.

"Украл? – думала она. – Ясно, что украл. Но почему же так беспечно вынул эти деньги при мне? Или потому, что не знал, что на них моя зеленая отметина? И еще – почему, если украл, то не скрылся, а, наоборот, сам пришел и на меня же эти деньги истратил?"

Что он все время бестолково и глупо врёт – это было ясно. Но врёт как-то по-мальчишески, так что если поприжать его, то, наверное, сразу засмеется и признается. Кто он? Что за человек? Пожалуй, надо было бы рассказать ему о том, что деньги пропали. Решиться, да так, как в прорубь головой. Да, впрочем, никакой и проруби не вышло бы, отоврался бы как-нибудь...

На другой день, в унылый дождливый понедельник, в мастерской мадам Манель настроение было сгущенно-электрическое, как перед грозой.

Манекен Вэра отсутствовала. Была больна. Мосье Брюнето зарылся с головой в счетные книги. Сама мадам не показывалась, только развила усиленную телефонную деятельность. Через дверь ее бюро доносилось непрекращаемое "алло-алло". Это был безошибочный признак дурного настроения. Клиенток было мало. Понедельник – день тихий.

Наташе пришлось показывать на себе купальные костюмы. Показывать их надо не так, как обычные салонные или спортивные платья. На все нужна своя сноровка.

В салонном платье манекен идет маленькими шажками. Если на ней юбка с оборкой, делает быстрые повороты, чтобы оборки "жили, играли". Если широкий рукав – приподнимает руку.

Пройдясь полукругом, манекен обыкновенно отходит в глубину комнаты и оттуда, не оборачиваясь, решительно и смело идет прямо на клиентку. У некоторых манекенов этот последний маневр принимает иногда чрезмерно вызывающий характер. Одна простая русская душа, любящая мадемуазель Вэра на этом маневре, даже струсила.

– Ой, батюшки, – всколыхнулась она. – Чего же это она так? Ну прямо точно в морду дать хочет!

Спортивные платья показываются юно, свежо, по-мальчишески. Уперев руку в бедро, поджав живот. Купальный костюм требует купальных поз, сжатых колен, откинутой фигуры.

Наташа сидела в душной комнате, где, кроме нее, вздыхали, потели и передевались шесть молодых женщин в одинаковых телесно-шелковых чулках и казенных золотистых туфлях, которые ко всему подходят.

Двери в коридор были открыты, но сновавшие там рассыльные мало смущали голых красавиц. Профессиональная привычка, шокировавшая только новеньких, и то недолго. День шел нудный, тягучий, и ничто не мешало бестолковым переборам в Наташином мозгу.

— Если вор, то почему пришел, почему украденные у меня деньги на меня же истратил?..

— Почему наврал, будто негр говорил, что я не англичанка? Чтобы выпытать, кто я? Но ведь он же ни разу и не спросил об этом.

— Во всяком случае, думать тут нечего. Денег не вернешь, а от этого темного типа подальше.

И, конечно, лучше бы не думать и от темного типа подальше, но одна из голых девиц, влезая в пеструю турецкую пижаму с заходящим солнцем на поясице, вдруг запела:

— "Это только ваша рука, мадам".

Это то, что напевал Гастон. Он напевал по-английски:

— "I kiss your little hand, madame" ¹.

Голос у него был чуть-чуть хриплый, странный, очень чувственный. И ямочки у рта смеялись, и глаза смеялись и говорили: вот такая забавная штука! Вот, попробуй-ка, не почувствуй моего хриплого голоса! Ага! вот и попалась!

Она охватила спинку стула и опустила лицо в мягкую душистую складку согнутой руки.

От этого телесного нежного ощущения и от тихого напева "той" песенки ей стало так невыносимо беспокойно, что она чуть не застонала.

— Нужно все это разузнать, иначе я не успокоюсь.

Но пойти на Монмартр было совсем немислимо. Спросить у Шуры, танцовщицы, что она о нем знает? Но где достать адрес Шуры? Монмартр вычеркивается. Пойти разве к баронессе?

Баронесса фон Вирх, или попросту Любаша, когда-то училась пластическим танцам и с тех пор поддерживала знакомства в балетном мире. Особенно во время междоцарствия, то есть когда она оставалась без богатого поклонника, ее всегда тянуло в богему. И как раз дня три тому назад Наташа слышала от мосье Брюнето, что баронесса не оплатила уже три счета. Значит, дела в упадке и богема в моде. Можно узнать о Шуре.

5

У каждой реки только одно русло.

Поль Фор.

Баронесса фон Вирх была самая настоящая баронесса, вышедшая замуж еще до войны за молодого представителя богатого дворянского рода барона Григория Оттоновича фон Вирх. Прошрое баронессы до Вирха, как история мидян, было "темно и непонятно". Говорили, будто она была несколько раз замужем, начала свою карьеру хористкой,

¹ Я целую вашу маленькую руку, мадам (англ., фр.).

а так как в точности никто ничего не знал, то и врал о ней каждый в соответствии своего к ней отношения.

Возраста ее не могли определить даже приблизительно. И скрывался он тщательно. По этому поводу рассказывали забавный анекдот (который, впрочем, относили иногда и к другим интересным дамам).

В период бегства из пределов Совдепии и хлопот о пропусках большевики опрашивали Любашу. Спросили, между прочим, о ее возрасте.

– Ну, это дудки, – решительно ответила она. – Этого вы от меня никогда не добьетесь. Можете, если хотите, расстреливать.

На вид ей было не больше тридцати, тридцати пяти. Но кто-то, человек как будто достоверный, клялся, что у нее в Харькове сын – большевистский комиссар.

Говорили также, что у нее замужняя дочь и взрослые внуки. Вообще – говорили много.

В эмиграции барон за бедностью и полной ненужностью стуживался. Где-то что-то работал весьма неопределенное. То заведовал чьим-то образцовым курятником, то коптил рыбу, то точил гайки в граммофонной мастерской, то служил как *chef de reception*¹ в русском ресторане. У жены появлялся редко, и почти никто из баронессиных завсегдатаев с ним не встречался.

Но отношения у супругов сохранились хорошие, товарищеские, и если условия сложного баронессинога быта позволяли, а печальные условия барона того требовали, то он иногда водворялся на несколько дней в ее элегантног особнячке. Ему стелили на диване, и он, как собака, целый день так и сидел на этой подстилке.

В Париже баронесса известна была под именем Любаши, к ней относились хорошо и успехам не завидовали, вероятно, потому, что ее ослепительная красота давала ей право на всякие радости жизни и на всякие пути к этим радостям.

Но забавнее всего, что среди подруг она считалась умной женщиной, тогда как если надо было бы установить незыблемую единицу, так сказать, исходное мерило глупости, то лучше и определеннее Любаши найти было бы невозможно. Говорили бы:

– Глупа, как две Любаши.

Или:

– Чуть-чуть умнее Любаши.

Это не значит, что она была образец глупости какой-либо исключительной. Нет, глупость ее была именно явлением той божественной пропорции, классически цельной и полной, какая в науке может быть взята за единицу.

Но считалась она умной, вероятно, потому, что строила свою жизнь на четырех правилах арифметики. Два из них – сложение и умножение – считала хорошими и к ним стремилась. Два – вычитание и деление – устраняла всеми силами. А силы были большие, и все в ее красоте.

В Париже Любаше устроиться удалось не сразу. Барон жерновом на шее тянул ее книзу. Приходилось выкручиваться. Была продавщицей в

¹ Распорядитель приемов (фр.).

модной мастерской, но иностранных языков не знала и карьеры не сделала, и ушла, прихватив мужа хозяйки.

Стала учиться пластическим танцам, выступила несколько раз в ночном ресторане и ушла, прихватив богатого американца.

— Умная баба, — говорили о ней приятельницы. — Вот как надо жить.

Но урок этот мало кому шел на пользу. Большинство Любашиных приятельниц и без этого урока старались устраивать жизнь по четырем правилам арифметики, но, не имея главного слагаемого — ее чудной красоты, — проваливались.

Знал ли о ее похождениях барон? Этот вопрос вначале интересовал многих. Трудно было ничего не знать и не понимать, видя ее жизнь, туалеты, квартиру, автомобиль.

— Ведь эдакий дурак!

— Дурак-то он дурак, а, впрочем, кто его знает.

Потом решили, что она, значит, что-нибудь навирает, а он, значит, делает вид, что верит.

А впрочем, не все ли равно. Кому какое дело?

Она была мила, приятна, любезна, когда могла — давала на благотворительность. На ее больших вечерах бывали очень видные представители русской эмиграции, которых она знакомила с лысыми французами с розетками в петличках.

— Notre célèbre¹, — говорила она о каждом, — о русском и о французе, и обоим им было приятно, что его называют célèbre, и лестно, что знакомят с célèbre, размера célébrité² которого он в точности не знал...

А баронесса угощала хорошим русско-французским ужином и очаровательно картавила, как большинство наших эмигранток, постигших французский язык уже по приезду во Францию.

Все это было чудесно — а больше никому ничего и не требовалось.

6

Теперь стойте крепко, — сказал капитан, — будет приступ.

А. Пушкин. "Капитанская дочка".

Чтобы побывать у Любаши, Наташе пришлось дожидаться до среды, своего выходного дня, потому что баронессу легче всего застать было днем.

На звонок открыла маленькая востроносенькая дамочка, на тонких ножках, на скривленных каблукках — придворная Любашина маникюрша Анфиса Петровна, по прозвищу Фифиса.

По тому, что открыла дверь Фифиса, а не горничная, Наташа сразу поняла, что в предположениях не ошиблась и что у Любаши временный крах.

Фифиса издала приветливый возглас и крикнула в сторону гостиной:

¹ Наш знаменитый (фр.).

² Знаменитость (фр.).

— Свои, свои, не пугайтесь!

Наташа вошла.

На широком диване, вся зарывшись в золотые подушки, высоко перекинув нога на ногу, полулежала розово-золотая хозяйка дома.

В белом атласном халатике, отбросив широкие рукава так, что видны были до плеч ее сверкающие круглые руки, закинута за пушистую сияющую белокурую голову, тонкая, но не худая, с легкими ямочками на щеках, на розовых локтях, она казалась солнечным лучом, брошенным на эти золотые подушки, и иными словами, как "сверкает", "сияет", "слепит", о ней и говорить было нельзя.

Рядом на креслах расселся ее двор, выползающий на свет Божий только в черные дни, когда поклонников не бывает и гостей не принимают: длинновязая, гололобая, с неистовыми жестами и почему-то в вечернем туалете без рукавов — перекупщица старого платья Луиза Ивановна, прозванная Гарибальди за то, что любила рассказывать, как ее тетка видала знаменитого итальянца. Рядом с ней — широкая, костистая, с крашеными волосами, ломко и сухо выюшимися, как австралийский кустарник, бровастая гадалка Марья Ардальоновна, называемая для краткости просто Мордальоновной.

Вообще в этом кружке все были известны больше по прозвищам, чем по настоящим именам.

Тут же уместилась и известная нам Фифиса.

Мордальоновна, по-видимому, только что кончила гадать, потому что, задумчиво помусолив большой палец, медленно перебирала шелковисто-сальные зловещей величины карты. На кокетливом столике лежала развороченная масляная бумага и в ней остатки ветчины и крошки хлеба. Судя по виду, ветчину не резали, а прямо драли руками. Да и прибора на столе никакого не было.

Тут же стояло штук шесть запечатанных фарфоровых баночек с каким-нибудь, должно быть, снадобьем для красоты.

Вообще беспорядок в комнате был изрядный.

На креслах разложены платья, манто и шелковые тряпки, на полу раскрыты картонки, на столе окурки, на пыльной крышке рояля две пустые бутылки и стакан.

— Марусенька! — приветливо кивнула Наташе хозяйка, не поднимаясь с места. — Не купите ли крема?

— Я теперь Наташа, — поправила ее гостя, нагибаясь и целуя пушистую щечку Любаши.

— А, да, я и забыла! И чего это они вам, словно собакам, клички меняют?

— Теперь мода на Наташу и на Веру, — деловито объяснила гостя. — В каждом хорошем мезоне должна быть Наташа, русская княжна.

Любаша посмотрела на нее своими синими глазами внимательно и сказала:

— А у вас какая-то перемена. Волосы отпустили? Нет. Просто у вас сегодня есть какое-то выражение лица.

— Ох, уж и скажут тоже! — всплеснула руками Мордальоновна. — Точно у них всегда лицо без выражения!

– Однако и хаос у вас! – заметила Наташа.

– Ужас, ужас, – вздохнула хозяйка и озабоченно повернулась к Гарибальди:

– Ну-с, ангел мой, за манто меньше шестисот я не позволяю. Если в один день сумеешь ликвидировать, то есть принесешь деньги завтра, то так и быть, валяй за пятьсот. Ведь оно совсем новое, от Вионэ, и марка есть. За черное платье – триста, за зеленое – двести пятьдесят. Но только – живо!

Гарибальди жеманно шевелила плечами.

– Ах, вот вы какая! Ваши платья продавать, это, как говорится, совсем нелегко. Они слишком ношенные. Бедным дамам такие не пригодятся, а светские дамы ношеного не купят.

– Ну, ну. Очень даже купят. Убирайте все это барахло. Ко мне скоро придут.

Гарибальди стала складывать платья в картонки.

– А какой они национальности? – вдруг спросила гадалка Мордальоновна, очевидно, продолжая какой-то разговор.

Любаша сосредоточенно сдвинула брови:

– Н-не знаю. По внешности, пожалуй, вроде еврея.

– Не в том дело, что еврей, – затараторила, по-птичьи вертя головой, маникюрша Фифиса, – а в том, какой еврей. Если польский – одно, если американский – другое.

– Ну-у? – удивилась Мордальоновна.

– Польские в Париж надолго не приезжают. Уж я знаю, что говорю, – тарантила маникюрша. – У них деньги плохие, пилсудские деньги. И родственников у них много, и семейство всегда большое. Польские евреи – это самые женатые из всех. Вот американский – это прочный, коронный мужчина. Он как сюда заплывет, так уж не скоро его отсюда выдерешь. Американский – это дело настоящее. А он на каком языке говорил-то? – тоном эксперта обратилась она к Любаше.

– По-французски.

– Ну тогда, значит, американский.

– Я на него карты раскладывала, – вставила гадалка. – Выходило, будто приезжий и будто большие убытки потерпит. Хорошая карта.

– Ты, Мордальон, смотри, не уходи, – озабоченно сказала Любаша. – Ты непременно должна ему погадать. Нагадай, что в него влюблена блондинка и что ее любовь принесет ему счастье. Поняла, дурында?

– Погадайте на меня, – сказала Наташа.

– Извольте. Снимите левой рукой к себе. Задумывайте...

Огромные, разбухшие карты шлепались на стол мягко, как ободраные подметки.

– Если не продадутся платья, – говорила между тем Любаша, – я у Жоржика попрошу денег. У Жоржика Бублика, он мне всегда достанет. И вдруг весь курятник забил крыльями.

– Мало вам того, что было! – кричала маникюрша. – Триста франков даст, а тысячу унесет...

– Часы-браслет... – перебила ее Гарибальди.

– Его помелом гнать! – бросив карты, вопила гадалка.

– На кого надеяться!..
– Парижский макро! Саль тип!¹ – вставила жеманная Гарибальди.
– А еще умная женщина!
– Это еще не доказано, – искусственно равнодушным тоном сказала хозяйка. – Еще не доказано, что он унес.

– Да чего же вам еще! – возмущалась маникюрша и, обернувшись к Наташе, которая одна не знала, в чем дело, продолжала:

– Все пошли в столовую закусывать, а он тут остался фантазировать на рояле, вот здесь. А дверь в спальню открыта, и на столике часы-браслет. Отсюда, от рояля, отлично видно. С бриллиантками, все их знали. И вдруг и пропали. На Жанну думали. А вся прислуга в один голос на него говорит. Под суд бы его сразу.

– Ах, оставьте! – с досадой прервала ее Любаша. – Если бы его стали допрашивать, он бы со злости такой ушат мне на голову вылил, что дорого бы мне эти часы обошлись.

– Ну, знаете, этого бояться, так, значит, ни на кого жаловаться нельзя?

– Жалуйтесь, если вам нравятся скандалы, – гордо отрезала Любаша, – а я замужняя женщина и дорожу своей репутацией.

На одну секунду воцарилась тишина.

Не только все молчали, но даже не шевелились.

И вдруг маникюрша будто даже испуганно сказала:

– Ой!

И это "ой" прорвало все заслоны.

Так готовая к линчеванию толпа иногда не может приступить к делу, не хватая ей какого-то возгласа, жеста, чего-то логического или, вернее, художественного – потому что во всех массовых движениях есть свой тайный художественный закон, – не хватая этого "нечто", что дает возможность перейти от настроения к делу.

И вот это "ой" – двинуло.

Первая взвизгнула Гарибальди.

Взвизгнула, выскочила на середину комнаты и согнулась от смеха пополам. За ней раскатилась гусиным гоготом Мордальоновна, захохала маникюрша, затряслась от смеха Наташа, и сама хозяйка, минутку задержавшись, прыснула и повалилась на диван, дрыгая ногами от смеха.

– Ой, не могу! Ой, не могу! – ревела Мордальоновна.

Визг, всхлип, гогот...

Они заражали друг друга смехом, и кто уже было успокоился, подхватывался общей волной.

Длинная Гарибальди, оставаясь посреди комнаты, истерически топала ногами, и все увидели, что башмаки у нее "с чужого плеча", огромные и плоские и загибаются носами, как у Шарло Чаплина. Мордальоновна лежала головой на столе.

И вот на этот визг и вой отворилась дверь, что около рояля, дверь, ведущая в спальню, и оттуда вышел некто, кого Наташа еще ни разу здесь не видела.

¹ Парижский проходимец! Грязный тип! (фр.).

Это был высокий костлявый человек, лучше бы всего назвать его "верзилой". Лицо у него было скуластое, и с круглых этих скул, как с гор вода, стекала жидкая русая бороденка, стекала и закручивалась сосулькой на подбородке. Нос, толстый, неровный, торчал, как задранный кулак, над недоуменно приоткрытым ртом.

Одет верзила был в потрепанную непромокайку и шляпу держал в руках. Очевидно, собирался уходить.

Войдя в комнату, где все хохочет, он сначала растерянно оглянулся, потом неожиданно закинул вверх голову и закатился беззвучным смехом, странным, судорожным, словно зевал. Бороденка тряслась, и сам он был трагически смешон, с закрытыми глазами, с задранным носом, с отвалившейся нижней челюстью...

– Грива! – крикнула Любаша.

И, видя недоумение Наташи, прибавила:

– Вы разве незнакомы? Мой муж, Григорий Оттонович, барон фон Вирх. Грива! Закрой рот!

Но барон все еще трясся от смеха, и Наташа с ужасом подумала, что хохочет он, не зная почему, а все-то кругом знают, что тема общего веселья крайне деликатная и именно для него отнюдь не веселая.

Потом Наташа пожала ему руку, и его маленькие сонные глаза мутно скользнули по ее лицу.

– Ну я пошел, – сказал он добродушно и провел пятерней по своим нечесанным прядистым волосам.

– Ладно, голубчик, – сказала Любаша. – Ну, поцелуй Люле ручку и иди.

Он нагнулся к ней, и, когда целовал ей руку, она что-то шептала ему на ухо. Он осклабился и пошел к двери.

– Ну погадайте же, – очнулась Наташа. Барон произвел на нее очень тяжелое впечатление.

– Да разве тут дадут, – проворчала Мордальоновна, шлепнула картами и затянула певучим, как все гадают, голосом. – Ну вот... Что хотите знать, того не узнаете... так, так... три шестерки... дорога будет... И путаница большая. И так выходит, что будете вы по воде к себе домой возвращаться...

– В Россию, что ли? – усмехнулась Наташа.

– А все-таки скажу, бойтесь воды. Ух, бойтесь, бойтесь воды!

– Бойся воды и пей шампанское, – сказала Любаша и вдруг раздраженно закричала: – Ну, господа, нашли тоже время гадать! Ко мне сейчас придут, тут не убрано – это прямо невозможно! Смотрите – жрали ветчину и так все и валяется... Мордальоновна, принесите из кухни тряпку. Где счета от портнихи? Надо счета положить на стол. Фифиса, посмотрите, нет ли в спальней. От Манель. Что?

– Да я говорю, что неловко так сразу, первый раз человек пришел, и вдруг сразу и счета на столе. Поймет, что нарочно приготовили, – урезонивающим тоном протестовала Фифиса.

– Ну что там дурак поймет?

– Дурак! А коли не дурак?

– А не дурак, так тем лучше. Сразу увидит, чего от него ждут. Ну, живо!

Работа закипела. Мордальоновна покорно и даже как будто испуганно вытирала стол, мела пол, дула на крошки. Фифиса носилась вихрем на своих тонких ножках. Никто уже не шутил и не смеялся. Все понимали, что с забавами и хихиканьем покончено, что надо готовиться к приступу, чтобы враг не застал врасплох.

Любаша, с лицом сосредоточенным и сразу до неузнаваемости постаревшим, руководила работами. Ее выслушивали почтительно, забыв о всякой фамильярности.

— Мне, как же, — надеть передник? — спросила Фифиса.

— Да, пожалуй, лучше в переднике. Если найдется чистый... И когда впустите, попросите подождать и пойдете мне доложить. Поняли?

— Поняла-с.

— А Мордальоновна будет здесь сидеть с картами. Счета нашли?

— Здесь-с. Вот я на столе положила, как приказали.

Наташа встала.

— Я ухожу.

И вдруг вспомнила:

— Да, я ведь пришла спросить — не знаете ли вы адрес Шуры Дунаевой? Танцовщицы.

— Ах, Шуры-Муры? Господа, кто знает адрес Шуры-Муры?

— Я знаю, — отозвалась Фифиса. — Они обе живут в отельчике на Клиши. Улица Клиши, номер пятый.

— Спасибо.

Наташа подошла к Любаше, чтобы поцеловать ее на прощание.

— Ах, Боже мой! — вдруг вскрикнула та. — Вино забыли! Фифиса, беги скорее за porto. Бутылку porto. Нет, внизу больше не дают. Беги через улицу и купи на деньги. И возьми бисквитов. Мордальоновна, приготовь стаканчики, да живее! Он каждую минуту может прийти. Фифиса! Вот тебе деньги.

И в то время, как Наташа, чувствуя, что мешает, и торопясь уйти, целовала ее в щеку, она вынула из сумочки единственный бывший в ней денежный знак — сложенную вчетверо стофранковку и протянула ее Фифисе. Рука ее, сверкая огромным бриллиантом кольца, была мгновение так близко от лица Наташи, что ошибиться Наташа никак не могла. То, что она увидела, было ясно и показаться не могло: она увидела на сложенной вчетверо стофранковке яркое зеленое пятно.

7

Наташа особой любовью среди своих приятельниц не пользовалась. Ее считали глуповатой, неинтересной, ничего не обещающей. Прозвище, которое к ней приклеили и о котором она, к счастью для себя, не догадывалась, хорошо определяло отношение к ней. Ее называли "восточная кобылица".

На лошадь она, между прочим, совсем не была похожа: среднего роста, стройная, с движениями легкими и мягкими, с лицом совсем уж не лошадиным, недлинным, с темными тихими глазами. Но, странное дело, — прозвище это все-таки подходило к ней. Может быть, определяло

какой-то душевный склад ее. Объяснить это трудно. Так, например, почему одному человеку "идет" имя Александр, а другому Сергей? Чем вы это объясните? Какие данные и приметы должны быть у того и у другого? Как определить? А между тем это так.

Красивой Наташу признавали все. Но нравилась она мало кому.

– Неинтересна.

– Скучная.

И действительно, ей было на свете скучновато. Точно всегда была она не на своем месте. В буржуазном обществе чувствовала себя богемой, в среде богемы сжималась и смущалась. Было в ней что-то стародевское, хотя во время революции была она месяца три замужем за бывшим помещиком. Во время эвакуации они потеряли друг друга, да Наташа и не горевала об этом. Не по легкомыслию, а потому, что в то безумное время многие так истерически сходились от страха одиночества, от предсмертной тоски, когда нужно, чтобы был хоть кто-нибудь, кому можно сказать:

– Мне страшно!

И можно сказать:

– Прощай!

Находили друг друга, не ища, сходились, расходились, и, уходя, ни один не смотрел вслед другому...

После мужа были у Наташи романы, короткие и скучные, и ни один из этих случайно подошедших к ней людей не искал тепла, близости душевной, ни один не рассказывал с грустью и нежностью о годах своего детства, не каялся со сладким стыдом в былых увлечениях. К близости с ней относились, как к остановке на маленькой почтовой станции. Едет человек на перекладных, ждет, пока перепрягут лошадей, и знает, что сейчас же и дальше. Так не распаковывать же на такой короткий срок своих чемоданов!..

Недолгие, скучные романы: несколько обедов в ресторане, несколько тансигов, несколько театров. И все.

– Мы будем переписываться...

– Вы меня не забудете?

– Ни-ко-гда.

Они уходили, и она не вспоминала о них. Даже во сне.

* * *

Выйдя от баронессы, Наташа пешком пошла домой. Шла медленно, останавливаясь, так билось сердце, что даже тошнило.

– Это уж прямо психоз, – говорила она себе. – Я всюду вижу эти зеленые знаки. Точно какой-то авантюрный роман. Тайна зеленого пятна... Но все-таки – в чем же дело? Допустим, что Гастон взял тогда мои деньги и я видела у него свою бумажку. Но как могла попасть такая же бумажка к Любаше? Случайно тоже запачкалась в зеленую краску? И случайно два точно таких же пятна – одно широкое, круглое, другое длинной полосой... Уж очень была бы удивительная случайность. Прямо чудо.

Но не могла же она спросить у Любаши – откуда у нее эта бумажка. Совсем был бы идиотский вопрос. Если бы можно было рассказать всю субботнюю историю, тогда и спросить было бы вполне естественно. Но рассказывать нельзя. Поехала черт знает с кем, напилась и ночевала в каком-то притоне. И после этого еще завтракала с этим самым типом! Все эти Любаши, наверное, проделывают вещи и похуже, но уж, конечно, никогда об этом не рассказывают.

Нет, ничего рассказывать нельзя и про странную стофранковку тоже спросить нельзя. Потом все, наверное, выяснится.

А теперь оставалось одно: разыскать Шуру и спросить, что она знает. Шура милая и простая, может быть, ей можно будет рассказать... Уж если кому – так ей одной.

8

Дом, где жили Шура-Мура, Наташа искала недолго. Это был парижский отельчик, населенный почти сплошь русскими, такой для русского гнезда типичный, что и на номер смотреть не нужно, и так ясно.

Из окна второго этажа, крутясь, спускалась на веревке бутылка, остановилась около окна первого этажа, и звонкий женский голос закричал:

– Марфа Петровна! Плескните уксусу! Томаты заправить. Не могу в коридор выйти, я на дверь записку нашла, что меня дома нет. Ведь куска проглотить не дадут... А, Марфа Петровна?

А из окна первого этажа толстая голая рука ловила бутылку.

По узенькой крутой лестнице-винтушке Наташа стала подниматься. Всюду неплотно прикрытые двери и из щелей – любопытные носы, тараканьи усы, острые глаза, шорохи, шепоты, детский рев и громкие споры самого интимного содержания. Кое-где на дверях записочка:

– "Ключ под ковриком".

– "Маня, подожди Сергея".

– "Ушла за телятиной, твоя до гроба".

А на двери, за которой громче всего галдели и стучали вилками, – лаконичное и суровое:

– "Дома нет".

Лестницы в таких отельчиках всегда вьются так круто, что поднимающемуся кажется, будто он видит свои собственные пятки. И все время бегают по этим лесенкам жильцы то вниз, в лавочку, то друг к другу за перцем, за солью, за спичками.

Шныряют по лесенкам и торговые люди с корзинками и пакетиками, предлагают за 20 франков чулки, "которым настоящая-то цена 60", либо флакончик духов неопределенных запахов за восемь франков "вместо сорока". Носят и копченую рыбу "вроде нашего сига", и в той же корзинке крепдешины, "каких в магазине вам и не покажут".

Наташе повстречалась приятная конопатая скуластая рожа с узлом в руках и, смущенно улыбнувшись, предложила:

– Не желаете сукенца хорошего?

И, уже спустившись на несколько ступенек, прибавил совсем безна-



дежно и единственно в силу коммерческой техники:

– Есть отрез на брюки...

Сверху перегнулся кто-то через перила и крикнул:

– Если вы к Саблуковым, то они просили обождать.

А из двери высунулся любопытный нос и спросил:

– Да вы к кому?

Она сказала.

– Так ведь они, кажется, уезжают, – пискнул кто-то из другой двери.

– Это танцовщицы-то? Нет, они должны быть у себя, – закричал кто-то этажом ниже.

Из той двери, где "никого не было дома", тоже высунулся кто-то и что-то посоветовал...

Наташа поднялась на пятый этаж и постучала. Встретили ее радостным визгом. Визжала Шура. Мурка выразила свою радость улыбкой и еще тем, что немедленно освободила один из двух стульев, составляющих меблировку комнаты, от наваленных грудой кисейных юбок, га-лунов и шарфов и подвинула его Наташе.

– Наташа! – визжала Шура. – Уезжаем! Контракт на пять городов... В меня влюблен голландец... Ни слова ни на каком языке... Какая ты красавица! Кто тебе дал мой адрес?

– Адрес я достала у Любаши Вирх, – еле смогла вставить Наташа.

– У Любаши? Правда, какая красавица? И заметь – ей больше шестидесяти... Видела кольцо? Бриллиант? Это ей подарил какой-то раджа

или хаджа. Дивный! Подарил с условием, чтобы она его только дома носила... Мурка, есть у нас молоко? Да – только дома. А то если родственники увидят, так сейчас начнут судиться и отберут. И закладывать его нельзя – тоже родственники отберут. Богатейший этот ханжа. Мурка, есть молоко? Нужно ее кофе напоить.

Наташе нравилось у Шуры. Грудами наваленные на постель костюмы – все кисея, тюль, блески. На полу у камина грелся на спиртовке маленький уютюжок. На стенах открытки, изображающие Шуру и Муру в балетных позах, таких диковинных, что не сразу разберешь, где рука, где нога.

На камине, прислоненный к зеркалу, тускло поблескивал почерневший ризой образ Казанской Божьей Матери. Рядом – два поменьше – Николай Чудотворца и Пантелеймона. Тут же – пестрое пасхальное яйцо и пучок сухой вербы.

Перед иконами – коробочка с пудрой, румяна, карандаши для губ и бровей. Что поделаешь – места другого нет, да и зеркало одно, а пудра и румяна в их ремесле вроде как бы соха для пахаря – нужна и благословенна.

Русские артисты вообще народ очень набожный. Довольно дикое впечатление производит на постороннего человека какой-нибудь степенный старый актер, который, стоя у кулис, зажмурит глаза и сосредоточенно шепчет молитву. И вдруг, осенив себя истовым широким крестом, выскочит курбетом на сцену и залепечет фолишонным¹ голосом:

– А вот и папашка! Ку-ку! А вот и папашка!

Для актеров же это вполне естественно.

Что же – разве не близки они в этой наивной вере в значительность своего искусства трогательному легендарному жонглеру, который даже такой малый дар, как способность ловить мячики, счел достойным для жертвы Мадонне?

Шура и Мура были похожи друг на друга, хотя даже не родственницы. Обе смуглые, немножко испанского типа – каких только типов не взращивала благодатная русская почва! Мура повыше, посуше, часто выступала в мужском костюме. Она хорошо знала языки, вела всю деловую переписку, а также отвечала на письма иностранных поклонников и своих, и Шуриных.

Шуры-Муры были милые девочки. И трогательны были эти их легкие, пышные юбочки, блестящие и пестрые, как крылья райских птичек, и уютюжок, и кастрюлька, и чулки, сваленные в раковину умывальника, очевидно, для стирки, и все эти перья, пряжки и картонная кукла-пупс, наряженная в балетную юбку, тоже на камине, но отставленная подалее от образов, где темен и строг сквозил в прорезы оклада лик святого. Темен и строг, но приподнятая черная рука его прощала и благословляла.

– Дадим ей кофе, – волновалась Шурка. Она усадила Наташу и стала перед ней на колени.

¹ Идиотский (искаж. фр.).

— Ну теперь я тебе расскажу. Этот голландец... на этот раз все это очень серьезно. Понимаешь? Очень. Это уже настоящее.

Личико у нее стало вдруг восторженно печально.

— На этот раз я знаю, что меня действительно любят. Зовут его Ван Грот или Ван Крот... Мурка! Ван, что его зовут? Ван, как?

— Ван Корт, — отвечала Мурка.

— Ну да, Ван Корт. Я же так и говорю. Да это безразлично. Я его зову просто Ванькой. Джентльмен чистокровнейшей воды. Целый месяц угощал и меня, и Мурку, возил кататься. Теперь письма пишет. Мы ничего не понимаем. Мурка говорит, что некоторые слова похожи на немецкий. Между прочим, он страшно богат. У него там в ихнем Брюкене целый дворец. Понимаешь, чем это пахнет?

Шурка сделала паузу, сдвинула брови, сжала губы — изобразила, как могла, умную расчетливую женщину. Но Наташа не придала этому ровно никакого значения. Она знала, что Шурка жаждала только тепленькой любви и что ничего ей, кроме этой тепленькой любви, не надо, а про дворец рассказывала исключительно для того, чтобы не бранили ее душой.

В этой среде считалось вполне естественным, если женщина сходилась с товарищем по сцене, даже с бездарным и неудачником. Но человек из другого мира должен быть богат. Артистка, вышедшая замуж за студента или за бедного маленького чиновника, возбуждает в подругах презрение, граничащее с отвращением.

— Этакая дура!

Измена своей касте должна, очевидно, чем-то выкупаться.

Вот оттого-то Шура и хмурила деловито брови.

Пусть думают:

— Молодчина Шурка Дунаева! Умеет людей обирать!

Что ж, у каждого свое честолюбие...

— Кофе готов, — сказала Мурка. — Молоко нашлось.

— Ну, а как твой этот влюбленный-то? — спросила Шура, все еще не вставая с колен.

— Какой?

— Ну, да чего ты притворяешься? Этот, который к тебе на Монмартре привязался.

Наташа чуть-чуть задохнулась:

— Н-не знаю. Я его больше не встречала.

— Ну, полно врать-то!

Шура так обиделась, что даже встала с колен.

— Что я тебе не друг, что ли? Он на другое же утро прибежал сюда, как бешеный, чуть свет, часов в одиннадцать. Мурка еще спала, я его в коридоре приняла. Подумай — слетал в тот ресторан, добыл наш адрес — до вечера дожидаться не мог! — прискакал о тебе расспрашивать.

— Что же он спрашивал? — сказала Наташа, стараясь быть как можно спокойнее.

— Спрашивал, правда ли, что ты англичанка, и есть ли у тебя покровители. Я сначала обдала его форменной холодностью. Но он клялся,

что хочет устроить твою судьбу, что у него есть для тебя очень серьезные предложения, ну, я и сочла глупым скрывать.

– А... а кто же он сам?

– Этого я в точности не знаю, но, по-видимому, джентльмен чистокровной воды.

– А раньше ты его встречала?

– Много раз. И всегда с очень элегантными дамами.

– Я тоже встречала его по всем кабакам, – вставила Мура.

– А чем же он все-таки занимается? – допытывалась Наташа.

– Ну почему же я могу знать? Может быть, просто сын богатых родителей...

– А по-моему, – сказала Мурка, – он скорее из артистической среды. Мне кажется, что года два тому назад он играл на рояле в кафе "Версаль"... И пел в рупор¹ песенки. А впрочем, я не уверена.

– Так это всегда можно спросить. Какой же артист станет замалчивать о своих выступлениях? – волновалась Шурка. – Во всяком случае, джентльменом от него несет за сорок шагов.

– Ох, Шурка, Шурка, – покачала головой Мурка.

– Ну, что "ох"? Ну, что "ох"? Ее безумно полюбил очаровательный молодой человек, блестящий, интересный. Так вам непременно надо козыряться и кобениться: "ох, почему, вы не профессор агрокультуры! ах, почему вы не торгуете фуфайками, почему нет в вас солидности?" Любили нас, подумаешь, солидные-то! Помнишь, Мурка, зимой патлатый-то этот повадился? Приватный доцент, ученый человек. Придет, – обернулась она к Наташе, – принесет полдюжины пирожных, сядет да сам все и сожрет. А потом – "ах, ах! я такой рассеянный!" Любуйтесь, мол, на него, на великого человека со странностями. Нет, Наташа. Если любит тебя молодой и милый тебе человек, так и не финти, серьезно тебе говорю!

Она выпрямилась, ноздри раздула и даже побледнела, так была взволнована.

Наташа улыбнулась:

– Да я и не финчу. Только, право, я его больше не видела.

– Ну он еще разыщет тебя. Я сказала, что ты у "Манель".

Наташа долго сидела у Шур-Мур. Ей было уютно и спокойно на душе, несмотря на бестолочь и птичий беспорядок их гнезда. Она помогла закреплять блески на костюме Царь-Девицы, пришивала галуны к шальварам персидской рабыни, гладила шарфы и ленты и слушала о любви удивительного голландца.

И ей не хотелось уходить из этого мира, где все так просто, ясно, весело и где ее тревога последних дней, и подозрение, и страх, все складывалось и давало сумму – "интересный роман".

Она ничего не рассказала Шурке о пропавших деньгах и зеленых пятнах. Она знала, как Шурка к этому отнесется.

Да, и пожалуй, и правда – все это совпадения, воображение...

А главная правда, что уж очень скучно и пусто на свете...

¹ Здесь: микрофон.

$$2 \times 2 = 4$$

Таблица умножения.

Это старая, но вечно новая история.
Г.Гейне.

Да, дважды два – четыре.

И всегда останется новой старая сказка.

Через два дня, выходя от Манель, почти прямо против подъезда увидела она кого-то, кто, по-видимому, ждал ее и тотчас стал переходить улицу, направляясь к ней. Она узнала его и не удивилась, даже не очень взволновалась, словно ждала этой встречи. Она только просто очень обрадовалась. Гастон шел медленно, смущенно улыбаясь.

И когда подошел, оба, улыбаясь, долго держали друг друга за руки. – Наташа? – с ударением на последнем слоге спросил он.

Она поняла, что значит этот вопрос. Это значило, что ему все известно и он как бы просит ее согласия относиться к ней не как к выдуманной богатой англичанке, а как к настоящей маленькой служащей из модной мастерской. Наташа засмеялась и кивнула головой.

Он повел ее в кафе, угостил шоколадом и пирожными, и сам как-то по-детски озабоченно выбирал эти пирожные и потом следил за выражением ее лица – понравился ли ей его выбор. Очень было мило и весело в этом кафе. Сидели долго.

Потом пошли в маленький ресторанчик обедать.

В ресторанчике было уже не так хорошо. Гастон плел про себя какие-то небылицы, путал, сбивался.

– Мой отец был выходцем из Болгарии, известный богач...

– Выходцем? – перебила его Наташа. – А куда же он вышел?..

– В Ригу. Но он был чистокровный француз. А мать моя была красавица итальянка. Это был страшный мезальянс, хотя она была и титулованная.

– А как же ваша фамилия?

– Та самая, которую я вам сказал.

– А как? Я забыла.

– Гастон Люкэ.

Он посмотрел на нее, видимо, беспокоясь, что она ничего по этому поводу не говорит, и прибавил:

– Я иногда брал артистические псевдонимы...

– Вы, значит, артист?

– Да. Я окончил консерваторию в... в одном маленьком городке.

– В маленьких городках нет консерваторий.

– Это была не совсем консерватория, а – вроде. В Румынии.

– И потом выступали?

– Очень редко.

– А вы не играли в оркестре в кафе "Версаль"?

– Никогда в жизни, – ответил он очень быстро, помолчал и прибавил: – Может быть, так как-нибудь, в шутку...

"Он стыдится этого, — подумала Наташа. — Он хочет быть в моих глазах независимым светским человеком, сыном какого-то знатного "выходца"..."

Ей стало жаль его, и тихая теплая нежность овевала ее душу.

"Не надо приставать к нему с вопросами. Не все ли мне равно, кто он? Может быть, больше и не встретимся. Уйдет и не вспомнит".

После обеда прошлись по бульвару и сели за столиком большого кафе на улице.

Наташа чувствовала себя усталой и говорила мало, а Гастон увлекся беседой с алжирцем, продающим ковры. Он без конца шутил с ним и хохотал, рассматривая его товар. И хоть ясно было, что он ничего не купит, алжирец продолжал юлить около.

Такие алжирцы всегда бродят мимо больших кафе с неизменными цветными ковриками, иногда с довольно дрянными мехами или даже с поддельными жемчугами и бусами, но, главное, конечно, с коврами. Бродят они также по модным пляжам, где довольно нелепо предлагать товар голым людям. Ну на что голому ковер или лисья шкура? Да и кошелка на голом нет.

И никто, между прочим, никогда не видел, чтобы у такого алжирца кто-нибудь что-нибудь купил. Существование их для всех загадка. Многие склонны даже видеть в них шпионов — но, что можно около кафе шпионить? Какие оперативные планы можно продать неприятелю? Загадка.

Вот с таким алжирцем долго посмеивался Гастон. Под конец сказал:

— Я хочу совсем крошечный коврик, беленький.

И засмеялся, глядя алжирцу прямо в глаза.

— Меньше этих сейчас нет, — серьезно ответил тот. — Дайте задаток полтора ста франков.

— Сто! — сказал Гастон.

Алжирец перекинул свои ковры на руку и стал медленно отходить.

— Он сейчас вернется, — шепнул Наташе Гастон.

И действительно, алжирец постоял посреди улицы, посмотрел во все стороны, снова подошел к их столику и, сняв с плеча небольшой коврик, поднес его к Гастону. Тот дал ему сто франков и стал шупать коврик. Потом алжирец быстро вскинул коврик на плечо и ушел, не оборачиваясь.

— В чем же дело? — удивилась Наташа.

Ей показалось, что он сунул в руку Гастону крошечную записочку.

— Вам письмо?

— Да. От одной интересной испанки.

— Отчего же вы не читаете?

— Нельзя.

И, нагнувшись к ней, шепнул:

— Кокаин.

— Разве вы нюхаете кокаин?

— Нет, это я не для себя. Это для одного знакомого. Он его продает и получает в десять раз больше.

— А вы знали раньше этого алжирца?

– Ну конечно.

Странный этот Гастон! Впрочем, он так много врет, что, может быть, и не знал раньше этого алжирца. А может быть, это и не кокаин, а действительно записка.

– Милый Гастон, – сказала она, – если бы вы врал не постоянно, то было бы интереснее. Я бы тогда угадывала, что – правда, что – ложь.

Гастон стал серьезным, как будто обиделся. Потом сказал:

– Если бы вы могли быть моей подругой, у меня никогда не было бы тайн. То есть – почти никогда. Ведь вы тоже не всегда говорите правду. Разве вы не выдавали себя за богатую англичанку?

– Опомнитесь! Я ни слова не сказала.

– Не сказали, но и не разубеждали меня. Вы, между прочим, говорили: "мой шофер", "моя машина"...

– Точно так же я сказала бы "мое такси"...

Он засмеялся:

– Видите, как неприятно, когда вас уличают во лжи! А по отношению ко мне вы только этим и занимаетесь!

Наташе показалось, что он сердится, и она смущенно взглянула на него. Нет – он, по-видимому, и не думал сердиться. Он посмотрел ей прямо в глаза и засмеялся.

– Ну как вы не понимаете, – сказала Наташа. – Ведь это тогда была просто шутка, забава, а не обман.

– Ну, вот, вот, ведь и я тоже шучу и забавляюсь.

– А будет ли когда-нибудь правда? – спросила Наташа и сама смущилась, точно вопросом этим выдавала какое-то свое желание, какие-то надежды на дальнейшие встречи, на более сердечные и искренние отношения.

Он ничего не ответил на ее вопрос, только молча поцеловал ей руку.

Они расстались, не условливаясь о новой встрече, но на другой день он снова ждал ее на улице.

И они снова обедали вместе и вечер провели в кинематографе.

– Вы, кажется, целый день свободны, Гастон? – спросила Наташа. – У вас нет сейчас определенных занятий?

– Наоборот, я очень занят. У меня масса дел.

– Каких?

– Комиссионных. Я занимаюсь комиссионными делами. Вот мне сейчас поручили продать один дом. Я на этом деле смогу заработать несколько десятков тысяч. Даже еще больше.

Наташа посмотрела на его детский рот с надутой верхней губой, на розовые щеки.

– Не похожи вы, Гастон, на солидного дельца. Сколько вам лет?

– Гораздо больше, чем вы думаете, – обиженно ответил он. – Мне уже под тридцать. Я знаю, я очень моложав, но стоит мне надеть очки – я сразу делаюсь на десять лет старше.

– А вы носите очки?

– Нет.

Она засмеялась, но от разговора этого легла ей на душу легкой пленкой печаль.

"Под тридцать. Двадцать три? Двадцать четыре?... А мне тридцать пять".

И тут же совершенно ясно видела полную неосновательность своей печали. Не все ли ей равно? Не так она стара, чтобы грустить об ушедшей юности. А если ему даже двадцать, то ей-то какое до этого дело? Пусть хоть пятнадцать. Ведь не замуж же ей за него выходить?

Мысль была совершенно ясная и дельная, но тихой печали с души не сняла.

На другой день перед уходом из мастерской она долго прихорашивалась перед зеркалом и слегка поддурманилась. "Конечно, не потому, что Гастону третий десяток", а просто так. Захотелось...

И, выйдя из подъезда, пошла не как всегда ленивой и усталой походкой, а легко, быстро, прямо, словно показывала покупателям новую спортивную модель.

Она дошла до конца улицы, вернулась, прошла снова.

Никто не догнал ее и не окликнул.

Гастон не пришел.

10

*Как нимб, любовь, твое сиянье
Над каждым, кто погиб, любя.
Блажен, кто принял посмеянье,
И стыд, и гибель от тебя...*

Валерий Брюсов.

*Бедная старая красавица дю Барри
плакала на эшафоте, крича: "Еще ми-
нутку, господин палач!"*

История Франции.

Не пришел он и на следующий день. Да ведь он и не обещал, что придет...

Стояли жаркие, душные дни. Настроение в мастерской было истерическое.

Продавщица Элиз упала в обморок перед заказчицей. Манекен Вэра вела себя вызывающе, опаздывала и нагло улыбалась, когда мадам Манель делала ей замечания. Очевидно, она нашла себе другое место и старалась вывести Манель из себя, чтобы та сама ее прогнала. Тогда можно было требовать с нее полагающихся в таких случаях "ликвидационных". Но Манель как будто угадала ее маневр и хотя белела от бешенства, но решительных слов не произносила и была таким сладким ангелом, как бывают только от самой крутой злости.

Мосье Брюнето был неуловим, и в какой фазе находились его отношения с Вэра, определить было трудно. Но это последнее обстоятельство выяснилось, когда Вэра пригласила Наташу провести вместе вечер.

— Мы заедем за вами ровно в девять. Наденьте открытое платье.

"Кто это "мы"?" – подумала Наташа.

"Мы" оказалось состоящим из Вэра и Брюнето. Заехали они уже не в великолепной "Испано"¹ мадам Манель, а просто в такси. Оба были веселы и говорили друг другу "ты".

Поехали в большой ресторан, где обедают с танцами.

Наташе было скучно.

Вэра в счастье своем оказалась очень вульгарна, шлепала Брюнето по щекам, шептала ему на ухо, зажимала рот рукой.

Брюнето сидел красный, с блаженно растерянной улыбкой.

С Наташей оба они почти не разговаривали, так что она даже не понимала, зачем ее пригласили.

За столиком, наискосок от них, сидела парочка, на которую все обратили внимание, — дама и кавалер.

Даме было лет под шестьдесят, типа она была английского, дико худа, но с могучими костями, которые точно гремели, когда она плясала, так были голы и страшны. Щеки ее, очевидно, подвергнутые эстетической операции, носили легкие следы каких-то не то швов, не то шрамов, густо замазанных белилами и румянами. Через легкое платье обрисовывались все ее маслаки, кострецы, берцовые и прочие кости. Она была страшна. Вообще можно отметить, что безобразно толстые женщины вызывают смех, тогда как безобразно худые, может быть, потому, что напоминают о скелете и о смерти, — возбуждают истинный ужас. Над ними не смеются, их пугаются.

Вот так страшна была эта старая англичанка. И казалась еще страшнее от соседства со своим кавалером, худеньким, бледным мальчиком лет двадцати двух, с обиженным лицом и красными веками. На мальчике были кольца и три цепочки на правой руке.

Метрдотель, разговаривая с Брюнето и видя, что тот смотрит на странную пару, улыбаясь, объяснил:

— Вот сделал карьеру молодой человек. Он был дансером у Сиро. Там пленил эту англичанку, она заплатила все его долги и вот держит его у себя.

— Ну какие у него могли быть долги! — засмеялся Брюнето. — Кто ему давал больше десяти франков!

Наташу непонятно волновала эта пара. Она глаз не могла отвести от старухи, страшной, как похоронная кляча, с которой сняли ее торжественную попону, и от этого обнимающего ее мальчика, бледного, с красными веками, какого-то умученного, смущенного и торжествующего. Похоже было на какого-нибудь циркового "человека-аквариум", который глотает перед публикой живую лягушку. Ему физически противно, и ему стыдно, потому что занятие все-таки не почтенное — зрителей мутит, — но он горд, потому что номер исполняет исключительный и деньги за него получает хорошие.

Старуха — та никаких сложных чувств не проявляла. Она была невозмутима, спокойна и совершенно не замечала ни насмешливых взглядов, ни улыбок. Не хотела замечать — потому что все-таки со-

¹ Имеется в виду "Испано-Сюиза" — марка дорогого автомобиля.

всем-то уж ничего не заметить было нельзя, настолько многие из зрителей держали себя нагло и развязно.

Старуха танцевала, пила шампанское, поднимая хрупкие бокалы огромной, как грабля, костистой рукой. Кожа на этой руке так плотно обтягивала остоу кости, что трудно было отличить, где начинаются пальцы, и казалось, что они растут прямо от запястья... И как она была спокойна — эта страшная женщина, этот скелет человека, умершего от любви.

"Слава тем, кто умер за нее!"

И мальчик этот, как лунатик. Неужели ему не стыдно? И что-то в нем напоминает... Эти слегка приподнятые плечи, когда он танцует. Может быть, даже и не он отдельно напоминает, а вся эта атмосфера, эманация этой пары, этого джаза, утонченно чувственного, развратного, как тайное сновидение, о котором никогда никому не рассказывают, и запах духов и вина, все это вместе... нет, не напоминает, а как-то дает нервам "его", Гастона.

И вот — последний блик, которого не хватало... Один из музыкантов, толстый и черный, как жук, встал и, приложив ко рту рупор, запел:

"Это только ваша рука, мадам!"

— Я очень устала, — сказала Наташа. — Отпустите меня домой!

И Брюнето, и Вэра до невежливости быстро согласились на ее просьбу.

Брюнето вышел проводить ее и усадить в такси. И когда они уже стояли внизу, к подъезду подкатила большая барская машина, из которой вышел высокий элегантный господин с седыми височками, с розеткой в петличке, в цилиндре и белом кашне и, повернувшись, обождал, пока выйдет из автомобиля его спутник, тоже элегантный, тоже в цилиндре и белом кашне, и, взяв его ласково под руку, прошел в подъезд. Этот второй элегантный господин был Гастон.

Наташа так испугалась, увидя его, что спряталась за спину Брюнето. Почему она испугалась, она и сама не понимала.

Спала эту ночь плохо. Все думала, что если опять Гастон подойдет к ней, то нужно будет непременно рассказать ему, что ее в ту ночь в притоне обокрали, и спросить, знает ли он Любашу, и еще надо рассказать про зеленые отметины на деньгах. Словом, все. Будь что будет.

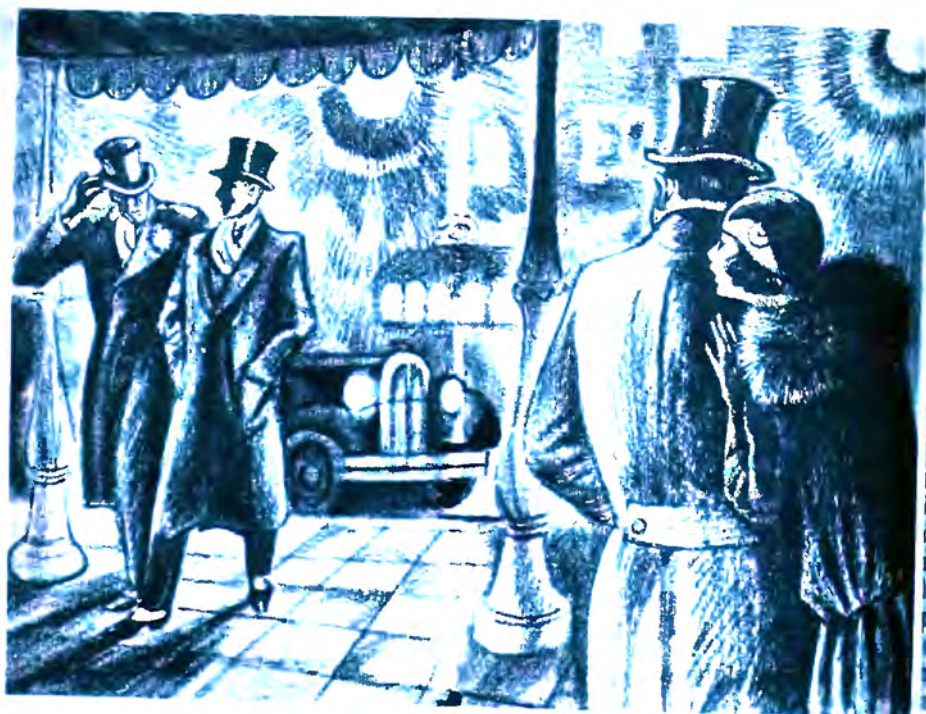
Но, проснувшись, сразу поняла всю бессмысленность этого решения. Если он в это дело замешан, то, конечно, ни в чем не признается, а просто оторвется и уйдет. Навсегда.

Если не виноват, то может почувствовать, что его подозревают, обидится и уйдет. Результат всегда тот же. Зачем же подымать эту историю, раз она не хочет, чтобы он уходил?

Появился он дня через три, но не на улице, как раньше, а пришел прямо к ней. Это было в воскресенье, и Наташа только что оделась, чтобы идти в ресторан завтракать.

— А я про вас что-то знаю, — лукаво сказала она. — Вы три дня тому назад были вечером в ресторане с одним пожилым господином.

Гастон сильно покраснел. Это в первый раз видела Наташа, что он покраснел.



– Это неправда, я нигде не был.

– Да я сама вас видела.

– Ах, да. Вы... про это... Это один друг моего покойного отца...

– А разве ваш отец умер?

– Нет... Я хотел сказать – покойный друг моего отца.

Наташа стала истерически хохотать, а он даже не понял, отчего.

– Милый Гастон! Простите меня. Я вас очень люблю... И не обижайтесь, когда я смеюсь.

Но он, кажется, обиделся.

– Я очень рад, – сказал он сухо, – что вы такая веселая. Я бы и сам смеялся с вами, если бы понимал причину вашего смеха.

"Какой, однако, болван! – подумала Наташа. – Врет ерунду несусветную да еще и обижается".

Но все-таки ей было неприятно, что он надулся, и она была очень довольна, когда он предложил вместе позавтракать и оживился, рассказывая о каком-то ресторанчике против вокзала Монпарнас, где чудесные и очень дешевые лангусты.

За завтраком он совсем развеселился и обещал пригласить ее в свое ателье.

– Чудесное ателье. Одно из лучших в Париже. У меня там дивный рояль, и я хочу вам сыграть. Сейчас его немножко ремонтируют, это ателье, но на днях все будет готово.

На следующий день он, очевидно, позабыл все, что врал про ателье, и повел Наташу к себе в крошечную комнатку крошечного отеля, около Этуаль. Инструмент, оказалось, действительно у него был, но не рояль – рояль бы не въехал в его конурку, – а просто пианино.

Кроме пианино, в комнате помещались кровать и стул. Даже стола не было. Остальная обстановка состояла из невероятного количества всякого рода башмаков. Их было не меньше двенадцати-пятнадцати пар, и стояли они за неимением места под кроватью, на стуле и даже на пианино.

Освободив стул, Гастон усадил Наташу и стал играть. Играл он действительно великолепно.

"Что за чудо! – подумала Наташа. – Оказывается, что он не соврал".

И лицо у него сделалось странное. Точно удивленное. Точно не сам он играл, а с удивлением и восторгом слушал чью-то мастерскую игру.

Но выбор пьес был совсем неладный. После блестяще исполненной прелюдии Рахманинова, продебезжал фокстрот, за фокстротом – Скрябин. Потом что-то легкомысленное с неожиданными паузами, во время которых он поднимал обе руки и смеялся и вдруг снова точно схватывал мелодию двумя руками.

– Это мое, – сказал он.

"Врет!" – спокойно решила Наташа.

Но она была потрясена.

Потрясена тем, что он так великолепно играл, а главное, тем, что он не соврал.

От этого последнего факта ей стало как-то еще беспокойнее с ним, с этим странным мальчиком. Прежде она знала, что он все время лжет, и было уже что-то для нее определенное в этом облике. Теперь она сбилась. В периодической дробь, которою была для нее душа Гастона, неожиданно появилась новая цифра.

11

У короля единственный подданный – его жена.

Мирабо.

Это был очень странный вечер, вечер, запомнившийся ей надолго.

Перед этим она не видела Гастона дня четыре. И вот – было уже поздно, около двенадцати, и она собиралась ложиться спать, когда в дверь тихо постучали.

Она даже сначала подумала, что ей показалось, так тих был этот стук, но все-таки открыла дверь. За дверью стоял Гастон.

– Я на одну минутку, – сказал он. Вошел, сел, снял шляпу и вытер лоб.

Он был очень бледен. Взглянул на Наташу и странно, по-детски застенчиво улыбнулся. Точно ребенок, который что-то разбил.

– Наташа, – сказал он. – Вы мой лучший друг, мой единственный друг, и вы можете очень мне помочь в одном деле.

Он был такой какой-то расстроенный, что Наташа невольно подняла

руку и погладила его по голове. Лоб у него был совершенно мокрый.

Он снова улыбнулся ей тою же улыбкой и продолжал:

— Я вам говорил... я занимаюсь комиссионными делами. Вот мне поручили продать одному покупателю, очень богатому выходцу из... из Аргентины, одну драгоценность. Но дело в том, что покупатель придет только через неделю, а я боюсь держать эту вещь у себя. Не потому, что... вы не подумайте... то есть просто я боюсь потерять, или ее могут украсть в отеле. Так вот, я хотел вас просить... заложить эту вещь. Понимаете? В ломбарде она будет в сохранности, за нее отвечают. Это все так делают, когда комиссия. Даже имения закладывают.

Он почувствовал, что что-то неладное выходит, и запнулся.

— А почему же вы сами не можете заложить?

— Я не могу... вы дама, вам удобнее, вещь дамская, браслет. И потом надо заложить сейчас же, завтра утром, как только откроется ломбард, а я с утра буду безумно занят. Я очень вас прошу. Это, может быть, не деликатно, но вы моя подруга... и я тоже для вас все всегда сделаю.

— А у вас найдутся деньги, чтобы выкупить, когда этот ваш... "выходец" — то придет? И почему у вас все выходцы?

— Деньги? Да вот эти самые, которые мы получим. Я их спрячу и через неделю, когда тот придет, и выкуплю.

— Ну что же, — решила Наташа. — Давайте ваш браслет, я заложу.

Он бросил беглый взгляд на дверь и вынул из кармана тяжелый массивный браслет без футляра и даже без бумаги.

— Ого, — сказала Наташа, рассматривая изумруды и бриллианты. — Да он, пожалуй, тысяч десять стоит.

— Наверное, — сказал Гастон. — Мне поручено запросить не меньше пятнадцати. Спрячьте его скорее. Я знал, что не ошибусь в вас. Вы — моя подруга. Правда?

Он посмотрел на нее ласково и был такой измученный, что даже глаза закрывал.

— Мы завтра встретимся лучше всего в кафе, — сказал он. — Приходите в кафе "Версаль"... нет, в "Версаль" нельзя. Приходите к Дюпону... знаете? Войдите внутрь и ждите меня за столиком в углу с правой стороны. Спросите себе кофе или что-нибудь, чтобы не было видно, что вы ждете... потому что... это всегда глупый вид, когда ждут. Вы мне там и передадите деньги.

— И квитанцию?

— Нет. Квитанцию спрячьте у себя. А теперь я пойду... я еще не обедал.

— Как не обедали? — удивилась Наташа. — Ведь теперь, пожалуй, уже двенадцать...

Он словно испугался.

— Двенадцать? Ай-ай-ай! А я пришел... Могут заметить...

— Вы волнуетесь за мою репутацию? — ласково улыбнулась Наташа. — Ну, знаете, в этом скверном отельчике ничем не удивишь.

— Вы думаете? — спросил он задумчиво. — Так до свиданья. Завтра в семь часов у Дюпона. Не забудьте и не перепутайте.

Он рассеянно несколько раз поцеловал ей руку.

– Вы мне самый близкий человек, – сказал он.

“Странно, что он придает столько значения такому пустяку”, – подумала Наташа.

Ее гораздо больше интересовало то тревожно-нежное к ней отношение, которое она вдруг почувствовала в нем. Любит ли он ее? Но ведь ни разу до сих пор он ее не поцеловал, не обнял. Чем это объяснить? И чего вообще хочет он от нее? Денег у нее нет, и, кажется, он даже не находит ее очень красивой. По крайней мере, тогда, в первый день знакомства, восхищаясь ею, он ведь все-таки сразу стал вносить какие-то поправки...

“Нужно желтое розовое для щек...”, – вспомнилось ей. – “Ваш жанр должен быть всегда немножко “чересчур”...

Да, вносил поправки. Значит, не был так потрясен ее красотой. А между тем – ищет ее общества, ходит за ней.

Он хочет, чтобы она была его “amie”. У французов это слово имеет определенное значение. Но один раз он как-то сказал “copine”... А это уже другое.

Об этом думала она, засыпая, и только на рассвете, в полусне, между сном и жизнью вдруг почувствовала как толчок в сердце:

“Этот браслет краденый!”

Но тотчас заснула снова.

Утром, выходя из дому, вынула браслет из ящика стола, куда спрятала его на ночь, долго разглядывала его, стараясь вспомнить что-то очень нехорошее, связанное с этой ночью. Но так и не вспомнила.

“Нехорошее” была та самая мысль, которая на рассвете ударила в сердце.

В ломбарде ждал ее приятный сюрприз: за браслет предложили не пятнадцать тысяч, как она собиралась просить, а сорок пять.

“Хорош комиссионер, – улыбаясь, подумала она про Гастона. – Много он в вещах понимает!”

Ей приятно было, что она обрадует его сегодня, и она с нетерпением ждала вечера и побежала в кафе раньше назначенного времени.

К ее удивлению, он сидел уже там.

– Ну, что? – спросил он вполголоса.

– Поздравляю вас! – смеялась Наташа. – Вы удивительно опытный комиссионер! Оцениваете вы замечательно верно.

Гастон посмотрел на нее испуганно:

– Вы, кажется, шутите? Неужели не дали даже десяти?

Ей стало жаль его:

– Успокойтесь, милый мальчик, ваш хороший друг умеет дела делать. Вот – получите.

И она торжественно открыла сумку и хотела вынуть деньги.

– Нет, нет, – вскинулся он. – Потом, потом!.. Здесь неудобно. Вы только скажите, сколько.

– Сорок пять!

– Что-о?

¹ “Amie”, “copine” – подруга (фр.). Слова имеют различный смысловой оттенок.

Он сильно покраснел и, по-видимому, совсем не обрадовался.

– Ай-ай-ай, – пробормотал он. – Начнут, пожалуй, историю. Заботы.

– Почему? – удивилась Наташа. – Я думала, что, чем дороже вещь, тем больше вы получаете комиссионных.

Он посмотрел на нее с недоумением, видимо, совершенно не понимая, о чем она говорит. Она снова повторила свои рассуждения. Он поморгал глазами и ответил:

– Конечно, конечно. Но дорогую вещь труднее будет продать.

Он стал очень рассеянным, отвечал невпопад и пошел говорить по телефону. Говорил очень долго и, вернувшись, сказал, что у него заболела голова и он хочет пойти домой и отлежаться.

Наташа обиделась и загрустила. В головную боль она не поверила, а подумала, что он сговорился с кем-нибудь по телефону покутить на эти неожиданные деньги. И грустно ей было, что она так радовалась весь день, думая, что осчастливит его, и надела нарядную шляпу и белые перчатки – так была уверена, что он поведет ее обедать или в театр. А он даже не поблагодарил за услугу. Она хотела упрекнуть его за неблагодарность – она из-за него опоздала на службу, а он даже чашки кофе не предложил. Но он был такой растерянный, что не стоило и разговора начинать.

На улице он кликнул такси и почти молча довез ее домой. Взял деньги, которые она передала ему, вышел вместе с ней и расплатился с шофером.

“Он, верно, хочет подняться ко мне”, – подумала Наташа и, так как была обижена, решила сделать вид, что не понимает его намерения.

– Зачем же вы отпустили шофера? – спросила она. – Не идти же вам пешком, раз у вас болит голова?

– Нет, я поеду, – ответил он. – Только я хочу взять там на углу другой автомобиль.

Он рассеянно поцеловал ей руку и быстро скрылся.

Наташа стала тихо подниматься по лестнице.

– Ловко, нечего сказать.

Вспомнился знакомый офицер, который говорил в таких случаях, пародируя восточный акцент:

“Харашо, душа мой? Получил об стол мордом”.

– Это все грубо и глупо и, в конце концов, даже скучно. И чего ему от меня надо? Чтоб я закладывала для него какие-то подозрительные браслетки? “Комиссионные”? Наверное, просто краденые. Ведь этак можно легко запутаться в какое-нибудь грязное дело. Нужно быть совсем душой, чтобы не видеть, что этот молодой человек – весьма подозрительный тип. Если он завтра явится, я скажу ему прямо, чтобы он на меня не рассчитывал и что вообще... я не хочу с ним встречаться. Быть героиней какого-то авантюрного романа я не создана.

Хотелось есть – она ведь так и не пообедала.

– А – тем лучше. Париж стоит мессы. Осталась без обеда, зато отделалась навсегда от этого прохвоста.

Она была очень обижена и на обиде этой, как на прочном цементе, начала спокойно и холодно укладывать свою жизнь.

– Пойду завтра к Шурам-Мурам... Надо возобновить уроки английского... В конце августа поеду в Жуан-ле-Пен¹... Скопирую синюю пижаму сама, сделаю ее в ярко-зеленом...

12

Когда от Канта ушел его старый слуга Лампе, огорченный философ записал в записной книжке: "Забыть Лампе".

*Кунофишер. "Кант".
"Не будем больше думать об этом", – сказала она, она думает об этом всегда.
Песня.*

– Не надо о нем думать. А чтобы скорее забыть, лучше всего быть с людьми, которые никакого отношения к этому темному типу не имеют, – решила Наташа.

Поэтому визит к Шурам-Мурам исключался, хотя они были очень милые и хорошо действовали на настроение.

Вспомнила о ломбардной квитанции и решила тотчас же отослать ее Гастону. Просто, без всякого письма. Улицу и отель она запомнила хорошо. На обратной стороне конверта напечатала свое имя и адрес. Отправила. После этого три дня сидела дома "не потому, что ждала ответа или телефонного звонка, а просто так".

И это "неожидание" утомило и измучило, как тяжелый труд.

На четвертый день письмо вернулось с надписью "Адресат неизвестен"... Очевидно, Гастон жил в отеле под другим именем...

Сидеть и "не ждать" стало совсем невыносимо.

Тогда выступил на очередь план: быть с людьми, не имеющими отношения к темному типу.

Вспомнила о мадам Велевич, вышивальщице, работающей и на мастерскую Манель. У Велевич бывал народ и все такой, из другого мира: бывшие светлые личности – фанатики воскресных школ и волшебного фонаря – учительницы музыки, переводчицы, рисовальщицы по крепдешину, шоферы и дантисты.

На этот раз за чайным столом сидели, кроме самой хозяйки, пожилой, курносо-русской уютной женщины, еще трое.

Одного из них Наташа уже встречала. Это был дальний родственник хозяйки. Очень высокий, светло-рыжий, с выражением ржущей лошади на лице, он давно жил в Париже и смотрел на все российские дела – советские и эмигрантские – с наивным и даже как бы веселым удивлением. Был он когда-то кавалеристом, потом служил в государственном коннозаводстве и, вероятно, благодаря этой лошадиной линии своей жизни получил прозвище в память призового жеребца Отставной Галтимор его величества.

Кроме Галтимора, были две дамы. Одна – маленькая, ядовитого типа

¹ Жуан-ле-Пен – курортное местечко на юге Франции.

старушонка, в старинном корсете и высоком воротничке, подпертом серебряной брошкой-подковой.

Вторая дама, что называется, – средних лет, с пухлым, дряблым, очень бледным и как бы дрожащим лицом, в черном грязном платье. Странная дама. Извали ее необычно – Паллада Вендимиановна. И была она, очевидно, очень строгих принципов, потому что, когда хозяйка предложила ей варенья, сделала отвергающий жест и сказала твердо:

– Ни-ко-гда!

И ясно было, что и под пыткой варенья не съест.

На Наташу взглянула с отвращением, искренним и нескрываемым.

– Ну, что нового у вашей Манель? – спросила хозяйка, усаживая Наташу.

– Ах! Вы служите у Манель! – почему-то обиделась ядовитая старушонка.

– Да, я манекен, – ответила Наташа.

– Так скажите вашей Манель, – продолжала обижаться старушонка, – что она платьев шить не умеет.

– Вот это здорово! – гаркнул Галтимор, заржал и стукнул ногой.

– Да, не умеет. Моя знакомая дама купила себе костюмчик и потом ко мне переделывать принесла. Спину обузили, юбку обузили и запаса в швах не оставили, так что и выпустить нечего.

Наташа вступилась за честь Манель.

– Ваши дамы покупают в больших домах на сольдах¹ платья, которые не на них шиты, а потом недовольны. Платье сшито на тоненькую фигурку, а в него лезет пятипудовая бабища и обижается, что плохо.

– А почему же не оставляют запаса в швах? На материи выгадывают?

– Ха-ха-ха! – веселился Галтимор, переводя вопросительно веселые глаза с одной собеседницы на другую.

– Ужас! – воскликнула Паллада Вендимиановна, оттолкнула чашку, расплескав чай, откинулась на спинку стула и закрыла глаза.

Все переглянулись.

– Паллада Вендимиановна недавно приехала из России, – смущенно объяснила хозяйка. – И вот все не может привыкнуть к нашей жизни.

– И никогда не привыкну! – истерически крикнула Паллада. – Н-не могу! Задыхаюсь! Разве это люди? Это... ламэ! Ламэ! Где чудеса любви?

Чудеса самоотвержения? Восторг муки?

Галтимор оглядывал всех, точно спрашивал – пора ли смеяться.

– Я уже семь месяцев здесь! – задыхаясь и дрожа лицом, кричала Паллада. – И я изнемогаю! Варенье... ламэ! Ха-ха! Ламэ! Люди что-то шьют, работают, получают деньги, едят, спят, сколько полагается. Покупают все, что им нужно... Учатся спокойно... Купит книжку и учится. Ха-ха! Где восторг? Где подвиг? Где чудо?

– Позвольте, – вступила ядовитая старушонка. – При чем здесь чудеса? Чудеса в религии, а не в том, что я полфунта сахара куплю.

¹ Распродажа (искаж. фр.).

² Сорт ткани.

— Да, у вас — да. У вас так, — совсем бешено отвечала Паллада. — А у нас — чудо на каждом шагу. Петр Никанорович шел по улице и видел — везут Алавердова и Матохина. Везут арестованных на расстрел. И все, конечно, отворачиваются и делают вид, что не узнают. А Петр Никанорыч поднял руку, перекрестил их, снял шапку и поклонился до земли. Малый подвиг — скажете вы. Нет, великий. Его расстрелять за это могли. За этот поклон, за этот крест он жизнью своей платил. Да, да... Видела я: девочка, маленькая девочка, худая, синяя, несет в черепочке немножко патоки — это ей выдали на паек. Идет осторожно и все на патоку смотрит, как бы не пролить. И вот подходит к ней старушка и говорит: "Девочка, мы с тобой старые да малые, слатенькое любим". Так и сказала: "слатенькое". А девочка говорит: "Что же, бабушка, лизни пальчиком, я для тебя не пожалею". И старушка обмакнула палец и пососала. Конечно, это малое чудо любви. Но я видела голубой свет над ними, над их головами... Голубое излучение...

Лицо у Паллады побледнело еще больше, судорога оттягивала углы рта.

— Есть у Мицкевича в "Дядах"... Души умерших детей просят, чтобы дали им горчичное зернышко, потому что не вкусили они при жизни горечи и не могут попасть в рай... Наши дети горчичными зернами вскормлены, а единственный свой черепочек грязной патоки другим отдадут. Да. Церкви закрыты, религии нет. Но звон колоколов невидимо гудит под землей, и сам Христос приходит приобщить умирающих.

— Ха-ха-ха! — свежо и бодро заржал Галтимор так неожиданно, что все вздрогнули. — Вот так большевики! Какой камуфлет! Уничтожили религию и основали фабрику святых! Ха-ха! В ударном порядке, безо всякой пятилетки, лучший завод в государстве, в планетарном масштабе и работает по двадцать четыре часа в сутки? Ха-ха!

Галтимор веселился.

— Нет, действительно, — ну на что им церкви? Святым-то?

Паллада, ухватившись за сиденье своего стула, повернулась всем телом прочь от Галтимора.

— Жалею, что говорила перед вами... перед таким... — срывающимся голосом сказала она.

Все смущенно молчали.

— А мне гадалка нагадала, что я скоро поплыву на родину, — сказала Наташа.

— Значит, тоже в святые? — не желая сдаваться, вставил Галтимор, но уже не так браво, как раньше. — Такая хорошенькая святая — воображаю, какие толпы будут сбегаться к вам на поклонение!

Ехидная старушонка покосилась на него неодобрительно.

— И все это пустяки, — сказала она. — У нас тоже делают добрые дела. — Сколько угодно. Всякие комитеты и все, что угодно. Моей сестре Розенталь пожертвовал швейную машинку. И вовсе он не святой, а

¹ Прикрытие (фр.).

просто добрый человек и богатый. И никто не плачет и не умиляется.

Хозяйка почувствовала, что надо и ей как-нибудь вступить в разговор.

– По правде говоря, – сказала она, – у нас действительно большая распушенность. Конечно, я не возражаю, комитеты... Но любви к другу и жалости – этого я не наблюдала.

– Да чего же жалеть-то? – вступил Галтимор. – Наряжаемся, пляшем, ходим по ресторанам. Вот позвал меня вчера князь Чамкидзе, товарищ по полку, в их кабак. Он – метрдотелем. Битком набито – и все почти русские. А ведь цены умопомрачительные. Видел там нашу неувядаемую Любашу Вирх с какими-то юнцами, дансерами. Тоже профессия – эти дансеры. Существа, грациозно изгибающиеся между альфонсизмом и уголовщиной.

– Она была с французами? – задыхнувшись, спросила Наташа, сама не отдавая себе отчета, почему спрашивает и почему волнуется.

– Нет, с нашими, отечественного производства фруктами.

– Ну, я ухажу, – неожиданно поднялась Паллада и, ни с кем не прощаясь, пошла в переднюю.

– Кликуша! – мотнув ей вслед головой, шепнула хозяйка.

Наташа поднялась тоже. Ей почему-то стало тоскливо и беспокойно.

– И вы? – всполохнулся Галтимор и, внимательно посмотрев на Наташины ноги, предложил ее проводить.

– Вам нельзя идти одной, еще кто-нибудь пристанет.

– И все это ерунда, – вдруг заявила ядовитая старушка. – Ведите себя прилично, так никто к вам и не пристанет. Я постоянно одна хожу. По сторонам не смотрю, иду, и никто никогда ничего себе не позволил.

Галтимор обвел всех недоуменно-радостным взглядом.

– Пойдемте вместе, – сказала Наташа старушонке. Ей не хотелось идти с Галтимором.

– Охотно, – ответила та. – Смотрите-ка, у вас синенькое пальто и у меня синенькое. Подумают, что мы две сестрички.

Наташа рассеянно молчала. Она думала о том, что, куда бы она ни пошла, все равно везде будут говорить о Гастоне. И она была бы очень удивлена, если бы ей объяснили, что о Гастоне, в сущности, не было сказано ни одного слова...

13

Несчастье бросает тень вперед...

Тэффи "Предел".

*Все божественной игрою рождено и
суждено...*

Ф. Сологуб.

Фифиса была маникюрша отменная. К Наташе ходила по воскресеньям – в будни Наташе было некогда.

– Ну, что нового? Давно не видали нашу красавицу? Я про Любашу...

Фифиса даже ножницы уронила.

– Ох, милая моя! Ну и дела! Уж не следовало бы говорить, да вам

ведь можно. Была я там третьего дня. Вызвала меня, значит, ногти делать. Ну, пришла я, а самой-то еще нету. Вижу, все благополучно, еврейный лакей двери отпирает, новая собачка бегаёт, хорошенькая, как купидон. Цветов всюду наставлено гибель, по комнатам англичанка ходит, за прислугами смотрит. Ну, значит, все слава Богу, взят, значит, американец за зебры.

Ну я, значит, в будуарчике села, инструменты достала – жду. И вдруг неожиданно-негаданно – звонок – является сам фон-барон, а он теперь, я знаю, за городом работает. Ну, поздоровался, он меня любит. "Я, – говорит, – Анфиса Петровна, только Люлечку дождусь, меня в город по делу прислали и нет ли чего пожевать". Ну и предложила я наскоро яишенку сварганить. И так он простодушно сказал: "сварганить – так сварганить". Ну, я живым манером, раз-два все ему в столовой на уголок стола поставила – сидит, ест. А сама принесла горячей воды, села в будуарчик – жду. И минутки не прождала – влетает моя барынька, веселая, ну, прямо купидон. "Живо, – кричит, – Фифиса, я тороплюсь". И не успела она шляпу снять, как слышим – звонок. И вбегает в комнаты прямо в будуарчик этот пузан, американский черт. Роба вся на сторону, губы лиловые, как у медведицы... Не здороваются ничего и прямо: "Я, – говорит, – сам видел, как вы подъезжали и кто вас провожал" – роба такая наглая. По-французски говорит – баронесса-то по-американски ни кукуреку, как и мы, грешные. Баронесса себя сдержала и говорит: "Это что же значит?" – "А то, – говорит, – значит, что вы, верно, стареть начали, что за мальчишками бегать стали". Ведь это подумать только – такой богатый человек и такие простые слова произносит! Тут баронесса спокойно говорит: "Уходите вон и не смейте возвращаться". А он губы распылил и: "Сами позовете!" Подумать только! И ведь ушел! В передней дверь хлопнул. Только погодите, дело-то еще только начинается. Он, значит, дверь хлопнул, а с другой стороны, слышим, точно кто заикается: "А-а-а... а-а-а..." Оборачиваемся – барон! Лицо задрал – одни ноздри и в бороде кусок яичницы трясется. Хочет что-то выговорить и не может. Ну до того страшно! Я чего-то особенно этой яичницы в бороде испугалась. Последние, думаю, времена наступили. А баронесса побелела вся, однако смеется: "Грива, Грива, ты чего?" А он все заикается и вдруг: "Кто это у вас сейчас был?" А она, верите ли, растерялась! Ну, кто бы подумал! Такая баба умница... Ну, сказала бы: "Кто был, того нет" – или... мало ли как. А она только "Грива, да Грива". Тут уж я набралась духу и говорю: "А это, разве не знаете, один тут старичок блаженнейший". Тут она немножко в себя пришла и говорит: "Чего ты? Не понимаю. Это нужный человек, он мне помогает на бирже играть". А тот опять за свою волынку: "А-а-а, а о ком он говорил?" А баронесса смеется: "Представь себе, – говорит, – этот старый шут, кажется, в меня влюбился... И во всяком случае ему, по-видимому, обидно, что я каталась с Верочкой и ее мужем, а его мы в свою компанию не принимаем". Ну, и затарантила... Гляжу – он и отошел, улыбаться стал. Потом попрощался и пошел. Все, кажется, обошлось, а тут опять комедь. Баронесса моя глаза закатила да как завизжит: "Боюсь, боюсь, боюсь!" Ногами бьет, всю ее корчит... Уж и намучилась я с ней – и водой,

и одеколоном – прямо всю даже ботэ¹ с лица смыла – потом, как пришла в себя, к Кева звонила, скорее мамзель с красотой прислать. И чего она так – понять не могу. Я уж допытывалась, что не того ли она боится, что американец совсем ушел и деньги унес. Так она даже улыбнулась. "Я, – говорит, – его сама больше на порог не пушу. Уж если человек смел таким тоном заговорить, так такой человек больше никуда не годится. Он, как яблоко с червем, не знаешь, как кусить, откуда пакость вылезет". Со мной-то она откровенна, знает, что я никому никогда... Целый день по домам ходишь – мало ли чего слушаешься, если начать сплетки разносить, тоже хорошего мало.

– Чего же она испугалась? – спросила Наташа.

– А кто ее знает. Мне уж даже в голову пришло – да уж очень как-то невероятно – неужели она испугалась, что барон что-то понял? Неужто он и впрямь ничего не знает! Тут перед самым его носом такая, как говорится, щепетильная жизнь, и вдруг он ничего не замечает. Воля ваша – поверить трудно. Что ж он, уже совсем идиот, что ли?

– А может быть, так любит, что не хочет видеть? – задумчиво сказала Наташа.

– А если не хочет, так чего же вылез? Чего ноздри раздул? Ну и дела! И до чего же все это было страшно! Ну, думаю, Бог с ними и с деньгами. Не пойду больше к ним ни за что, еще в свидетели попадешь. Ну, однако, вчера все как будто утихомирилось. Американец три корзинищи роз приворотил. Она его и на порог не пустила – верно этого самого червя боится, хю-хю-хю! Ну и дела! Я, между прочим, думаю, что у ней, пожалуй, какой-нибудь другой ерш на прицепе, а то бы так не фыркала...

Если бы все всё время не говорили о Гастоне, Наташа давно бы его забыла.

Но о нем говорил у Велевич отставной Галтимор, потому что упомянул о Любаше, а у Любаши была стофранковка с зеленым пятном, происхождение которой так и осталось невыясненным. О Гастоне говорила Фифиса, потому что опять-таки рассказывала о Любаше. О Гастоне говорили собственные Наташины руки, потому что Гастон советовал подкрасить ногти...

Внешне жизнь текла обычно и ровно. В мастерской спешно сдавали последние заказы, назначили день для сольд, манекены и продавщицы толковали между собой о каникулах и о том, кто куда поедет.

Манекен Вэра вела себя загадочно, о своих планах никому не рассказывала, но давала понять, что все, может быть, удивятся. Мосье Брюнето был погружен в работу по уши. Он непритворно хлопотал, разъезжал, звонил по телефону, рылся в счетах и торговых книгах.

Что касается мадам Манель – то тут появилось нечто новое. Появилась неожиданная почти нежность к Наташе. Она кивала ей головой, улыбалась, любовно поправляла ей локоны и всячески выделяла из общей стаи легконогих девиц. В своей тоске и тревоге Наташа почти не замечала этой лестной для нее перемены. Дело в том, что в мастерской тоже говорили о Гастоне, потому что говорили о дансерах, а о дансерах

¹ Буквально – красота (фр.).

говорил Галтимор, когда рассказывал, что встретил Любашу. И говорили о ночных ресторанах, и она вспомнила тот вечер, когда увидела его "с покойным другом" его отца.

Она "прекрасно сознавала, что ни капельки в этого типа не влюблена", но он внес в ее жизнь что-то ядовито-тревожное, замутил, как морская сепия, воду ее жизни, и в этой черной воде где-то шевелилось чудовище, которое погубит ее, и она не видела его и имени его не знала, — но чувствовала, что оно здесь, и плакала во сне...

Так прошло время. И настал день...

14

*Твои слезы текли для меня, мои губы
выпили твои слезы.*

Анатолий Франс.

*Я принесу тебе желтый мак с пурпур-
ными лепестками.*

Феокрит. "Циклоп".

*— ... Такая, я тебе скажу, живодер-
ность в них сидит, во всех до единой, в
этих ангелах, — то, без которых жить —
то нам невозможно!*

Ф. Достоевский. "Братья Карамазовы".

Она только что пришла из мастерской, когда он постучал к ней в дверь и, не ожидая ответа, вошел.

Наташу поразили его возбужденный, почти безумный вид. Щеки горели, запавшие глаза были красны и лихорадочно томны.

— Я уже два раза был здесь сегодня, — сказал он. — Ходил, ждал перед вашей мастерской и не видел, как вы прошли.

Он вдруг опустился на колени, схватил Наташины руки, прижался к ним лицом и заплакал. Наташа вся затихла и ждала. Ей самой было странно, что вся истерическая тревога последних дней вдруг отошла от нее, и это неожиданное и такое удивительное появление Гастона не взволновало и именно не удивило ее, а, напротив, как-то чудесно успокоило.

Он поднялся, встал рядом с ней заплаканный, как ребенок, с припухшим ртом.

— Наташа! — говорил он, — вы одна у меня на свете, вы — единственное существо, которое можно и надо любить. Вы не знаете, какие есть подлые, низкие души. Они не успокоятся, пока не сделают из вас негодяя... Нет, этого им мало! Они хотят сделать из вас самого черта и тогда... тогда отшвырнут его... потому что с ним стыдно показаться, все видят его рога и копыта...

Он снова зарыдал.

Наташа ласково гладила его по голове.

— Вас обидели, бедный мой мальчик? — спросила она.

– Наташа! – бормотал он. – Наташа, полюби меня, удержи меня около себя, не отпускай. Я люблю тебя... Будем вместе с сегодняшней ночи навсегда...

Он плакал и целовал ее солеными от слез горячими губами.

– Я не уйду от тебя сегодня... Ты не прогонишь меня? Я такой несчастный... Я пришел к тебе навсегда... Ты не оттолкнешь меня?

– Нет, – ответила Наташа очень серьезно и грустно. – Нет. Я ждала тебя.

Уже светало. На улице гремели жестянки мусорщиков. Постукивая глухим звонком, прошел трамвай.

Гастон спал, закинув голову, стонал и метался во сне.

Наташа нагнулась к его лицу. Оно пылало...

– Он болен?

Она провела рукой по его лбу. Он открыл мутные, красные глаза и со стоном закрыл их снова.

– Ты болен, Гастон?

– Ужасно болит голова...

Она встала, поправила ему подушку, прикрыла его одеялом, села рядом на стул и долго, жадно рассматривала его.

Вот он – этот неведомый и жуткий, так странно вошедший в ее жизнь. И во сне у него то же детское пухлое лицо, рот обиженного ребенка, нежная молодая шея. И вдруг она вздрогнула: на подушке рядом с этим милым лицом лежала его рука, огромная, с далеко отставленным, непомерно длинным большим пальцем.

– Рука душителя!

Вспомнила чьи-то слова: "Вы и не знаете, сколько бродит по Парижу всяких извращенных, больных людей, чудовищных эротоманов, садистов, душителей. В таком большом городе им легче спрятаться..."

Что она знает о нем, об этом мальчике? Кое-какие догадки, очень нехорошие... Как могло случиться, что она оставила его у себя? Какое-то наваждение...

Гастон вздрогнул. По лицу его пробежала судорога ужаса, и с невыразимой тоской отчетливо сказал он по-немецки:

– Ich habe Angst, Mama!

"Мне страшно, мама!"

Наташа вскинулась, точно это ее позвал он на помощь, охватила обеими руками его плечи.

– Мальчик мой, бедный заблудившийся мальчик! Я не оставлю тебя!

И в этом слове "мальчик мой" определилась, вылилась в него, как в форму, и отвердела ее любовь.

Женская любовь очень отлична от любви мужской. Мужчина почти всегда знает, кого любит. Он, конечно, может преувеличивать достоинства или недостатки любимой женщины, но тот облик, который он любит, есть облик истинный, украшенный или слегка искаженный, но настоящий.

Он любит свою жену или любовницу, Марию Петровну – докторшу, а не Валькирию, или Елену Павловну – актрису, а не "крошечного ко-



теночка". Женщина, если только она не совсем тускла духовно, берет любимого человека, как тему, которую разрабатывает сообразно своему свойству любить. Есть женщины, создающие из любимого человека непременно великого героя, будь он при этом хоть аптекарский помощник. Есть – ищущие и находящие рыцаря духа в коммивояжере, исключительно своему скромному делу преданному, есть, наконец, – и это самый горький и самый подвижнический лик любви – любовь к возлюбленному материнская. В форму, создаваемую ею, свободно вливаются и отъявленные негодяи – их остро жаль, как заблудших, – и люди глупые – глупость умиляет, – и ничтожные – ничтожные особенно любимы потому, что жалки и беспомощны, как дети.

Любовь к героям самая яркая, но зато и самая хрупкая. Она с трудом прощает ячмень, вскочивший на глазу героя, его неудачную остроуту. Любовь к рыцарю духа, восторженная и чудесная, тоже не очень прочна. Она почти всегда обречена на разочарование. И никакой фантазией не сотрешь карточные долгишки, служебные интрижки и всяческую "смену вех"!

Любовь материнская простит все, все примет и все благословит.

– Мальчик мой! – сказала Наташа и обречла себя, и заплакала от боли и счастья.

Она встала, приготовила чай, напоила Гастона. Он молча выпил несколько глотков, взглянул на нее мутными глазами, улыбнулся ласково и жалко и снова заснул.

Пора было идти в мастерскую. Но как его оставить такого?

Попросила коридорного позвонить к Манель и сказать, что у нее грипп.

Целый день просидела она около него, жадно прислушиваясь к его сонному бормотанию. Иногда ей казалось, что она улавливает какие-то не французские слова. Но ничего, кроме той фразы: "Ich habe Angst, Mama!", так и не расслышала.

Под вечер он пришел в себя, жаловался на головную боль и ломоту.

— Я не могу уйти от тебя, Наташа, я слишком болен.

Она счастлива была, что он не может уйти. Хотела устроить его поудобнее и предложила съездить к нему в отель за бельем и пижамой.

— Нет, туда не стоит, — сказал он. — Лучше съездить на Северный вокзал, там у меня чемодан на хранении. В нем все есть.

Она очень удивилась. Разве он собирался уезжать?

— Потом... — устало сказал он и закрыл глаза.

Вечером он дал ей квитанцию, и она съездила за чемоданом. Оказалось, что он был отдан на хранение еще две недели тому назад.

— Может быть, там окажется какая-нибудь женщина, разрезанная на куски... — посмеивалась Наташа. Посмеивалась, но не было ей ни спокойно, ни весело.

В чемодане, однако, никаких ужасов не оказалось. Было белье, платье и башмаки.

Гастон, полузакрыв глаза, смотрел, как она доставала его вещи.

— Это для любительского спектакля, — пробормотал он вдруг.

— Что — для спектакля? Платье?

— Усы, — ответил он сонно.

Она не поняла, о чем он говорит, и только, вынув все, увидела на дне завернутые в папиросную бумагу маленькие прядки волос. Это были накладные усы.

На другой день он почувствовал себя лучше, надел какую-то невероятную пижаму в синих павлинах, зеленых драконах и золотых цветах, волнующую и знойную, как восточный сон, и сидел на кровати среди подушек томный, как принц из персидской сказки.

Горничная, убирая комнату, лукаво на него поглядывала, и он улыбался ей, и веселые ямочки дрожали около его рта.

— Почему ты держал чемодан на вокзале? — спросила Наташа. — Ты собирался уехать?

— Да, кажется, собирался. Впрочем, нет. Я просто менял квартиру, и так вышло удобнее всего.

Он уже не был экзальтированно нежен, как вечером. Но был очень ласков и много рассказывал всякой ерунды, которая волновала Наташу.

Рассказывал, что у него был брат Жак, очень дурной мальчик. Когда Жаку было шестнадцать лет, он влюбился в цирковую наездницу и все придумывал, как бы раздобыть денег. Он знал, что к женщинам с пустыми руками не являются.

— И знаешь, что он сделал? Пришел к отцу портной примерять костюм и оставил в передней свою бобровую шапку. Пока он примерял, Жак успел сбежать и заложить эту самую шапку! И никогда никто об этом не узнал, ха-ха-ха!

– А ты же, однако, знаешь, – заметила Наташа и поняла, что брат Жак – это и есть он сам. И потом, много раз слыша о подвигах брата Жака, уже знала, что он рассказывает о себе, но никогда о своей догадке Гастону не говорила.

Через два дня пришлось Наташе пойти на службу. Она боялась, что Манель, обеспокоенная ее долгим отсутствием и болезнью, пришлет какую-нибудь из своих девиц навеститься, и выйдет неловко, если застанут ее здоровую в обществе такого восточного попугая.

Какое милое тепло в сердце – возвращаться к себе, когда знаешь, что тебя ждут!

– Мой мальчик, мой милый, нехороший мальчик!

По дороге забежала в магазин, купила ленты для своего халатика – надо быть элегантной. Купила на обед жареного цыпленка, винограда и вина.

Подходя к дому, взглянула, улыбаясь, на свое окно. Оно было темно.

– Мальчик спит...

Тихонько открыла дверь, повернула выключатель... Комната была пуста. Огляделась: чемодана тоже не было. Значит, ушел совсем. Ни записки, ничего.

– Мосье ушел уже давно, перед завтраком, – ответил коридорный на спокойный вопрос Наташи.

Это спокойствие она очень долго готовила, уткнувшись лицом в подушку.

15

*Что такое измены, если губы, которые
мы целуем, – прекрасные губы?*

Французская песенка.

*Соболиное одеяло
Не согреет мою белу грудь...*

Русская песня.

То, что Наташа считала исключительным и немислимым и неповторимым, пришло и повторилось и основалось, как новый быт ее жизни.

Гастон вернулся через два дня, бледненький, худой.

Это было воскресенье, и Наташа сидела дома.

Он с милой, смущенной улыбкой поцеловал ей руку и прилег на постель, полужакрыв глаза.

– Ты еще болен, Гастон? Зачем же ты ушел тогда? И ничего не сказал? Зачем же ты так делаешь?

– Я почувствовал себя лучше и не хотел больше стеснять тебя.

– Отчего же не оставил записки?

– Ах, терпеть не могу! Я же знал, что скоро приду и что ты будешь рада. Ведь ты рада?

Она была рада...

И много раз приходил он так и уходил всегда неожиданно. И уходя, не оставлял никакого знака, никакого следа своего пребывания. Он

иногда курил, но ни разу не находила Наташа окурка в пепельнице. Неужели он уносил их с собой? Он не написал ей ни разу ни одной записки.

Иногда ей казалось, что его вообще нет на свете, что она сама его придумала.

Приходил, уходил. Иногда оставался у нее по два и даже по три дня, иногда полчаса и уходил дней на пять.

Так перебоями, как больное сердце, билось ее странное счастье.

Были минуты, о которых она много думала потом, когда наступили беспощадные дни ее жизни. Была одна ночь. Вся в снах, неуловимых и тоскливых. И от тоски этих снов проснулась Наташа и с плачем обняла своего теплого сонного мальчика и по-русски, по-бабьи, запричитала над ним:

— Мука ты моя, любимый мой! Ничего я о тебе не знаю. Откуда ты? Кто ты? Куда тянешь меня? И спрашивать не хочу. И знать не хочу — только больнее будет, потому что все равно уйти от тебя не смогу.

Гастон лежал тихо. Ей показалось, что он что-то понял... Он повернул к ней лицо, бледное в мутном рассвете, и сказал:

— Вы очень нервная, Наташа. Зачем вы плачете? Я знаю, что вы меня очень любите и никогда не оставите и, если нужно будет, поможете во всем. Я моя настоящая подруга, какая мне была нужна.

И еще вспомнила она свой истерический порыв.

Был душный вечер. Они сидели рядом, обнявшись, не зажигая огня. сладкий и томный запах его духов, всегда беспокойный, к которому привыкнуть нельзя, и тонкий золотистый аромат ветерка, падавший откуда-то сверху, точно это был запах звезд, — волновали горько и страстно.

— Мальчик мой, — сказала Наташа.

Она называла его "Госс", выходило что-то вроде сокращения от Гастона.

— Мальчик мой! Хочешь, мы расскажем сегодня друг другу всю свою жизнь, все без утайки. Откроемся друг другу до дна, и это соединит нас. Я никому о себе не рассказывала. Я в первый раз в жизни хочу отдать себя всю. А ты хочешь?

— Да. Хочу, — ответил он равнодушно.

Она крепко прижалась к нему и, закрыв глаза, стала исповедоваться...

— Теперь ты расскажи мне о себе. Все. Понимаешь? Так же, как я.

— Хорошо, — сказал он, потянулся к столу, закурил и начал:

— Отец мой был выходцем из Америки и женился на датчанке, княжеской крови...

Наташа дальше уже не слушала. Она горько смеялась, глотая слезы, гладила его по голове и шептала прерывающимся голосом:

— Да, да, мой мальчик, да... княжеской крови... Я слушаю тебя... рассказывай... да, да!..

Он долго тянул какую-то ерунду о каком-то миллионном наследстве, о какой-то испанской графине, влюбившейся сначала в его отца, потом в него самого...

— Да, да, — повторяла Наташа, сжимая себе горло рукой, чтобы не

разрыдаться громко. — Бедный мой, заблудившийся мальчик! Да... да...
И еще вспоминала она разговор в ресторанчике за завтраком.
День был серенький, спокойный. За окном дрожал мелкий невидимый дождь.

Два красных квадратных француза ели телячьи головы. Меланхолический лакей в грязном переднике смотрел на облака и не отзывался на оклик.

Все было так просто, буднично, бестревожно. И тот ужасный вопрос, который Наташа готовила столько дней и ночей, вдруг прозвенел так спокойно, естественно и просто, что она сама удивилась.

— Скажи, мальчик, — у тебя так много всяких знакомых, — не встречал ли ты русскую баронессу Любашу Вирх?

Гастон лениво переспросил:

— Кого?

— Любашу Вирх.

— А какая она?

— Немолодая... очень раскрашенная, рыжеватая...

Он пожал плечами.

— Дорогая моя, я столько видал всей этой шушеры, всех этих русских *poules*¹, что, право, даже не помню, у какой из них какая рожа. Но имени, которое ты назвала, я, кажется, не слышал. Верно, что-нибудь не особенно значительное.

Они уже заговорили о другом, но Наташе захотелось снова вернуться к той же теме. Слишком долго думала она о ней, слишком много представляла себе этот разговор, чтобы не насытиться вдоволь преодоленным и нестрашным. Так ребенок, долго боявшийся погладить кошку, потом, радостно смеясь, тянется еще и еще.

— Скажи, Госс, ты вообще не любишь женщин этой категории?

— Проституток? Нет, не люблю, — ответил он лениво. — Это же скучно. Вообще всякое ремесло скучно. Я лентяй, сам не люблю работать и даже не люблю смотреть, как другие работают. Мне за них лень.

— Да, мне тоже казалось, — продолжала Наташа, все не желая отходить от темы. — Мне казалось, что эти продажные женщины неинтересны.

Он улыбнулся странно, как-то снисходительно и в то же время злобно:

— Да, когда они продаются, они неинтересны. В этом ты права. Но если сможешь заставить такую женщину полюбить...

У него голос пресекся, так что он даже дотронулся до горла.

— ...Заставить полюбить, то нет в мире счастья, равного тому блаженству, которое она может дать!

Он чуть-чуть побледнел, словно сразу осунулся, и на лицо его медленно наплывало то выражение удивления и восторга, которое Наташа видела у него, когда он играл Рахманинова.

— Ты... — пролепетала Наташа, — ты... зна... знаешь это?

Он обернулся к ней, точно не сразу понял, кто с ним говорит.

— Я? Нет, нет. Я ровно ничего не знаю.

¹ Потаскухи (фр. жаргон; в буквальном переводе — куры.)

Этот разговор она потом, в другие дни вспоминала чаще всего.

Думая о Любаше, ища ее в жизни Гастона, Наташа не ревновала его и не ревность заставила ее задать наконец мучивший ее вопрос. Этого горького хлеба она еще не вкусила, он еще хранился где-то на полочке.

Одно волновало ее — все одно и то же: уловить нити, найти, понять, узнать, кто ее любовник. Не для того, чтобы успокоиться, — пусть он даже окажется беглым каторжником. Просто хотела из тумана тревожных догадок и подозрений выйти наконец на определенную дорогу и идти по ней с открытыми глазами — на позор, на гибель, но видеть и знать все.

А он приходил неведомо когда, уходил бесследно, как галлюцинация.

После его болезни повелось так, что он сразу ложился, а она хлопотала вокруг него, поила его чаем, бегала за папиросами. Сначала потому, что он действительно был слаб, потом — вошло в обычай.

Нехороший обычай.

Люди часто не представляют себе, какое огромное значение в их взаимоотношениях имеет та или другая "обычная поза". Как она отражается в самых тайных глубинах души.

Мужчина, ходящий большими шагами по комнате, заложив руки за спину и круто поворачиваясь на каблуках, какую бы ахинею он при этом ни нес, — он диктует свои директивы, он умница, а тот, кто сидит и слушает, — его душевная поза — приниженность, внимание, робкое любовное.

Человек лежит на диване и говорит томно:

— Передайте мне, пожалуйста, спички.

Другой идет за спичками, приносит, подает, если уронит — поднимает. Он служит первому, нежному, хрупкому, будь тот хоть девяносто кило весу, с бычьей шеей.

Человек сидит в кресле, заложив ногу за ногу, чуть-чуть этой заложенной ногой покачивает, медленно затягивается папироской, отпавив вбок подбородок.

Другой — вертится на стуле, вскакивает, ерошит волосы, путает слова.

Душевная поза первого: спокойный, мудрый джентльмен, для которого вопрос давно ясен.

А между тем именно сумбурная беспокойная путаница в его тупой башке так поджаривает пятки его умного и дельного партнера.

И не думайте, что дело здесь просто и чисто внешне.

Нет. У нас есть глубокая психологическая привычка искать за формой обычного для нее содержания, и мы непременно должны сделать некое усилие, "дерзнуть", разбить эту форму, отбросить ее, если почуем, что она лжива, и всегда идем на это "дерзание" с трудом и неохотой.

Если вы встретите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями и репутацией крупного общественного или государственного деятеля — как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что перед вами просто старый дурак...

Но — довольно об этом.

Гастон всегда валялся. Наташа вокруг него суежилась.

Раздражение является атмосферой всей общественной жизни там, где нет Бога.

Фр. Мориак.

Ум большинства женщин служит им больше для того, чтобы защищать их выдумки, нежели доводы разума.

Ларошфуко.

В мастерской начались новости: манекен Вэра укатила в отпуск, прихватив с собой без спроса несколько платьев и купальных костюмов. Прислала из Жуан-ле-Пен довольно наглое письмо, что она это сделала в интересах фирмы, так как будет демонстрировать туалеты на пляже. Мадам Манель, которая рассчитывала на эти вещи для подготовлявшейся дешевой распродажи, очень расстроилась, а от наглости Вэра даже растерялась.

Когда Наташа рассказала об этой истории Гастону, он деловито задумался и сказал:

— Видишь, как это все просто! Советую тебе сделать то же самое. Мы поедем куда-нибудь купаться, и тебе нужно быть прилично одетой.

— Может быть, тогда лучше попросить у мадам Манель разрешения?

— Ерунда. Если будешь просить — наверное, откажет. Можешь ей потом прислать очень любезное письмо, что, мол, ее туалеты пользуются большим успехом и ты уже набрала много заказов. Она теперь такая ошалелая, что ничего не разберет и еще сама тебя благодарить станет.

— Отчего ты думаешь, что она ошалелая?

— Ну, вот! Весь Париж знает. Брюнето с ней разошелся. Бедная крошка страдает — ха-ха-ха! Рекомендуй меня в директора, а?

— Мне не нравятся такие шутки, — сказала Наташа.

— Тогда я повторяю это серьезно. Так тебе больше понравится?

— Почему я так уродливо связала свою жизнь с этим мальчишкой? — думала Наташа. — Он глуп, он нечестен... Зачем мне все это? Если бы я завела просто пуделя, я не была бы так одинока, как с ним".

Гастон, по-детски надув верхнюю губу, старательно подпиливал ногти. Наташа взглянула на него, и бессмысленная жалость, как теплые слезы, залила ее душу.

— Бедный, заблудившийся мальчик. Госс! Отчего ты сегодня такой бледный? Может быть, ты не ел?

В конце августа Гастон сказал, что должен ехать по делу в Берлин, и предложил Наташе сопровождать его:

— В Берлине я получу деньги, и мы поедем купаться в Остенде. Хочешь? Только сделай махинацию с костюмами, о которой мы говорили. Но не бери ничего вызывающего. Ты должна быть барыней, дамой из лучшего общества. Очень глупо выделять из себя кокетку — только отпугивать людей.

— Что это ты, точно торговать мной собираешься? — раздраженно сказала Наташа.

Он надулся.

— Ты все понимаешь чрезвычайно глупо.

После этого он скоро ушел и не показывался два дня. И за эти два дня Наташа "одумалась". Действительно — к чему эта русская растяпость? Почему, когда Вэра уволокла костюмы, никто ее не презирает и преступницей не считает? В жизни надо уметь изворачиваться. С чем она поедет в Остенде? С одной пижамой собственного производства и буржуазно пресным полосатым трико. Щеголять такой тетенькой рядом с молодым элегантным мальчиком!.. Нет. Риск слишком велик.

Вопрос о костюмах был разрешен быстро и бесповоротно.

На всякий случай она посоветовала Манель в этом году открытой распродажи не делать. Может, раздать кое-что по рукам. Придумала комбинацию: скажет, что сдала выбранные ею туалеты для продажи, а когда вернется из Остенде, возвратит их Манель и скажет, что покупателя не нашла. А может быть, кое-что из платьев и удастся продать по возвращении в Париж через Луизу Ивановну, через Гарибальди.

Гастон все одобрил, но таким тоном, точно удивлялся ее глупости: разве можно, мол, было сделать иначе?

Последнее время с ним было раздражительно скучно.

Стали готовиться к отъезду.

Платья и костюмы отобраны и потихоньку унесены из мастерской. Маленькое сердцебиение, но в общем все сошло гладко.

— Если бы у меня не было такое слабое сердце, мне жилось бы проще.

Прибежала в последний раз Фифиса. Гастон всегда уходил, когда ожидался визит маникюрши. Наташа ценила это как деликатность.

Фифиса, конечно, затарантила и, конечно, больше всего о Любаше.

— Наша-то баронесса какого ерша себе подцепила! Итальянец, маркиз, мужчина, как говорится, во всю щеку, и молодой, и богатый. Глазища черные, круглые, ровно деревенское колесо, морда желтая, что брюква — а хорошо! И всюду свои портреты развесил. Как в переднюю войдешь — огромный во весь рост и в шляпе. Улыбается. И в салоне портрет во фраке, и в столовой портрет — сидит на каком-то не то памятнике, не то черт его знает, и яблочки кушает. Это, значит, для столовой. Пошла в ванну руки мыть — и там он. В трико на морском песочке. Я уж даже посмеялась баронессе — чего уж так больно много? А она говорит — это он все сам и приколачивал, сам и развешивал. Такой, значит, уж любитель. Жаль — не все углы обошла, а то бы — хю-хю-хю!.. Ох, грехи! Ей-Богу, обхохочешься.

— Ну, что же, она довольна? — спросила Наташа и подумала: "Может быть, такая-то жизнь и проще, и приятнее..."

— Очень даже довольна. Новый рояль получила и вместе, говорит, романсы поют. Тот-то, ведь, американец, с червем, совсем уж Квазиморда был. А тут она мне с улыбкой на ушко шепотком (она ведь знает, что я никому...): "он мне, говорит, нравится". Ну, что ж, это хорошо. И человек богатый, и нравится. А то у нашей сестры все больше так, что как понравится, так, значит, деньги и вытащил...

Выехали в Берлин как-то безрадостно. Гастон был рассеян, отвечал невпопад. Наташа, усталая и грустная, закрывала глаза и молчала. И даже думать ни о чем не могла. Душа ее свои глаза закрыла тоже.

В Берлине пробыли только сутки. Гастон ушел, едва успев переодеться, и вернулся только к утру.

— Мы сегодня же уедем, — сказал он Наташе. — Поедем в Варнемюнде. Это, говорят, очень хорошенеккий немецкий пляж. Посидим там дней десять, мне за это время пришлют деньги, и мы сможем поехать в Остенде или Довилль. Хорошо?

Наташа устало согласилась.

17

*Грех велик христианское имя!
Нареши такой поганой твари.*

А. Пушкин "Песни Западных славян".

Варнемюнде.

Маленький отельчик.

На пляже немцы с детьми, целыми семьями.

Огромные тростниковые кабинки с мешками, с карманами, из которых торчат кастрюльки, детское белье и жирные куски свинятины и гусятины в промасленных бумажках.

Фатер лежит, муттер сидит, дети бегают и ползают — в зависимости от возраста.

У фатера газета и сигарета.

У муттер — вязанье.

У детей — лопатки.

Окапывают глубокими канавами свою кабинку, окружают высоким валом из песка, чтобы вечерний прилив не замочил песок под их жилищем.

Какое множество детей! Белые, толстые, сытые. Многие из них послужат потом этим белым сытым мясом будущему благополучию своей родины...

Море голубовато-серое, цвета копенгагенского фарфора... Чайки...

В маленьком отельчике чисто и некрасиво. Пахнет рыбой и салом от всего: от тарелок, от постельного белья и от шерстяных цветов, натканых в бездарные вазочки, украшающие столы.

В холле за бюро — кассирша. Физиономия ее напоминает яйцо, повернутое острым концом вверх. В самом центре — рот. Наверху в узком конце яйца кое-как помещаются маленькие глазки, украшенные собачьими бровями, лоб со взбитыми кудельками и круглый носик. Нижняя часть яйца, огромная и пустая, расплывается и лежит прямо на плечах без малейшего признака шеи, подпертая спереди круглой брошкой с портретом племянника.

Плотно стянутое, твердое, как пробка, туловище и такие коротенькие ножки, что никогда не угадаешь — сидит она за своей конторкой или уже встала. Щеки у нее малиновые с жилками, углы рта сиреневого оттенка.

Рот улыбается редко, но и без улыбки видны чередующиеся зеленые и золотые зубы разной длины.

Фрау Фрош — зовут эту даму.

Наташу она невзлюбила с первого взгляда, но Гастон ее очаровал. Впрочем, вероятно, оттого она и невзлюбила Наташу, что Гастон ее очаровал.

Фрау Фрош было не больше сорока пяти лет...

Гастон явно кокетничал с ней. Проходя мимо бюро, снимал шляпу несколько раз, улыбался своей смущенной улыбкой, и ямочки дрожали в уголках рта. Иногда Наташа заставляла его в грациозной позе, опирающегося об ее конторку и что-то воркующего.

В бюро стояло разбитое пианино. Он часто присаживался около него и, тихо аккомпанируя, напевал какую-то немецкую песенку:

*"Ты можешь его покинуть,
Но не сможешь его забыть..."*

И уж, конечно, знаменитое:

"Я целую вашу руку, мадам!"

Лицо фрау Фрош покрывалось от волнения куриным салом и красными пятнами.

— Я удивляюсь, Госс, — говорила Наташа, — какое тебе удовольствие волновать эту жабу? Неужели не противно?

Гастон смеялся:

— Глупенькая, ты представить себе не можешь, до чего это смешно! Она воображает, что нравится мне, и даже сказала, что ревнует меня к тебе. Ха-ха-ха! Я думаю, если ее поцеловать крепко в правую щеку, так с левой стороны выскочат все зубы! И подумай только, ведь ее зовут Оттилия! Оттилия! Ха-ха-ха! Я ее теперь так и называю.

Наташа пожимала плечами, но вся эта комедия была ей безгранично противна, противны были ревнивые взгляды кассирши и противно улыбающееся лицо Гастона, когда он, прищуря глаза, напевал чувственным хриплым говорком:

"Но не сможешь его забыть..."

И скучно было.

Публика серенькая, одеваться для нее не стоило.

Семейные немцы.

Скучное некрасивое море...

Чайки...

Настоящее тревожное состояние должно рассматриваться как проявление инстинктов самосохранения.

Фрейд.

Гастон часто посылал ее на почту спрашивать письма до востребования и все на разные буквы, которые он записывал на бумажке и никогда не забывал отобрать от нее эту бумажку и разорвать на мелкие кусочки.

Письма приходили редко. Он их уничтожал тщательно — уходил на пляж, делал в песке ямку и сжигал.

Скучал он, по-видимому, отчаянно и, если не кокетничал с фрау Фрош, то уныло и раздраженно молчал.

Раз как-то сказал Наташе:

— Следовало бы сыграть штуку с этой старой душой. Я буду ей петь песенки и подзову ее к роялю, а ты подсматривай из-за портьеры, и, когда я возьму ее за руки и поверну спиной к кассе — у нее касса всегда открыта, — тебе достаточно только протянуть руку, чтобы схватить пачку кредиток... они перетянуты резиночкой — там тысячи две марок...

— Ты с ума сошел! — холодно сказала Наташа. — Мы еще начнем деньги таскать, того не хватало.

Но она и не удивилась, и не рассердилась. Она даже обрадовалась, потому что наконец поняла игру Гастона с кассиршей. То раздражение, почти ревность, которое она испытывала, видя его все время с фрау Фрош, угнетало ее и беспокоило, и унижительно. Теперь все стало ясно.

— Я был уверен, что ты и на это не способна, — сказал Гастон. — Это была шутка с моей стороны. Но ты и шутить не умеешь. Ты олицетворенная хандра. С тобой очень тяжело.

Наташа испугалась его слов, не зная, что сказать, не умела повернуть в шутку свой ответ и не смела заговорить серьезно.

Он встал и искусственно спокойной походкой вышел из комнаты. Тогда она вскочила и стала прислушиваться — не пошел ли он к кассирше, но тут же увидела его через окно. Он шел с папироской в зубах по направлению к купальням.

Вечером они оба делали вид, что забыли размолвку. Он, впрочем, кажется, искренно забыл.

— Здесь есть один довольно приличный отель "Павильон", — сказал он. — Я сегодня зашел туда посмотреть публику. Много иностранцев... Пойдем туда обедать. Может, заведем какое-нибудь интересное знакомство.

На другое утро план несколько изменился: пойдет обедать Наташа одна. Так с ней скорее заговорят. Потом, если дело того стоит, она представит Гастона, как случайного знакомого. Одеться Наташа должна элегантно, но не вызывающе. Должна быть дамой из хорошего общества.

Гастон оживился, разрабатывая план, как очаровать богатого американца и занять у него денег, был так мил и ласков, что Наташе захотелось отнестись ко всей этой затее, как к забаве. Действительно, кончится тем, что она своим вечно нудным настроением окончательно расхолодит Гастона.

Вечером он сам выбрал, какое Наташе надеть платье, оглядел с ног до головы и заплотировал.

— Прелесть!

Суетился, смеялся.

Проходя мимо бюро, Наташа надменно улыбнулась на негодующий взгляд кассирши.

Гастон вышел вместе с ней, но шел по другой стороне улицы, лукаво и весело на нее поглядывая.

Наташа шла своей манекенной походкой. Ей вся эта затея начинала казаться действительно забавной шуткой. Правда, шуткой невысокого тона, да, в конце концов, не она ее выбрала, как и всю эту свою жизнь. Сейчас весело — слава Богу.

Публика оказалась не очень интересной. За одним столиком обедали на террасе под оркестр три деловых немца, горячо говорили, тыкая пальцами в какой-то контракт. За другим — пожилая чета северного типа — шведы или датчане. Но за соседним столиком, прямо лицом к Наташе, сидел солидный господин, до смешного похожий на гигантскую рыбу. В профиль лицо его представляло правильный отрезок круга: очень покатым лоб, слегка расплющенный и потому ровно продолжающий покатую линию лба нос, той же линией загибающаяся верхняя губа, и все заканчивалось ртом, потому что подбородка почти не было, он как-то вливался в воротник, и кончено. Брови чуть намечались удивленной желтоватой полоской. Стекла пенсне, такие толстые, что казались кусками льда, прикрывали глаза. Стекла какой-то особенной гранки: при повороте вдруг показывался огромный круглый серо-голубой глаз с желтым ободком. Потом снова ледяной блеск, и глаза не видно.

Общий облик этого господина был вполне джентльменский, и, судя по тому, как почтительно извивался перед ним метрдотель, он был, вероятно, клиентом богатым. Из серебряного ведерка на его столе торчало золотое горлышко шампанского.

"Как раз то, что нужно", — подумала Наташа и спустила грациозно манекенным движением мантию с правого плеча.

Смотрит он на нее или нет?

Из-за этих стекол ничего не поймешь. Но раз ей показалось, что он, вливая в свой рыбий рот бокал шампанского, смотрел на нее и, ставя бокал на место, чуть-чуть наклонился.

Наташа ответила легкой улыбкой, повернулась в профиль и подняла глаза к небу.

Вечер был тихий — прелестные облака над морем, розовые, перистые, как опавшие крылья ангелов, горели сладостно и безбольно.

"Отчего я так редко смотрела на небо? — подумала Наташа. — Надо будет как-нибудь показать такое небо Гастону. Поймет ли он?"

Гастон уже повидал всех здешних куаферов¹ и маникюрш и даже разыскал, несмотря на безвкусице местных магазинов, красивый летний галстук, но неба еще не видел ни разу...

Она глубоко задумалась и сидела меланхолично нежная, розовая в сиянии вечера.

Джентльмен-рыба встал и долго стоял, уставя на нее толстые льдины своего пенсне. Когда она наконец повернула голову, он низко ей поклонился и вышел.

Гастон остался доволен первым опытом.

Он поджидал Наташу на дороге, и они вместе весело дошли домой; веселился, собственно говоря, один Гастон. Душа Наташи осталась разнеженной сладкой печалью вечернего неба.

Утром пошли купаться, вернее, искать джентльмена-рыбу на пляже. Искала Наташа. Гастон следил издали, да он и не мог помочь, потому что не знал того в лицо.

Наташа искала долго и, как часто бывает, нашла, уже потеряв всякую надежду найти. В том месте пляжа, где сосредоточены были всякие приспособления для прыжков и ныряния, собралась целая толпа купальщиков, кричала, визжала и аплодировала.

Наташа подошла и сразу увидела, что центром внимания был ее вчерашний незнакомец.

В сером купальном трико и сером же каучуковом шлеме он еще больше был похож на рыбу, а фигура с большим длинным животом и короткими ногами была уж совсем какая-то лосось.

Он был героем пляжа, потому что проделывал самые невероятные штуки. Плыл под водой минут по десять, нырял и выплывал так далеко, что никто не хотел верить, что это он там выкинул руку и приветствует зрителей.

Все, особенно мальчишки, были в восторге.

— Вы не знаете, кто это такой? — спросила Наташа.

— Не знаем, — отвечали ей, — кажется, какой-то голландец.

— Наверное, профессиональный пловец, — догадывался кто-то.

Наконец герой вышел на берег, полежал минутку на песке, повернулся и, увидев Наташу, сейчас же вскочил и жестом пригласил ее поплавать.

Жест был такой: он слегка склонился и вытянул обе руки вбок по направлению к морю. Все было вполне естественно и просто, но Наташе стало от этого приглашения, от этих вытянутых к морю рук как-то тоскливо и жутко.

Она неохотно подошла. Обернувшись, увидела улыбающееся лицо Гастона и прыгнула в воду.

Джентльмен-рыба был уже в воде, плыл вперед и все делал приглашительные жесты. Потом вдруг исчез.

Наташа сейчас же повернула к берегу. Ей почему-то показалось, что он схватит ее за ноги и утопит.

Но джентльмен неожиданно вынырнул перед самым ее носом, когда

¹ Парикмахер.

она уже почти доплыла до берега, и снова сделал пригласительный жест, увлекая ее в море.

Но она вышла на берег и легла на песок.

Сердце у нее часто и неровно колотилось.

"Мне вредно купаться", — подумала она.

Но Гастону о сердце не рассказала.

— Он подумает, что я уже совсем старая и больная.

На другой день она принесла Гастону с почты толстое письмо, очень его обрадовавшее. В письме было триста марок.

Он стал реже беседовать с кассиршей и, казалось, весь ушел в забаву с джентльменом-рыбой.

Знакомство с ним шло не очень-то быстрыми шагами. Он ни на одном языке, кроме голландского, не говорил.

Гастон навел справки. Ему сказали, что это богатейший промышленник. Дело было подходящее.

Вечером, в день совместного купанья, Наташа нашла около своего прибора букет роз.

— От кого это? — спросила она у метрдотеля.

— Хер ван Фиск, — отвечал тот, слегка улыбнувшись, и почтительно указал всем телом в сторону голландца.

Тот приподнялся и поклонился.

На следующий день купались снова вместе. И снова у Наташи болело сердце от усталости, от отвращения и страха.

19

*Я люблю твое бесчеловечное сердце,
Ты меня предашь завтра,
Я тебя — сегодня вечером...*

Стансы для Манон.

Чтобы скорее сдвинуть дело, было решено, что Наташа будет иногда ходить завтракать в отель "Павильон".

— Деньги пока что есть, — смеялся Гастон. — Я субсидирую предприятие.

За завтраком голландец послал ей бокал шампанского.

В тот же день она принесла Гастону с почты письмо с французской маркой.

Он был дома.

Письмо было недлинное, но он читал его без конца, медленно переворачивая. Думал о чем-то и снова читал.

Наташа из деликатности обыкновенно отходила в сторону, когда он распечатывал свои письма, но теперь, удивленная, что он так притих, она взглянула на него:

— Мальчик! Что с тобой?

Эта серая землистая маска безнадежного отчаяния так не годилась для его пухловатого детского лица, что, сама по себе страшная, она пугала еще больше от этого несоответствия.

Он весь был придавлен. Он даже согнулся...

Она бросилась к нему, хотела его обнять, но как-то не посмела. Что-то такое огромное, совсем чужое, совсем неведомое наложило на него сейчас свою руку... И просто, по-прежнему уже нельзя было подойти к нему.

Он медленно, глядя куда-то мимо Наташи, стал рвать письмо на мелкие кусочки, собрал лоскутки в конверт, сунул в карман и встал. Наташа заметила, что один крошечный обрывок упал на пол. Сотчаянно забывшимся сердцем, точно сознательно совершая гнусное преступление, она наступила ногой на этот обрывок.

— Знать! Знать! Знать!

Он медленно пошел к двери, тихо, точно с трудом, открыл ее и вышел.

Наташа застыла, крепко, до судороги нажимая носком башмака на обрывок письма.

Вот он прошел мимо окна... Ушел на пляж сжигать свою тайну.

Наташа подняла бумажку. Руки так дрожали, что трудно было разобрать буквы.

На одной стороне лоскутка стояло: "...le l'aime..." И пониже — слово "...jeune"¹.

С другой стороны — "...fini, mon vieux..."² и пониже — "faut renon..."

Наташа закрыла глаза.

Письмо было неделовое...

Что такое "...le l'aime"? Крошечная черточка, отходящая от первого "l" влево, по-видимому, соединяла его с другой буквой в одно слово...

И вдруг — совершенно ясно, ясно до радости, до ужаса: это "le" — вторая половина слова "elle". "Elle l'aime" — "Она его любит". И потом, очевидно, в следующей фразе, "jeune". А на оборотной стороне, по-видимому, уже умозаключение и советы писавшего. Потому что — что другое могут значить слова: "faut renon..." как не "faut renoncer? — "надо отказаться".

Наташа так и застыла с этим лоскутком в руках. И если бы Гастон сейчас вернулся — она все равно не разжала бы руки, не спрятала бы этот драгоценный документ.

— Что это значит? Кто "она"? Она любит молодого... надо отказаться... И вдруг мысль, хитрая, неприкрашенно лживая:

— А может быть, это все-таки деловое письмо? Может быть, было затеяно какое-нибудь темное дело, от которого надо отказаться. А слова "она его любит" тоже касаются какого-нибудь жулика, которому доверяет намеченная к облапошению богатая американка. Ничего в этом невозможного нет. Ровно ничего.

И вдруг... душа вскрикнула:

— Так отчего же это так убило его? Нет, это не то, не то. Как он согнулся, сломился весь... Нет! Удар был нанесен в сердце.

¹ Молодой (фр.).

² Конеч, дружище (фр.).

Ей стало страшно. Где он? Бедный, заблудившийся мальчик! Он сидит один на берегу. Он все равно не даст подойти к себе, но пусть видит, что она и в этом, позорном для нее горе (от другой женщины идет оно!) с ним.

Она скрутила бумажку, засунула ее в палец перчатки и бросилась за Гастоном.

Но выйдя в холл, остановилась пораженная: он уже вернулся, стоял, опершись локтем о бюро и нагнувшись к самому лицу кассирши, шептал ей что-то. Он держал ее за руку, и немка, обернувшись на стук Наташиных каблуков, вдруг страшно смутилась и отдернула руку. Прежде она никогда не смущалась так, почти до испуга.

— Ты на пляж? — спокойно спросил Гастон. — Иди, иди, я сейчас приду тоже.

Она пошла на пляж. Но он не пришел.

20

*Злодей тут усмехался
И расправлял усы,
Надел свои перчатки
И смотрит на часы...
Старинный романс.*

Вечером Гастон сказал ей, что ему придется ненадолго уехать.

— В Копенгаген.

— В Копенгаген?

Это слово было ей приятно. Она боялась услышать "Париж".

— Очень ненадолго. И на этот раз я рассчитываю на полную удачу, так что можно будет сразу же ехать в какое-нибудь шикарное место. Лето кончается — надо торопиться.

— А я не могла бы поехать с тобой?

— Вот уж не стоит. Я буду бешено занят, и со мной будут разные дельцы, с которыми мне не хочется тебя знакомить.

Наташа смотрела на его неестественно бледное, постаревшее и подурневшее лицо и с удивлением думала: отчего же он не плачет?

Ей казалось, что он в минуты горя непременно должен плакать. Впрочем, ведь уже один раз плакал, тогда... в тот вечер. Может быть, действительно у него деловые неприятности?..

— А ты за это время займись как следует твоим голландцем. Чтобы к моему возвращению он был влюблен, как тигр! — шутил Гастон и улыбался мертвыми губами.

— Когда же ты думаешь ехать?

— Завтра.

Послали за бельем к прачке, купили на дорогу клетчатую кепку, пошли купаться. Но Гастон не смог войти в воду.

— Мне холодно, — сказал он.

Он был, как больной.

Вечером он сказал Наташе:

— Я рассчитываю вернуться дней через шесть. Но если и придется задержаться немножко — ты не беспокойся. И знай, что я заплатил за комнату вперед за две недели.

Наташа не почувствовала благодарности за его милую заботу. Она почувствовала только тревогу от слов "две недели". Значит, может случиться, что разлука растянется на две недели.

— Ты хочешь, чтобы я писала тебе?

— Ну, конечно. Пиши до востребования на буквы Л.Д.

— Л.Д.?

— Да, да, Л.Д. Я тоже буду писать.

Вечером Наташа отказалась идти в ресторан "на работу". Побродили по берегу.

Вечер был неизъяснимо тоскливый. Маяк бросал таинственные сигналы кому-то в далекие туманы. Два коротких луча, один долгий. И опять — два коротких, один долгий. Настойчиво, упорно. И не ждал ответа...

— Значит, ты будешь писать мне? — снова спрашивала Наташа.

В береговом кафе играл оркестр. Колыхались несколько пар.

Гастон и Наташа, не сговариваясь, пошли на свет и музыку.

Сели за столик.

— Хочешь? — спросил Гастон и привстал.

Он звал ее танцевать.

Немного удивленная, она положила руку ему на плечо.

— Как он изумительно танцует! Точно профессионал, — вспоминала она свое первое впечатление.

Лицо у него было очень бледное, как, впрочем, и весь этот день с той минуты, как он прочел письмо. Глаза полужакрыты, губы чуть-чуть шевелились, точно он говорил что-то.

— Он не со мной танцует, не со мной, не со мной!

Наташа улыбалась и двигалась, как автомат.

— Как все это странно! — думала она. — Почему я не могу спросить у него, о ком он думает? Он, конечно, не ответит, но с моей стороны гораздо естественнее спросить, чем делать вид, что считаю все благополучным и верю ему. Точно меня нанял кто-то роль разыгрывать.

Ночью она не спала.

Под утро увидела мутное море и джентльмена-рыбу, который, вытянув обе руки вбок и почтительно склонив свою плоскую голову, делал пригласительный жест.

Русские мальчики приплясывали на берегу и поддразнивали Наташу, напевая:

*"Полюбила рыбу-судачину,
Принимала рыбу за мужчину"*

И проснувшись, она все еще как будто слышала их голоса и смех. Сон дурацкий и, пожалуй, даже веселый, а потянулась от него тоска, как туман, на все утро.

Гастон быстро уложил вещи, отвез их на вокзал и, вернувшись снова, долго шептался с кассиршей.

— Не обокрал бы он ее на прощанье, — спокойно подумала Наташа. Такая мутная боль наполняла всю ее душу, что эта безобразная мысль была даже приятна. Ведь это было нечто простое, бытовое, реальное. Люди живут во всякой жизни. Счастливые — в хорошей, несчастные — в дурной. Но в подозрениях, догадках, трепетах и снах, когда они составляют весь быт и уклад, — жить нельзя.

Гастон предложил позавтракать в каком-нибудь ресторанчике, а потом он один пойдет на пристань. Наташа не должна его провожать. Он этого не любит.

— Хорошо, — покорно согласилась Наташа. — Я буду с пляжа смотреть на твой пароход.

Завтрак прошел напряженно и скучно. Гастон был рассеян. Наташа все складывала в уме разные фразы, которые произнести не решалась.

Наконец она сама сказала:

— Надо торопиться, мальчик, ты опоздаешь.

Тогда он встал, поцеловал ей руку, потом, точно вспомнив что-то, поцеловал в губы.

— Ну, вот. Я пойду. Не скучай, ведь это не надолго. Пиши мне в Копенгаген, до востребования, Р.Т.

— Р.Т.? — удивилась Наташа. — Ведь ты вчера сказал, что на Л.Д.!

— Ну да, на Л.Д. — ответил он рассеянно.

И она поняла, что ее письма ему не нужны.

Они вышли вместе.

— Можно мне проводить тебя до угла?

— Хорошо.

На углу остановился, снова поцеловал ей руку и, сделав приветственный жест, совсем чужой, быстро, не оборачиваясь, пошел вдоль улицы.

21

Она начала понимать, что отсутствующие всегда правы.

Фр.Мориак.

Это почти всегда ошибка того, кто любит... когда любовь уходит.

Ларошфуко.

Поэты, писатели, психиатры и многие прочие знатоки человеческой души убеждены и других убеждают, что для тяжелого настроения и даже для глубокого горя лучшим средством, утишающим страдания, является природа.

Природа говорит о вечности. А мысль о вечности (так считают эти знатоки) очень приятна для скорбной души. Поэтому, например, принято скучающего миллионера отправлять в далекие путешествия, ко-

нечно, в сопровождении врача, снабженного термометром и машинкой для измерения давления крови.

Миллионер долгие дни смотрит на беспредельное море и долгие ночи созерцает безначальность и бесконечность небесного свода, и окрашивается его тоска этой жестокой даже для здоровой души ужасающей и неприемлемой вечностью.

Обыкновенно миллионер путешествия своего до конца не доводит. "Обманув бдительность врача", он бросается в море.

Еще считается полезным указать страдающему на то обстоятельство, что и он, и его горе в сравнении со страданиями всего человечества — ничтожество и мелочь.

Унизить человека это, конечно, может. Но почему могло бы успокоить?

Или, может быть, раздавливая каблуком таракана, было бы гуманно объяснить ему, что слону в его положении приходится гораздо тяжелее?..

День был мутный.

Тусклое море дымно сливалось с небом, и долго две серые продолговатые соринки стояли недвижно не то на море, не то на небе. И которая из них была пароходом, увозившим Гастона, Наташа не знала.

Потом она повернулась и пошла домой.

Без Гастона комната стала большой, пустой и странно тихой. Наташа огляделась, точно видела эту комнату в первый раз. Выдвинула ящик стола. Пусто. Там долго валялась его сломанная запонка. Теперь она исчезла.

Наташа быстро оглянула стену у кровати: неделю тому назад она пришила туда портрет Гастона. Фотограф на пляже прищелкнул их вместе кодаком, когда они выходили из моря. Наташи почти не было видно, но Гастон вышел хорошо. Карточка эта висела еще вчера. Сейчас ее не было.

Впрочем, он ведь всегда исчезал так. Бесследно. И это не мешало ему возвращаться.

Целый день пролежала Наташа в постели, почти не меняя позы.

— Он был во всем прав, — думала она. — Нужно удивляться, что он меня не бросил. А он не бросил потому, что даже заплатил из своих денег вперед за комнату. Это мило, это нежно и деликатно. Но ему скучна жизнь со мной. Он — это ясно — искатель приключений. Он звал меня с собой в свою интересную, пеструю жизнь. И так осторожно звал, ни к чему не принуждал... Я мокрая курица. Кислятина. Русская растяпа. Размазня... Как он оживился, когда я согласилась подурить с этим рыбым голландцем! И чего, в сущности, я хочу? Чтобы Гастон поступил на место, скажем, рассыльного у Манель?.. на тысячу франков жалованья? Стал бы маленьким приказчиком?.. Какая ерунда!

И она представляла себе жизнь ту, на которую Гастон звал ее. Уголовный фильм, авантурный роман. Она его спасает... ночью подплывает на лодке... они ползут по крыше... она его, раненого, мчит в автомобиле... Они танцуют на пышном балу, все любят ее, и он

гордится... А под утро она подает сигнал... Добыча — два миллиона. Переодетые странствующими музыкантами, они переходят границу...

Она так и пролежала до утра, не раздеваясь, сжавшись комком, в снах, полуснах.

Утром встала рано и пошла — но не к морю, только не к морю, не к безднам, не к ангельски-розовым зорям. Нет, инстинкт еще вел ее к жизни, и она пошла бродить по улицам курортного городка, смотреть на витрины магазинов, разглядывать ерунду: бусы из горного хрусталя, перстечки из кровавика, сережки из какого-то мутного камня, неделикатно положенные рядом с огромной подставкой под чернильницу из того же материала, что явно свидетельствовало о его нередкости и недрагоценности.

Рассматривала вязаные кофточки, купальные костюмы и шапочки, все грубое и некрасивое и на ее изысканный вкус парижского манекена даже смешное...

В ресторан "Павильон" ей идти не хотелось. Она чувствовала себя усталой и увядшей. Надо сначала хорошенько отдохнуть.

Гастон вернется — в худшем случае через две недели, потому что заплатил за две недели вперед. Ну, а за эти две недели голландец будет уже привязан на веревочку. Только сначала надо отдохнуть.

Вернувшись домой, увидела подsunутое под дверь письмо. Сердце так стукнуло, что она не сразу нагнулась поднять.

Но конверт был незапечатан и заключал в себе просто отелный счет.

— Это они для порядка. Немецкая аккуратность.

Проходя мимо конторки, старалась не глядеть на фрау Фрош. Но чувствовала на своей спине ее острые злые глаза. Жаль, что здесь заплачено вперед, а то она могла бы переехать в другой отель. Но с другой стороны, эта жаба Оттилия, наверное, скрыла бы ее адрес от Гастона.

Прошел день. Прошли дни.

Она ходила на почту. Спрашивала письма на свои буквы и на свое имя.

Чиновник перебирал нетолстую пачку.

Она уже знала это синее письмо, которое никто не требует, повестку, газету, бандероль...

— Ничего.

Как-то, подходя к почте, увидела фрау Фрош. Она как раз выходила оттуда. Шла с пустыми руками, растерянная, и Наташу не заметила, хотя встретились они нос к носу. Наташа была поражена выражением ее лица. Это было такое тупое бессмысленное отчаяние, которое, переводя на звук, можно было бы сравнить с ослиным криком. Выражение лица фрау Фрош было отчаянное, как ослиный крик.

Она быстро, неровной походкой пошла по направлению к отелю.

— Ждем писем от Гастона! — злобно засмеялась Наташа.

Ей стало противно, что вот она так же, как эта жаба, идет на почту и так же, как она, письма не получит. Может быть, и у нее самой такое же выражение лица?

Она посмотрела вслед фрау Фрош. Первый раз видела она ее на

улице. Ввинченная в плечи голова, коротенькие ножки, тугое, словно из пробки, негнущееся туловище, обтянутое бурой вязаной кофточкой... Бежит на службу...

— Жалкая!

Но Наташе не хотелось позволять себе пожалеть кассиршу. В этой жалости чувствовалась какая-то для нее самой опасность...

Проходя мимо бюро, она нарочно смотрела в сторону. Но фрау Фрош сама окликнула ее.

— Вам уже два раза подавали счет, — сказала она. — Будьте любезны уплатить, наш отель кредита не делает.

И она, торжественно подняв коротенькую ручку, указала на соответствующий плакат на стене.

Наташа удивленно подняла брови.

— Позвольте, — сказала она холодно. — Но ведь мосье Люкэ, уезжая в Копенгаген, заплатил за две недели вперед, а прошло только шесть дней со времени его отъезда.

Наташа теперь близко видела лицо кассирши. Как оно изменилось! Толстые щеки как-то гнусно отмякли и обвисли, как коровье вымя. Портрет племянника переехал к левому уху. Значит — ворот стал широк, и она перетягивала его. И Наташа с омерзением поняла, что Фрош похудела...

— Уплатил за две недели? — злобно переспросила кассирша. — У вас в таком случае должны быть наши расписки. Будьте любезны показать.

Теперь рот ее растянулся и выпустил ряд золотых и зеленых зубов разной величины.

— У меня нет расписок... Он, очевидно, забыл их передать мне!.. Или просто верил в вашу порядочность. Он на днях вернется из Копенгагена, и все выяснится.

— Х-ха! — сказала Фрош. Не засмеялась, а именно только сказала.

— Х-ха! Почему он вернется из Копенгагена?

Наташа смотрела с недоумением.

— Почему он вернется из Копенгагена? — повторила Фрош. — Когда он вовсе не туда поехал. Наш слуга был на вокзале и слышал, как он покупал билет Гамбург — Париж. И видел, как он сел в гамбургский поезд. Ловко он вас надул.

Она помолчала, с любопытством рассматривая Наташино лицо.

— А какое вам дело до того, где он находится? — спросила Наташа.

— А какое мне дело? — задохнулась Фрош, и щеки у нее задрожали: — Если мне нет дела, то вы, очевидно, берете на себя уплатить мне пятьсот марок, которые ваш друг взял у меня взаимнообразно, — расписка у меня есть!

— Ах, вот что вас волнует! — презрительно сказала Наташа, точно кассирше следовало волноваться какими-то другими высшими мотивами.

— За комнату я, конечно, заплачу, — продолжала она все с тем же презрением. — А вопрос о своем долге он, конечно, урегулирует, когда вернется. Можете успокоиться.

И она с достоинством вышла.

Долгие страдания ведут к изменению сущности.

Марсель Пруст.

Есть души, для которых слезы, как увеличительные стекла: мир, видимый ими через эти стекла, всегда огромен и ужасающ в своем безобразии.

Те мелкие детали, которые обычному взору представляются почти украшением, потеряв свои нормальные размеры, давят и пугают. Кто видел под микроскопом очаровательнейшее создание Божие, символ красоты земной — бабочку, тот никогда не забудет ее кошмарно-зловещей хари. Пленкой "маловиденья" преображен для нас мир чудовищ.

Завыли по ночам сирены. Безнадежно и жутко. Предупреждали кого-то в далеких морях, а тот или не слышал, или не понимал, потому что вой возобновлялся еще и снова, и, казалось, уже не предупреждал, а оплакивал.

Безнадежно!

И маяк настойчиво бросал свои лучи — два коротких, один долгий, настойчиво, хотя уже было ясно, что никому он не нужен и никого не спасет.

Но откровеннее и наглее и сирен, и маяка рассказал обо всем страшный ночной сигнал — три красных фонаря, поднятых на береговую мачту. Она увидела их, выйдя из кинематографа, куда забрела случайно. Жиденькое желтое освещение в подъезде этого кинематографа держалось близко, дальше входных ступенек не разливалось. Дальше был черный провал не вниз, а во все небо и во всю землю, во всю безмерность пространства. Черный провал. И над ним высоко по вертикальной линии три красных фонаря.

— Будет шторм, — сказал кто-то.

Но никому это пояснение не было нужно. Ужас не в том, что будет шторм. Ужас в черном провале и висящих над ним, как бы осеняющих его, или воплем кричащих красных огней...

Никакое логическое рассуждение не расскажет человеку так безысходно явно все о нем самом, как вот такие огни:

— Да, — сказала Наташа.

Это значило, что она поняла.

Она одна на свете, в одиночестве позорном, потому что брошена и потому что не сама это одиночество избрала.

И раньше, и всегда была она одна. Никому не нужная, не интересная. Манекен для примерки чужих платьев.

Жизнь ни разу не коснулась ее. Война, революция — все прошло мимо. Все отозвалось только как холод, голод и страх.

Пришла любовь и дала душе ее тоже только холод, голод и страх. И в любви этой была она одна. Одинока.

Гадалка предсказала, что она поплывет на родину. На родине чудеса, и Христос приходит на зов... Только ведь она, пожалуй, и там будет

лишняя и чудес не узнает. Слышать о них будет, а сама ничего не познает. Душа у нее скучная...

Прижалась она сейчас к этому подъезду кинематографа, расцветенному уродливыми разляпанными плакатами. Стоит в его жиденьком желтом свете... Но вот уж и он гаснет. А дальше — то, черное, глубокое, безмерное...

Потом начались сны. Сны несчастных всегда удивительны и всегда много страшней жизни.

Бодрствующий разум так преданно "подхалимно" служит человеку, подправляет, успокаивает, подвирает, где нужно, не верит, когда можно.

Спящий оставлен без этой верной охраны. И к нему, беззащитному, подкрадываются темные ползучие ужасы, опутывают его, как свою добычу, и овладевают им. Иногда они так сильны, что разрушают всю дневную работу почтенного разума, и человек перестает верить дню со всеми его прекрасными возможностями и твердой логикой, и с пути благоразумия покорно и безвольно соскальзывает на путь безумия.

К Наташе приходили сны почти всегда одни и те же. Она все искала какого-то ребенка, которого унесли и где-то мучают.

Вероятно, в этих сновидениях просто отражалось сокровенное се любви: нежность и тревога за этого "заблудившегося мальчика". Прорылась, слышала воющий плач сирены и засыпала, чтобы снова бродить по неведомым лабиринтам и искать и не находить...

Но в ту ночь, предшествующую знаменательному дню, увидела она сон, не похожий на обычные.

Увидела она старый деревенский дом, где провела свое детство. Увидела большую столовую этого дома и сидящих вокруг накрытого стола. Сумерки густые, почти ночь. Но огня почему-то не зажигают. И сидят молча.

И вот видит Наташа высокого плешивого старика, различает его пробитый по старинной моде подбородок. На плечах чуть-чуть поблескивают эполеты.

— Дедушка! Покойный дедушка, — узнает Наташа.

И как узнала его, так сразу узнала и других.

Вот прямая, плоскогрудая, на плечах оренбургский платок — тетя Соня. Тоже давно умершая. И в широком кресле, сама широкая, низенькая, вся в оборочках и фальборочках и в рюшках — бабушка.

А рядом дальняя родственница, старушонка Пашенька — когда же она умерла? Ах, да, еще до войны...

Наташа не успела всех разглядеть, но заметила, что один прибор пустой, и тут же поняла, что все ждут именно этого гостя, который не приходит, и потому так напряженно и молчат.

И вот дедушка говорит:

— Чего же мы ждем, дорогая? Почему не начинаем?

— Маруси еще нет. — прошамкала в ответ бабушка.

"Кто же это такая эта Маруся? — подумала во сне Наташа. — Я ведь Маруси совсем не знаю".

— А когда же она прибудет? — снова спрашивает дед.

Наташу страшно волнует слово "прибудет". Это долгое, гулкое "у" —

"прибу-у-уудет" заключает в себе что-то особо страшное. Или это вой сирены вошел в ее сон?..

— ... числа, — отвечает чей-то голос с другого конца стола.

Наташа не поняла цифры. Она слышала, но как-то не поняла и тотчас проснулась. И, проснувшись, мгновенно забыла весь сон. Осталось только какое-то особое тоскливое беспокойство, новое, которого раньше не было.

Уже светало, и она решила больше не спать. Ее знобило, болела нога. Надевая чулки, она заметила, что сустав около большого пальца распух.

— Подагра?

Долго с ужасом рассматривала свою прелестную ногу с подкрашенными лакированными ноготками.

— Надо зайти в аптеку, спросить какую-нибудь мазь.

День начался яркий, солнце прыгало по стеклам, быстрое, веселое. Можно было пойти на пляж и просто прогреть как следует больной сустав. Купаться, конечно, нельзя. Она чувствовала себя совсем простуженной.

Веселый день говорил, однако, о том, что надо жить на свете и что-то для этой жизни предпринимать.

За комнату заплачено еще за пять дней. Если ехать через пять дней в Париж, то не хватит даже на билет третьего класса. Добраться до Парижа и там постараться продать кое-что из платьев?

И вдруг вспомнился голландец. Как глупо, что она его так забросила. Надо сегодня же пойти в "Павильон".

Она надела очаровательное платьице, которое еще ни разу здесь не надевала, зеленое, с вышитыми серебряными и золотыми рыбками, и пошла в парикмахерскую. Нога болела, знобило, но день кричал, что надо жить.

Куафер попался какой-то неладный, подпалил прядь около уха.

Рядом причесывалась миловидная барышня, поворачивала стриженую головку на тонкой шейке, и Наташе вдруг надоели ее упругие локоны.

— Остригите меня, — сказала она.

Куафер радостно зашелкал ножницами: четыре раза в воздухе, один — в волосах.

"Нехорошо, — думала Наташа. — Очень темное у меня лицо, точно из больницы".

Барышня рядом была рыженькая. Не выкраситься ли?

Куафер очень одобрил эту мысль.

— В бронзовых английских тонах флейлен будет очень фajn!

Да, вышло хорошо.

Наташа медленно поворачивала перед зеркалом свою позолоченную змеиную головку. Какие огромные глаза!

Она с истинным восхищением рассматривала и расчесывала свои ресницы, очерчивала красным карандашом нежный рисунок рта. Радовалась, что видит себя такой красивой и, главное, совсем новой. Ах, как хорошо, что можно сделаться новой!

Она пошла на пляж, глядя на свое отражение во всех окнах.

Это вовсе не страстная драма, преступление или самоубийство, видимые причины которых кажутся сложными.

Фр. Морнак.

Несмотря на яркое солнце, день был холодный, ветренный. Поэтому и купальщиков было мало.

Наташа выбрала местечко подальше от публики, сняла башмак и чулок с больной ноги.

Песок был холодный, и ее сразу стало знобить, но она долго пролежала так, уставая, в полудремоте.

Кричали чайки. Мелкими звончками перезванивали детские голоса.

Толстый аббат с серым мягким лицом старой нянюшки прошел со своим молодым другом. Наташа уже встречала эту парочку. У старика были сентиментальные голубенькие глазки. Друг его, тоже священник, с плоской сутулой, как вопросительный знак, спиной, с непомерно длинной талией напоминал фигурой цирковую собаку в юбочке, стоящую на задних лапах. Лицо у него всегда было надменно приподнятое, глаза подчеркнуто целомудренно опущены. На шее под затылком — глянцевиные лиловые прыщи.

Старик остановился недалеко от Наташи и долго восторженно говорил о чем-то, указывая на небо и море.

Молодой слушал, не поднимая ресниц, и вдруг исподтишка метнул опущенным глазом на Наташину ногу, быстро, точно стащил и спрятал.

А старик все говорил о небе.

На небе в это время свершалась мистерия: неслись белые воздушно-облачные видения, туда, к горизонту, где залегло темное, недвижимое и неумолимое. Белые видения гасли, таяли, умирали и все-таки не останавливали своего жертвенного стремления...

Наташа заснула без сна, лишь в каком-то тихом звоне, и проснулась внезапно, точно кто позвал ее, и открыла глаза.

Прямо к ней, тяжело и осторожно шагая толстыми голыми ножками, шел крошечный рыжий мальчик. Он смеялся веселыми глазками, и верхняя губка его надулась, словно припухла, и маленькие ямочки дрожали в углах рта.

Глядя на это приближающееся к ней ужасное своим сходством милое личико, Наташа задрожала от отчаяния. Она вытянула руки, словно защищаясь от страшного призрака, и голосом ночных кошмаров, срывным и придушенным, закричала:

— Прочь! Прочь! Не хочу! Прочь!

Испуганный ее криком ребенок остановился, сморщил глаза и нос, и губки его посинели от плача.

А Наташа упала грудью на песок и зарыдала громко, с визгом, вся трясаясь и дергаясь.

Пляж уж начал пустеть — наступало время завтрака, когда она пошла домой. Распухшая нога болела, и Наташа присела на скамейку берегового бульварчика.

— Она?

— Не может быть...

Голоса были русские.

— Она!

— Наташка — ты?

Перед ней загорелые, черные, как арапчата, стояли Шурка и Мурка. Круглые их глаза глядели на нее испуганно.

— Господи! Да что же это с тобой? — ахала Шурка. — Какая ты страшная! Рыжая, зареванная!

— У меня нога болит, — жалко улыбнувшись, ответила Наташа.

— Господи! Она стала рыжая оттого, что у нее нога болит! Ничего не понимаю. Деньги-то у тебя есть?

— Не беда, — прервала Мурка. — Мы здесь танцуем в "Павильоне". Через пять дней получаем деньги и — марш в Париж. Тогда мы вас прихватим с собой...

— Да как тебя сюда занесло? — продолжала удивляться Шурка. — А Манельша тебя по всему Парижу разыскивает.

"Манельша... разыскивает, — пронеслось в голове Наташи. — Ах, да! Костюмы..."

— С чего же она взяла, что я... — пробормотала она.

— Именно решила, чтоб тебя, — радостно прервала Шурка. — Брюнето женился на Вэра. Открывают свою мастерскую. Вэра утащила у Манельши все лучшие модели, которые сама показывала и которые ты показывала. Но Манельша не желает подымать никакого скандала и надумала сделать тебя директрисой. Говорит, что ты очень дельная и очень приличная, словом — влюбилась в тебя. А ты тут нюнишь!..

— А Любаша-то бедная! — прервала ее Мурка. — Какой ужас!

— А, что? — устало спросила Наташа.

— Как — что? Разве ты не знаешь? Господи, она ничего и не знает! Все газеты только об этом и пишут. Зарезали ее.

— Задушили, а не зарезали. С целью грабежа, — вставила Мурка.

— Не с целью грабежа, — перебила Шурка. — Там как-то иначе, по-юридически... С целью симуляции грабежа... Вот как.

— По подозрению арестован Жоржик Бублик — знаешь? Ну, наверное, знаешь.

Обе торопились, перебивая друг друга.

— Настоящая фамилия — Бубелик. Это так прозвали Бублик. а он — Бубелик. Латыш, что ли.

— Не латыш, а латвийский подданный. Это разница. Да вы его, наверное, знаете...

— Все лето таскался за Любашей по всем ресторанам, такой подлец! Стой, Мурка, у тебя же была газета... та, французская... Да посмотри в сумке.

Мурка раскрыла вышитую купальную сумку, набитую всякой балетной тряпухой.

— Да ведь была же! — волновалась Шурка.

— Постой, а это что?

Мурка выхватила из рук Шурки газетный сверток и, вытащив из него грязные балетные туфли, развернула.

— Ну, кто же ее знал, что это та самая, — сконфуженно пролепетала Шурка. — Ну, вот... смотри. Это "Matin". Вот "Gueorgui, Georges Bubelik". Вот он... смотри...

Голова... голая шея без воротничка, странно, точно от холода, сжатые плечи...

— Гастон.

Наташа устало смотрела на это лицо. Она была совсем спокойна. Как будто ей снова и снова рассказывают давно ей известную, совершенно для нее постороннюю историю. Только сердце колотилось отчаянно — но оно жило своей жизнью, и это биение его было чисто физическое, потому что душа ее была совершенно спокойна.

Больше всего в настоящий момент интересовало Наташу ее собственное лицо. Ей почему-то казалось, что оно улыбается, и она со страшным усилием сжимала губы.

— Как это странно! Почему я так?

— Да, да, латвийский подданный, — перебивая друг друга, тараторили Шурка и Мурка. — Латвийский, без определенных занятий. Двадцати двух лет.

И вдруг обе вскинулись.

— А репетиция-то, Господи!

— Наташка! Приходи вечером в "Павильон". Или завтра на этом месте в одиннадцать.

— Нет, лучше приходите сегодня! Поболтаем, — говорила Мурка, машинально заворачивая туфли снова в ту же газету.

Наташа осталась одна. Закрыла глаза. И вот опять Шурка перед ней:

— Наташка, ты, может быть, расстроилась? Я сейчас только вспомнила, что он и за тобой бегал. А? Да ты плюнь. Такой мерзавец, он и тебя мог бы. Иди, голубка, отдохни! А я бегу...

— Значит, так, — думала Наташа. — Он убил Любашу, чтобы ограбить и вернуться ко мне. Тогда его казнят. Или он убил из ревности?

Она вспомнила обрывок письма. Ведь он сорвался схватить именно после этого письма.

Тогда его оправдают.

Его оправдают, но он — вернется ли он к ней? Он, значит, все время любил баронессу, однако был с ней, с Наташей. Значит, опять вернется к ней.

Но лучше всего, если убил из-за денег и сумеет вывернуться. Нужно, чтобы было так: убил из-за денег, но доказать, что убил из ревности.

Она, Наташа, может ему в этом помочь... Она покажет этот обрывок письма, может присочинить что-нибудь. Это так. Но сейчас важнее всего другое. Важнее всего понять, установить для самой себя: любил ли Гастон баронессу?..

Вспомнился разговор в дождливый день в ресторанчике: "Но если

заставить такую женщину полюбить..." Так, кажется, он сказал... "То нет высшего блаженства на свете". Да, да. Он сказал именно так. Но, пожалуй, что она-то его и не любила, а он только надеялся и представлял себе это "высшее блаженство".

Что бы там ни было, надо сейчас же ехать в Париж. Откладывать на пять дней невыносимо.

И еще одна возможность: ведь он арестован только по подозрению. Может быть, убил-то и не он?

Но они там будут снимать отпечатки пальцев, увидят его страшные руки.

— "Любаша задушена!" — сказала Мурка.

Усталость и скука. Так давно, давно она все это знала, что теперь, узнав в окончательный и последний раз, не чувствует ничего, кроме смертельной усталости и скуки.

Не печаль, не тоска, а вот именно то чувство, когда все то же самое долбит без конца, без конца...

Только вот сердце бьется так, что дышать трудно. Сердце само по себе, по своей воле отмечает что-то последнее и окончательное. Да еще этот странный смех, который растягивает ей губы и с которым она никак не может сладить.

24

*Жизнь — только блуждающая тень...
Это сказка, рассказанная идиотом, ко-
торая полна скандалов и ярости и ко-
торая ничего не значит.*

Шекспир. "Макбет".

Да. Ждать еще пять дней невыносимо. Надо сейчас же ехать в Париж. И главное, не теряться, ничего не забыть и ничего не перепутать, иначе она погибла. "О том" сейчас думать не надо. Сейчас надо ехать в Париж. Денег нет. А голландец? Немедленно идти в "Павильон". Сейчас время завтрака. Он там.

И она, спеша и спотыкаясь, побежала в ресторан.

Метрдотель не сразу ее узнал — так изменилась она от новой прически, от красных пятен на щеках, от заплаканных глаз — и, не узнав, повел на другую сторону террасы, но она, быстро повернувшись, направилась к своему обычному месту.

В ресторане было пусто. И главное — столик голландца был пуст.

— Где этот господин? — спросила Наташа и сама удивилась, как громко она говорит.

— Его нет, — ответил лакей.

И она сейчас же вскочила со стула, на который уже успела сесть, и бросилась к выходу.

Теперь было уже совершенно ясно, что голландец на пляже. Он,



значит, сегодня купается дольше обыкновенного. Надо бежать на пляж, не теряя ни минуты. Тогда она еще сегодня успеет уехать.

На пляже было уже совсем пусто. У самой воды одевалась какая-то личность из тех, что не берут кабинок, а купаются в тихое время прямо с берега. Личность напяливала белье на мокрое трико, и ветер вздувал парусом белую рубашу.

Подальше человек десять мальчишек, громко крича, гонялись друг за другом стаей мелкой рыбешки.

"Это, верно, русские мальчишки из моего сна", — подумала Наташа и озабоченно покачала головой.

"Сны входят в жизнь. Да. Вот уже сны входят в жизнь..."

Она быстро разыскала свою кабинку, разделась и натянула купальный костюм. Трико показалось холодным и сырым, и ее всю затрясло.

— Боже мой, до чего я больна! А ведь сегодня надо ехать...

Она старалась "главное, ничего не забыть и ничего не перепутать". Сейчас нужно было найти голландца и взять у него денег.

Она вышла из кабинки и пошла к тому месту, где они обычно купались, но по дороге споткнулась о вырытую детьми горку, упала на песок, закрыла глаза и точно мгновенно заснула. Может быть, всего на минутку. Но когда очнулась, сразу увидела своего голландца. Он стоял довольно далеко, пожалуй, дальше того места, где они всегда купались, и, очевидно, подстерегал момент, когда она откроет глаза, потому что сразу же сделал свой обычный пригласительный жест, склонив голову и вытянув руки, и тотчас исчез. Очевидно, прыгнул в море...

Наташа вошла в воду. Вода была холодная и странно сильная и

упругая. Не пускала к себе. Тяжело ударила в сердце, когда Наташа легла на волну. Но зато потом подняла ее и понесла на себе легко и свободно.

Голландца не было видно. Но справа гулко плеснуло — значит, он нырнул и сейчас, проплыв под ней, вынырнет слева. Обычная его игра. Быстро почувствовав усталость, Наташа повернула к берегу. Берег оказался дальше, чем она предполагала.

"Неужели я так долго плавала?"

Слева мелькнула рука голландца. Наташа повернула на этот знак. Но рука мелькнула снова уже справа, потом совсем далеко впереди блеснули ледяные стекла его пенсне.

"Пожалуй, все это мне кажется".

Но берег уходил все дальше. Это уже не казалось.

"Что же это такое?.. Ведь плыву-то я к берегу..."

Она посмотрела вниз, в мутное зеленое пространство. Увидела свое, сокращенное водой, маленькое, беспомощное тело, нежные, янтарного цвета ножки. И ей стало жаль этого беззащитного существа, судьбу которого она так давно, давно знала...

Она подняла голову. Да. Берег уходит от нее.

"Меня уносит в море, — спокойно подумала она. — Ну, что ж... Надо все-таки плыть к берегу".

Справа, довольно близко, показался пароход.

"Если он пройдет между мной и берегом, перережет мне путь и поднимет большую волну — мне не выплыть".

Пароход перерезал ее путь, направляясь к гавани, но волны не поднял, и Наташа поняла, как далеко отнесло ее от берега.

"Должно быть, я утону", — все так же спокойно подумала она.

И тут ей показалось, что нужно непременно что-то сделать такое, что всегда все делают, а она вдруг забыла. Что же это? Ах, да — надо помолиться.

— Господи! — сказала она. — Спаси, помилуй и сохрани рабу Твою Нат... да ведь не Наталья же я! Я Маруся, Мария...

И тут сразу же мгновенно вспомнила свой предутренний сон.

"Маруси еще нст", — шамкала бабушка.

"А когда же она прибу-у-дет?" — спрашивал дед.

Вот оно, это "у-у-у", так испугавшее ее во сне. Это "у-у-у" это — море. И как же она не поняла, что Маруся — и есть она. Но теперь уж совсем не страшно. Теперь только смертельная усталость. А что они ждут, так ведь это хорошо. Это очень хорошо, что и ее кто-то где-то ждет.

Но сейчас все-таки надо плыть. Надо доработать свое заказанное, положенное на земле.

Она снова заглянула вниз в зеленую бездну, снова увидела висящее над ней крошечное свое тело.

И ничего не было на свете. Ни жизни с Гастоном, ни любви к нему, к Гессу, к заблудшему мальчику, ни ужаса последних часов — ни-че-го. Она только спокойно удивлялась, как могло все это быть таким значительным и страшным!

Может быть, она еще и доплывет до берега. Но и это особого значения уже не имело.

И все-таки что-то нужно было. Выполнить какой-то старинный, далекий, вековой завет. Да... перекреститься нужно. Перекреститься. Просто: во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Она подняла руку и тотчас острая, жгучая боль ударила ее в дыхание, обожгла мозг, зеленым звоном заполнила мир.

И она еще раз дернула головой, ловя воздух.

Шторм продолжался два дня.

Суровый пахарь трудно водил тяжелым своим плугом, резал упругую сине-зеленую почву, и она, вздымаясь, опадала белой пылью в глубокие борозды.

На третий день, когда тело Наташи прибило к берегу, к рыбацкой стороне за купальнями, море было спокойно, и вечер, осененный ангельски-розовым крылом неба, благостно тих.

Нашли тело рыбаки, спустившиеся к берегу выправить сети.

Сынишка одного из них, увидев издали приподнятую головку Наташи, маленькую в облепивших ее коротких волосах, побежал к дому, радостно крича:

— Мальчика поймали! Мальчика поймали!

Этот серебряный детский голосок так чудесно прозвенел в вечернем затихшем воздухе, что стоявший на берегу толстый патер улыбнулся и повернул свое доброе лицо старой нянюшки к молодому другу.

На пляже было почти пусто. Публика, напуганная плохой погодой последних дней, очевидно, разъехалась. Несколько немцев, пожалуй, уже из местных жителей, сидели с газетами, подстелив коврики на сырой песок.

— Дело вступило в новую фазу, — сказал один из них, обращаясь к приятелю. — Арестован муж баронессы, дегенерат, почти идиот, живший на средства своей жены. "Со дня убийства, — начал читать немец, — барон ведет себя очень подозрительно. Он непрерывно смеется..."

Патер отвел своего друга подальше. Ему не хотелось, чтобы молодой человек слушал детали этой грязной парижской драмы дегенератов, великосветских кокоток и сутенеров.

Он показал ему розовую даль, обещающую чудесное счастье, и долго говорил о том, что день создан тоже по некоему образу и подобию, потому что рождается, живет и умирает. И что смерть сегодняшнего дня особо прекрасна, тиха и кристальна. Тихость моря и благость неба и даже мирный человеческий труд — вон там несут рыбаки что-то темное, должно быть, улов вечерний — и серебряный радостный голосок ребенка...

— Чудесна смерть твоя, отходящий день!

И так как был он не только сентиментальный поэт, но и священник, то, подняв руку как бы для благословения, произнес последние слова, обращаемые на земле к отходящему:

"In manus Tuas, Domine"¹.

¹ В руки твои, Господи (лат.).

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

ВОТ И ВЕРЬ ИМ!

Я не понимаю, почему к нашему труду так относятся. Я учусь в 8-м классе. Нам сказали, что мы два раза будем ездить в совхоз собирать картофель. Говорили: "Заплатим хорошо, вы уж постарайтесь". А после того как мы первый раз съездили, нам сказали: "За девять корзин (одна корзина 12 кг) мы вам заплатим 80—90 копеек". Ну скажите, что нам остается делать? Мы, конечно, сказали, что это несправедливо, но нам ответили: "Будете выяснять — вообще ничего не заплатим". Все взрослые говорят, что к нам надо относиться чутко, помогать нам, подросткам, что мы — будущее поколение. А сами вот что вытворяют. Вот и верь им после этого.

Ира С.,
Карельская АССР

А Я НЕ УМЕЮ

Мне 16 лет. Для кого-то это мало, а я считаю — слишком много. Возможно, это звучит глупо, но я боюсь жить. Да-да, я боюсь. Я слабый человек. И, честно говоря, мне нравится это, ведь я девушка. Но

мои друзья и взрослые говорят, что это плохо, что слабые не выживут в нашей системе, где нужно уметь дать в морду, завернуть крутое словцо, проломить лбом стену. А я не могу, не умею. Мои родители не научили меня этому, а теперь сами же и обвиняют. Оказывается, никому не нужно мое умение прощать, ждать, терпеть, любить. Моя мама вздыхает и горестно стонет: "До чего же ты не приспособлена к жизни". И я боюсь. Боюсь, когда покупаю в магазине продукты, что продавщица накричит на меня ни с того, ни с сего, боюсь вечером выйти на улицу. Я не могу ударить человека. Иногда от безудержной злости и непонимания я реву. Нет, вы не подумайте, что я совсем каша. У меня есть собственное достоинство. Но я не могу понять, почему наши "бедные" пенсионеры кроют матом в автобусах и троллейбусах нашу "несчастную" молодежь, а эта "несчастливая" молодежь избивает в подворотнях "бедных" пенсионеров. Я не могу понять, за что нас ненавидят учителя. Ну не все, конечно.

Я люблю помогать людям и знаю, что могу помочь. Но в последнее время я чувствую, что нужна лишь как пилюля. Даже парень, который гово-

рил, что любит меня, сказал недавно: "Людам не всегда бывает плохо, и нужно уметь разделить с ними и радость".

Только вы уж не думайте, что я такая старомодная. Я люблю современные фильмы, музыку... Но может быть, есть такие люди, как я, и, прочитав это письмо, они не будут чувствовать себя одинокими?

Катя С.,
Саратов

МЕНЯ ВСЕ НЕНАВИДЯТ

Я живу в небольшом городке с мамой и младшей сестрой. Я себя не считаю плохой, а остальные считают. Мне 14 лет, я учусь в 9-м классе. Меня в школе ненавидят. Была у меня подружка, но она тоже увидела во мне плохого человека. Я очень плохо учусь. Все мальчишки в классе бьют меня, и с возрастом все сильнее. Некоторые говорят: "Ты как пугало огородное". Или чего хуже. Всюду меня пихают, бьют, оскорбляют. Я не могу за себя постоять, потому что я одна. Меня ненавидят за мой нос. У меня там что-то воспалено, и из него постоянно течет. Я вовремя его не вытирала, а теперь мне некуда деваться.

Оля Я.

ХОЧУ ТВЕРДО ЗНАТЬ...

Учусь я в 8-м классе. Знаете, взяла я в руки первый номер журнала "МБГ" и даже сердце защемило, когда посмотрела на обложку. Еще немного, и я разреvelась бы. Почему мои же подруги дружат с парнями и счастливы, и эти годы запомнятся им на всю жизнь. Почему со мной не дружит ни один мальчишка? Потому что я не гуляю всю ночь и не хожу на танцы? Почему так?

Я хочу, что-бы у меня был настоящий друг, хочу твердо знать, что на свете есть человек, который не бросит тебя никогда...

Лена,
Псковская область

ВЕРЮ В ПАРТИЮ

Я сторонник Горбачева, верю в партию, Ленина. Горжусь тем, что я комсомолец. Мне 18 лет, и иногда я жалею, что не родился раньше и не попал в Афганистан.

Я не понимаю тех людей, которые осуждают Горбачева. Ведь он предоставил нам гласность, теперь мы можем писать, высказывать все, что

хотим. В стране происходят грандиозные перемены. Социалистическое общество существует и развивается 70 лет, когда все другие создавались веками, и именно у нас не могло обойтись без ошибок, но, как говорится, "на ошибках учатся".

Я верю в партию и уверен, что она найдет выход из этого затруднительного положения.

Своей демократией Горбачев многим навредил, и поэтому у нас создают искусственный дефицит в промышленности. Должен заметить, что это им удастся и народ начинает возмущаться Президентом.

Мне категорически не нравится отношение к памяти Ленина. Великий человек, который сделал революцию ради нас, который не щадил ни сил, ни здоровья, а что теперь? Надругательство над памятниками ему. Разве этого он заслужил? Я не нахожу слов, как назвать эту серую массу неблагодарных.

О комсомоле хочу добавить только одно – побольше активности и энтузиазма.

Об Афганистане я лучше не буду говорить, я там не был, не мне судить, но когда его начинают ругать, мне становится больно в душе за ребят, которые выполняли интернациональный долг, а теперь, выходит, их зря туда послали.

Алексей САВИН,
Куйбышевская область

Эдмон Дантес, аббат Фарриа, Мерседес... Прославленные на весь мир и всеми нами любимые литературные герои. И в то же время мало кому известны имена людей, чьи все без исключения трагические судьбы и легли в основу знаменитого романа Александра Дюма. Франциск Пико, аббат Люше, Тереза Вигуру... Именно они были участниками тех драматических событий, которые начались в феврале 1801 года в Париже и в которых так тесно переплелись любовь, предательство и преступления. А вот о том, кем были эти люди и чем так прославились, если на них обратил внимание сам Дюма, мы и хотим рассказать вам в предлагаемой ниже своеобразной хронике того теперь уже так далекого от нас времени.

В те февральские дни 1801 года в Париже царил веселье. И надо сказать, что у парижан было для этого две весьма веские причины: ранняя, теплая весна и очередная блистательная победа французской дипломатии. Отбрав у Австрии под предлогом мирного договора левый берег Рейна, Бельгию и Люксембург, первый консул в который уже раз недвусмысленно показал всей

НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО... ИЛИ ИСПОВЕДЬ ПРЕСТУПНИКА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Александр УШАКОВ

Европе, что с ним шутки плохи. И пока притихшая под яростным натиском корсиканского беженца Европа приходила в себя, французские банкиры довольно потирали руки в предвкушении будущих барышей.

Тридцатипятилетний парижский сапожник Франциск Пико в силу своих занятий был весьма далек от политики и никогда не связывал свои планы на будущее с захватом Бельгии и оккупацией Пьемонта. Вполне даже возможно, что он и не подозревал о его существовании. И тем не менее в один из тех весенних дней он был счастлив ничуть не меньше, нежели, скажем, сам Талейран после того как практически ограбивший Австрию среди бела дня новый мирный договор был подписан братом первого консула Жозефом Бонапартом и австрийским дипломатом Людвигом Кобенцем. А все дело было в том, что наконец-то сама Тереза Вигуру согласилась стать его женой. И, наверное, не стоит строго судить Франциска Пико за то, что в тот исторический для Франции день он был рад больше все-таки за себя. Ведь Франциск был влюблен, а все влюбленные, как известно, живут по своим, понятным только им законам, и их, как пра-

вило, волнуют только собственные победы и поражения. И что им в принципе до какого-то там левого берега Рейна и покоренного Люксембурга...

Итак, Франциск Пико был счастлив. А счастье, как известно, почти всегда требует того, чтобы о нем рассказали другим. А с кем же было поделиться своим счастьем Пико, как не со своими лучшими друзьями, которых он, кстати, не видел уже целую вечность, проводя все свободное время в последние недели с Терезой? И теперь, выйдя из дома своей невесты, Франциск сделал то, что на его месте сделал бы любой другой мужчина: он направился к друзьям.

Как и обычно, в тот вечер четверо приятелей Франциска, или, вернее, те люди, коих он причислял к своим лучшим друзьям, собрались в небольшом кафе на площади Святой Удачи, которое принадлежало одному из них по имени Матвей Лупиан. И в тот час, когда счастливый Франциск вышел от своей будущей супруги, они торжественно восседали за массивным круглым столом, вынесенным Матвеем по случаю теплой погоды на улицу, на котором стояло несколько бутылок

старого бургундского, которое прижимистый Матвей позволял себе, а значит, и своим друзьям, употреблять только по праздникам. Справедливости ради надо заметить, что и всем этим людям не было в принципе никакого дела до захваченных Францией Бельгии и Люксембурга, но, согласитесь, повод есть повод...

Приятели уже пропустили по два стаканчика этого превосходного вина, напоминавшего им о залитых солнцем виноградниках Бургундии, и теперь внимательно слушали Марселя Шобара, человека очень высокого роста, с худыми, длинными руками и впалой грудью, оживленно рассказывающего ставшим уже историческим анекдот о том, как тонко повел себя первый консул во время встречи с австрийским дипломатом Людвигом Кобенцлем. При этом Шобар рассказывал об этом с таким видом, как будто это именно он, Марсель Шобар, человек, никогда не блиставший ничем даже на фоне своих довольно тусклых приятелей, ввел в тот исторический вечер австрийского дипломата в комнату, где его ожидал Наполеон, а вовсе не князь Талейран.

— Представляете себе, — говорил Шобар, держа в слегка подрагивавшей руке стакан с вином, — вид этого Кобенцля? Вошел в комнату, а в ней нет ни одного кресла! Так и простоял всю аудиенцию перед столом, за которым сидел первый консул...

— Что и говорить, — хихикнул сидевший напротив Шобара Антуан Аллют, лицо которого недвусмысленно выдавало склонность его обладателя к горячительным напиткам, — хитро

придумано! И я предлагаю, — поднял свой стакан Аллют, — выпить за здоровье первого консула!

Не успели друзья поставить пустые стаканы на стол, как им сразу же предоставилась возможность наполнить их снова, так как в эту минуту к столу подошел неизвестно откуда взявшийся Франциск Пико.

— Ого, какой редкий гость! — громко воскликнул, вставая из-за стола, Матвей Лупиан. — Какими судьбами, Франциск? Вспомнил наконец своих товарищей?

— А я их никогда и не забывал, — улыбнулся Франциск, пожимая правой рукой руку Матвея, а левой слегка обнимая его.

— Рассказывай! — хлопнул Франциска по плечу Шобар. — Если бы не забыл, приходил бы почаще!

— Уж не взяла ли тебя в плен какая-нибудь красавица? — хихикнул в свою очередь Пьер Соляри. — А, Франциск?

— Кто знает, — многозначительно улыбаясь, пожал плечами Пико, — может, и взяла...

— Да ты что, — в упор глядя на Франциска своими пронизательными глазами торговца, уже серьезно спросил Лупиан, — никак жениться собрался?

— Да, ребята, это правда, — выдержав довольно значительную паузу, спокойно ответил Франциск.

Услышав такое неожиданное известие, друзья начали наперебой поздравлять Франциска. И только Антуан Аллют не принимал участия в общем веселье, как человек, познавший на своем горьком опыте, что такое злая жена. И теперь он, стоя в стороне от об-

нимавших и хлопавших Пико по спине и плечам друзей и скептически глядя на всеобщее оживление, хмуро бурчал себе под нос:

— Нашел чему радоваться, чу-дак... Подожди, пройдет год, и ты запоешь совсем по-другому...

— Да будет тебе скулить, Антуан, — махнул на него рукой Шобар, — не всем же достаются такие подарки, как твоя Франсуаза!

Это его замечание было встречено дружным хохотом: ибо сварливость жены Аллюта уже вошла у друзей в пословицу.

— Кстати, — продолжал, прекратив хохотать, Шобар, — а можно нам узнать имя твоей будущей жены, Франциск, или ты будешь держать его в секрете даже от нас?

— И в самом деле, Франциск, — пробасил Матвей, — кто это счастливое создание, отхватившее такого молодца?

Франциск, находившийся под вопросительными взглядами всех четверых друзей, не спешил с ответом. Он так давно ждал этой минуты, что теперь, когда она наконец настала, ему хотелось немного потянуть со своим торжеством. Выдержав довольно значительную паузу и стараясь казаться совершенно спокойным, он с несколько нарочитой небрежностью произнес:

— Тереза Вигуру!

Если бы мы сказали, что это известие изумило всех без исключения друзей Франциска, то мы бы, наверное, сильно погрешили против истины, ибо два этих простых слова, произнесенные Франциском, буквально ошарашили их. Вполне возможно, что если бы в этот момент Сена вышла

из берегов и затопила бы кафе Лупиана, все они удивились бы намного меньше. И в самом деле, как же это могло случиться, что одна из самых богатых невест района, в котором они жили, достанется этому простому сапожнику, едва сводящему концы с концами? Значит, ему достанутся и те сто тысяч франков, которые отец Терезы давал ей в приданое!

От радостного возбуждения, еще несколько секунд назад царившего в кафе, после этого известия не осталось и следа. Ведь теперь перед Шобаром, Лупианом, Соляри и Аллютом стоял уже не простой парень, перед которым каждый из них чувствовал пусть небольшое, но все же превосходство, вполне достаточное для удовлетворения их мелкого тщеславия, а состоятельный человек, который, как это все вдруг поняли, к тому же и ограбил их. Да, да, именно ограбил, ибо никто из этой четверки, за исключением женатого Аллюта, был не прочь и сам породниться с богатыми Вигуру и в своих далеко идущих мечтах уже не раз пересчитывал их денежки. А теперь...

Сильнее всех был ошарашен неожиданным известием Матвей Лупиан, который, будучи уже вдовцом, тем не менее считал, что именно он и никто другой наиболее подходящая партия для только что распустившейся красавицы Терезы. И вот, на тебе! Буквально из-под носа у него увели невесту! И кто? Какой-то сапожник, день и ночь гнувшийся над своими заготовками для туфель, тапочек и черт знает еще для чего! Да, это был удар так удар, и последствия этого удара дали себя знать немедленно. Уже

не лукавство и добродушие светились в темных глазах владельца кафе, в них загорелся мрачный и не предвещающий ничего хорошего огонь злой ненависти к этому бедняку, обворовавшему его.

Приблизительно такие же чувства испытывали и остальные "друзья". А Франциск, по-своему истолковавший замешательство друзей и вдоволь насладившийся произведенным эффектом, наконец проговорил:

— В следующий вторник, в пять часов, мы ждем вас к обеду в Сент-Лье, а затем приглашаю всех на свадебный бал на улицу Урс! Придете?

— Да... конечно... — нестройно скорее пролепетали, нежели ответили ему Шобар и Матвей.

— Ну вот и договорились! — улыбнулся Франциск. — Итак, до вторника!

Франциск пожал руки все еще не пришедшим в себя приятелям и среди гробового молчания покинул кафе. Напряжение было так велико, что даже после его ухода все продолжали хранить неловкое молчание, избегая смотреть друг другу в глаза. Но вот, наконец, Шобар, нарушив тишину, хмуро пробурчал:

— Да-а... договорились...

И в то же мгновение Лупиан, словно раненый зверь, проревел:

— Этому не бывать никогда!

— А чем ты ему помешаешь? — иронично усмехнулся Шобар. — Отговоришь Терезу? Так это надо было делать раньше!

— И в самом деле, чем? — переспросил Соляри, в душе которого при выкрике Матвея снова забрезжила надежда.

Лупиан угрюмо обвел взглядом всех троих приятелей, словно видел их в первый раз и теперь оценивал, на что они способны. Все трое были серьезны и сосредоточены. "Еще бы, — недобро усмехнулся про себя Матвей, — будешь серьезным, когда у тебя отнимут сто тысяч... Тем лучше, — решил он, оставшись довольным произведенным осмотром, — значит, спорить не будут..." Вслух же он произнес:

— Вы спрашиваете меня, как я это сделаю? Да очень просто. Сейчас мы вместе напишем письмо в политическую полицию, в котором сообщим, что сапожник Франциск Пико вовсе не сапожник, а...

— А кто же он? — не выдержал Антуан Аллют, перебив Матвея.

Матвей недовольно взглянул на Аллюта и, понизив голос, договорил:

— ...а лангедокский дворянин, являющийся английским шпионом... Вот и все...

Лупиан шумно выдохнул, словно сбросив с себя тяжелый груз, и взглянул на пораженных услышанным друзей. Уж чего-чего, а такого они услышать не ожидали и теперь, растерянные, молчали, стараясь не смотреть в глаза Лупиану. Что и говорить, страшное дело замыслил Лупиан. Да сейчас, когда Англия всячески помогала превратившейся в раковую опухоль на теле республики Вандее бороться с Наполеоном, о таком и подумать-то страшно, а тут... Ведь Франциск, будучи обвинен в таком страшном преступлении, мог лишиться не только Терезы, но и самой жизни...

Первым заговорил Аллют.

— Послушай, Матвей, — спро-

сил он, — а тебе не кажется, что это называется подлостью? И я, — оглядев друзей, продолжал он, — в этой грязной игре участвовать не собираюсь, да и вам не советую...

Лупиан досадливо поморщился. Речь идет о ста тысячах, а этот блаженный толкует о морали. Какая, к черту, тут может быть еще мораль? Но видя то, как подействовали слова Аллюта на приятелей, он решил изменить тактику. Усмехнувшись, он добродушно произнес:

— Ну что так разволновался, старина? Шутки перестал понимать? Неужели ты и в самом деле думаешь, что мы способны на такое? Чудак! Да и потом, — развел он руками, — ты думаешь, что в полиции сидят такие недотепы, что не в силах отличить сапожника от дворянина?

Видя все еще недоверчивое выражение на лице Аллюта, Матвей громко расхохотался и хлопнул того по плечу.

— Давай лучше выпьем! — предложил он, направляясь к столу и наполняя стаканы вином. — За Франциска и Терезу Пико!

Надо сказать, что этот тост особого энтузиазма ни у кого, кроме Аллюта, не вызвал, хотя все, зная, что у Матвея на уме, выпили. Матвей сразу налил еще.

— И как не порадоваться за товарища? — снова заговорил он. — Ведь он теперь стал богачом, правда, он парень ничего и, я думаю, не зазнается, в случае чего может и займы дать...

Он еще долго и много говорил о том, что даже сто тысяч франков не смогут испортить такого прекрасного товарища, каким для всех являлся Франциск и что

деньги не самое главное в этой жизни, а куда важнее оставаться честными всегда и во всем. И хотя говорил он это в основном для Аллюта, Матвей не переставал незаметно следить за тем эффектом, который его разглагольствования о ста тысячах производили на остальных. И чем больше он говорил, тем лучше видел, что этих уговаривать ему будет не надо.

Приблизительно через час, провожая едва державшегося на ногах Аллюта, Матвей, протягивая ему бутылку, говорил:

— А это возьми домой, выпьешь завтра с женошкой за наше здоровье...

Проводив Аллюта и плотно закрыв дверь кафе, Лупиан быстро вернулся к ожидавшим его друзьям.

— Ну а теперь, — проговорил он совсем другим голосом, — за работу.

Комиссар Було уже собирался уходить домой, когда к нему в кабинет зашел дежурный. Протянув комиссару плотный небольшой конверт, он коротко пояснил:

— Вам, мсье комиссар...

— Благодарю вас, Дюпен! Вы можете идти...

Как только за дежурным закрылась дверь, Було взглянул на конверт. На нем четким крупным почерком было написано: "Комиссару политической полиции Було. Дело особой государственной важности". Було недовольно хмыкнул и опустился в кресло. Вот и все, прощай свободный вечер, в кои-то веки он хотел было посидеть вместе с женой у старого приятеля и на тебе: дело государственной важности.

Но надежда, как говорится, умирает последней, и комиссар, в глубине души все еще надеясь, что ничего серьезного в присланном ему письме не окажется, разрезал конверт. Но уже с первых прочитанных им строк он понял, что беседу с приятелем ему придется отложить до лучших времен. "Преданный друг республики, — читал он, — извещает господина полицейского комиссара о том, что живущий в Париже по такому-то адресу под именем Франциска Пико человек, на самом деле является лангедокским дворянином и английским резидентом. Мне, — извещал дальше преданный друг республики, — приходилось неоднократно слышать разговоры мнимого сапожника на английском языке, которые он, по всей видимости, вел со своими агентами..."

Далее в письме приводилось еще несколько доказательств странного поведения Франциска Пико, которое никак не соответствовало занятиям скромного сапожника. Подписи в письме не было. Вернее, была, но ни о чем не говорящая: все тот же "преданный друг республики"...

Будто прочитал письмо дважды и подумал о том, что теперь у него есть все шансы продвинуться по службе, напомнив о себе начальству расследованием такого громкого дела, каким обещало стать дело этого мнимого сапожника. Пора, давно пора ему покинуть это, давно ставшее для него тесным кресло, которое он занимал до сих пор.

Будто был так возбужден предстоящим расследованием, что даже не стал вызывать дежурного, а сам направился к нему на

первый этаж. Спустя десять минут трое агентов политической полиции отправились по адресу, указанному в письме "другом республики", в закрытой карете, предназначенной для перевоза особо опасных преступников.

Агенты были весьма искушенными в своем деле людьми. Во избежание всяких неожиданностей они не стали подъезжать к дому, в котором жил Пико, а остановили карету за квартал от его жилища. Словно три зловещие тени, они бесшумно и в то же время быстро направились к нужному им дому.

Франциска разбудил стук в дверь. "Кто бы это мог быть?" — недовольно подумал он, зажигая свечу и посмотрев на часы. Было половина второго. Но в то же мгновение недовольство сменилось вдруг тревогой. Уж не случилось ли чего с Терезой или с ее родителями? Подгоняемый тревогой, Франциск поспешил к двери и открыл ее. К великому изумлению Пико, в комнату, едва он открыл дверь, тут же ворвались трое рослых мужчин, закутанных в черные плащи и в надетых на самые глаза таких же черных шляпах. Двое из них крепко схватили Пико за руки, а третий проговорил низким голосом:

— Ведите себя тихо, всякое сопротивление бессмысленно!

В следующее мгновение на сапожника неувлимым движением надели наручники и посадили на кровать, а тот, кто предупредил его о том, что сопротивляться бесполезно, и, по-видимому, старший из этой троицы, иронично усмехнувшись, спросил у Франциска:

— Может быть, вы сами нам все покажете? Поверьте, так будет лучше!

Все еще не пришедший в себя от изумления Франциск подумал, что это или неудачная шутка в два часа ночи, или же к нему забрались грабители. Если это так, подумал Франциск, то они явно ошиблись адресом. Даже при всем желании ему нечего им отдать. И все же, немного опомнившись, он спросил:

— А что я вам должен показать?

— Шифры, переписку, документы... — последовал быстрый ответ.

Если бы у произнесшего эти слова человека вслед за ними из рта вылетело бы пламя, Пико, наверное, и то меньше бы удивился. Неужели это все же нелепая шутка? Он взглянул в лицо старшего троюшки. Оно было совершенно серьезным. Тогда Пико решил, что он ослышался, и неуверенно спросил:

— Вы сказали, шифры?

— Да, да, милый мой сапожник, я сказал шифры, переписку и документы!

Окончательно сбитый с толку, Пико только пожал плечами.

— Извините, но я не понимаю, о чем вы...

— Что ж, — снова иронично усмехнулся старший, — тем хуже для вас...

Тщательный обыск квартиры сапожника, который велся в течение почти трех часов, ничего, естественно, не дал. Однако отсутствие результата ни в малейшей степени не огорчило старшего группы. Он, по его словам, и не надеялся ничего найти, ибо такая крупная птица, как этот мнимый сапожник, вряд ли стал бы прятать

компрометирующие его материалы у себя в гнездышке.

— Ладно, — в конце концов махнул он рукой, когда был осмотрен буквально каждый сантиметр занимаемой Пико площади, — поехали к комиссару.

Через минуту Пико, недоумевающего, что имел ввиду полицейский — а в том, что это были полицейские, он теперь не сомневался — под словами "мнимый сапожник", закутали в собственный плащ, надвинули на глаза его же шляпу и, предупредив, что при попытке к бегству или желании позвать на помощь его просто-напросто пристрелят, вывели на улицу. Еще через минуту он, зажатый с двух сторон агентами, сидел в наглухо закрытой карете, мерно катившейся по парижской мостовой навстречу своей несчастной судьбе.

Последующие дни слились для Франциска в один бесконечный, кошмарный сон. Его допрашивали, уговаривали сознаться, грозили, обещали помиловать, снова допрашивали и снова грозили... А Пико даже ни от чего не отрекался, он просто молчал. Но чем больше он молчал, тем сильнее неистовствовали следовательно, которых теперь было несколько и которые вели допросы чуть ли не круглые сутки, сменяясь по несколько раз в течение дня и ночи. В конце концов несчастный Пико уразумел, что его обвиняют в шпионаже в пользу Англии и в посредничестве с Вандеей. Поначалу он было подумал, что над ним опять пытаются подшутить, но чем дальше продвигалось "расследование" и чем злее становились следователи, тем отчетливее он понимал, что все это да-

леко не шутка и что дела его обстоят очень плохо.

Допросы продолжались еще неделю. Но в протоколах следствия так и не появилось ни строчки. Пико молчал по той простой причине, что ему было нечего сказать.

Еще через неделю над ним состоялся закрытый суд, который приговорил мнимого английского резидента к пожизненному заключению в специальной тюрьме для особо опасных преступников в Италии, куда он и был вывезен спустя еще несколько дней после суда. Напрасно его друзья ходили в полицию и пытались выяснить, что случилось с бедным сапожником. Никто ничего не знал. Розыски Пико, которые вела местная полиция, не дали никаких результатов. Лишившись жениха, Тереза Вигуру целыми днями ходила с заплаканными глазами, и ее родители серьезно опасались, как бы она не заболела от тоски.

Но прошло время, и в районе площади Святой Удачи стали постепенно забывать о как в воду канувшем накануне собственной свадьбы несчастном сапожнике. Едва не умершая с тоски Тереза не только утешилась, но и вышла замуж за одного из лучших друзей Франциска Матвея Лупиана, припожившего в свое время немало усилий для розыска своего товарища и ее жениха. Получив в приданое сто тысяч, Лупиан вскоре открыл новое кафе, которое за короткий отрезок времени стало одним из лучших в Париже. Дела его процветали. К нему, как и прежде, по вечерам приходили Шобар и Соляри выпить винца и поболтать. О Пико они не говорили никогда. Антуан Аллют вскоре после ареста Франциска уехал

вместе с женой в Рим. Рассказать правду у него так и не хватило духа. К тому же он почти ничего не помнил о том, как уходил из кафе и чем закончился тот вечер. А когда уже после ареста Пико спросил об этом у Лупиана, тот прямо сказал ему, чтобы он забыл об этом деле раз и навсегда. Да, они написали и отослали письмо в полицию. Матвей и не скрывал этого. Но только, усмехнулся он, первым подписал то письмо именно он, Антуан Аллют, а затем уж все они. Правда, Матвей, понимая, что Аллюту придется нелегко на новом месте, и зная о его финансовых затруднениях, не пожалел для старого товарища тысячи франков и даже проводил его. Наверное, надо упомянуть и о том, что сто тысяч, полученные Лупианом в приданое, не сделали его скрягой, и его ближайшие друзья, Шобар и Соляри, никогда не платили за выпитое и съеденное в его кафе.

А жизнь тем временем шла своим чередом, готова новые сюрпризы всем без исключения действующим лицам этой, без преувеличения сказать, трагедии.

Фенестрельский замок в Неаполе пользовался дурной славой. Взрослые пугали им детей, и местные жители на вопросы приезжих о том, что творится за его толстыми стенами, предпочитали не отвечать. Все это было, конечно, не случайно, ибо в Фенестрельском замке находилась тюрьма для особо опасных преступников. Часто в одной камере сидели и уголовники и политические преступники. Начальство делало это с умыслом. Уголовники ненавидели политических, а те

в свою очередь отвечали им такой же неприязнью. Часто уголовники становились секретными осведомителями начальника тюрьмы и сообщали ему все, что они слышали от политических. Нередко в камерах случались и стычки между уголовниками и политическими, перераставшие в настоящие побоища, кончавшиеся зачастую увечьями и даже убийствами их участников. Начальство смотрело на все эти нарушения режима сквозь пальцы, справляя при этом свою выгоду. "Чем меньше их останется в живых, — цинично заявлял начальник тюрьмы, — тем меньше нам придется заботиться о них!"

И вот в одной из камер этой страшной тюрьмы в январе 1814 года умирал старый итальянский аббат, брошенный в замок много лет тому назад за свои свободлюбивые проповеди, призывавшие итальянцев на борьбу с Наполеоном, от которого после его заточения отвернулись все его родные.

Почти весь свой срок аббат содержался в общей камере среди самых отъявленных мошенников и убийц. Но вот уже неделю он находился в одиночке. Правда, и в этой камере он был не один. За ним ухаживал по собственной воле другой заключенный, с постоянно грустными глазами и изможденным лицом, на котором страдания отложили свои несмываемые следы. В одиночку же старика перевели перед смертью. Даже у циничного начальника тюрьмы не хватило духу отказать старику в таком небольшом удобстве, как смерть в одиночной камере. Но вполне возможно, что причина его либерализма лежала

совсем в другом, ведь стоял как-никак 1814 год, империя вот-вот должна была рухнуть, и ему не хотелось портить отношения с арестантами. Особенно с политическими. Уж кто-кто, а он-то хорошо знал, какую власть приобретали некоторые узники после падения того или иного монарха. Теперь же разница была в том, что должен был пасть император. И начальник тюрьмы не очень бы удивился, если бы кто-нибудь из его сегодняшних подопечных завтра вошел в правительство той или иной страны. Не стал он возражать и против того, чтобы за аббатом ухаживал и этот француз, приговоренный к пожизненному заключению...

Десятого января аббату стало совсем плохо. Он сделал знак своему товарищу сесть к нему на кровать и тихо сказал:

— Я умираю, сынок... Уже скоро... Не спорь со мной, — попросил больной, видя, что его товарищ собирается возражать, — сейчас не до этого... Так вот, — сделав паузу, продолжал аббат, — единственное, что я еще хочу в этом мире, так это усыновить тебя...

Сидевший на кровати аббата изумленно взглянул на него. Уж чего-чего, а такого последнего желания умирающего он не ожидал. Да и к чему это?

— Не бойся, — поняв состояние своего товарища, — мягко продолжал аббат, — я не сошел с ума, и это даже не прихоть. Слушай меня внимательно, Франциск. Как ты знаешь, все мои близкие отказались, или, вернее, отреклись от меня, и у меня нет ни одного законного наследника... А я богат, Франциск, я страшно богат,

у меня лежит много, очень много денег в Гамбургском и Английском банках, и если я усыновлю тебя, ты, рано или поздно выйдя из тюрьмы, получишь мои деньги на законном основании. Кроме того, вот, возьми, — протянул он Франциску листок бумаги, — здесь карта. С ее помощью ты найдешь клад. В нем алмазы и монеты, миланские дукаты, венецианские флорины, испанские квадрапулы, французские луидоры, английские гиней и... другие...

Аббат не договорил и бессильно откинулся на подушку. Полежав немного, он, собравшись с силами, продолжал:

— Даже по самым скромным подсчетам там лежит на семь миллионов франков... И тебе, и твоим детям, Франциск, хватит на всю жизнь. А я, умирая, буду гордиться тем, что мое имя носит такой человек, как ты. Все эти годы я наблюдал за тобой, Франциск, и полюбил тебя как сына. Сколько ты сделал для меня, рискуя собственной жизнью...

Аббат снова умолк, правда, на этот раз от волнения, с трудом сдерживая слезы.

— Ну что вы, отец, — не выдержал и растроганный Франциск, — какой там риск? Несколько тумачков да два удара ножа! Не стоит и говорить об этом...

— Нет, стоит, Франциск! — несколько торжественно произнес аббат, положив свою изможденную руку на руку своего нареченного сына. — Ни у кого не хватило смелости вступить за меня и дать отпор этим бандитам, когда они отнимали у меня пищу... и только ты сделал это...

Договорив эти слова, умираю-

щий, уже не в силах больше сдерживать волнение, заплакал. Франциск, понимая, что слова тут бессильны, молчал. Наконец аббат успокоился. Слабо улыбнувшись, он, глядя Франциску в глаза, с надеждой спросил:

— Ты согласен?

— Да, отец! — наклонившись к сухой руке аббата и целуя ее, ответил Франциск.

Больше они не сказали друг другу ни слова.

Когда надзиратель доложил начальнику тюрьмы о странной просьбе заключенных, тот сначала удивился, ибо такое впервые случилось в его практике, потом хотел послать их к черту, но затем, вспомнив, какое сейчас время, разрешил.

Тем же вечером в камере, где лежал больной, состоялся обряд усыновления, и приглашенный специально по этому поводу нотариус торжественно, насколько это, конечно, позволяла обстановка, объявил, что Франциск Пико отныне считается сыном аббата Люше и ему присваивается имя Иосиф Люше. Сразу после этого нотариус заверил завещание аббата, согласно которому все его сбережения переходили к его сыну, Иосифу Люше. Начальник тюрьмы, пожелавший лично присутствовать на этой комедии, ибо развлечения во вверенном ему учреждении были не часты, с трудом сдерживал смех, глядя на то, с какой серьезностью аббат подписывал завещание. Еще бы это было не смешно! В завещании стояли такие цифры, что если бы начальник тюрьмы и хотел бы поверить в серьезность всего происходящего, то вряд ли смог бы это сделать. Впрочем, его

мнение разделял и сам нотариус, который, покинув умирающего, только пожал плечами, что, мол, поделаешь, рехнулся старик.

Несчастный аббат умер на следующий день, и его сын Иосиф Люше собственноручно закрыл глаза осчастливившего его отца. Трудно сказать, что думал обо всем этом сам новоиспеченный Иосиф Люше. По всей вероятности, он и верил, и не верил в завещанные ему миллионы. Да и что было ему толку во всех этих богатствах, когда он был навеки погребен в этом каменном мешке, носящем название Фенестрельского замка? И ему, как и сотням других таких же несчастных, оставалось только одно: уповать на чудо, которое бы открыло перед ним двери его темницы. И такое чудо свершилось весной 1814 года, когда во Франции пало императорское правление, и все те, кто когда-либо совершил преступления против Наполеона, были выпущены на свободу.

В тот день, когда новоиспеченный Иосиф Люше снова увидел солнечный свет, он мало чем напоминал того жизнерадостного молодого человека, каким некогда вошел в ворота Фенестрельского замка, и теперь вряд ли бы кто узнал в этом молчаливом человеке с грустными глазами и гривой седых волос жениха Терезы Вигуру. Но самая главная перемена заключалась в том, что Люше изменился не только внешне, но и внутренне. В его груди, где некогда гнездились любовь и уважение к людям, теперь горел неугасимый мрачный огонь мести тем, по чьей милости он был брошен в тюрьму, и этот огонь требовал выхода.

Но прежде чем отправиться в Париж и узнать, кто же именно постарался так жестоко отделаться от него, Иосиф Люше должен был выяснить, является ли он на самом деле обладателем тех самых миллионов, которые ему завещал отец. И надо сказать, что Иосиф не очень бы удивился, узнав, что все это золото и деньги всего-навсего плод расстроенного долгим тюремным заключением человека. Но, как выяснилось уже в Гамбургском банке, миллионы свободолюбивого аббата действительно существовали, как существовал и клад, который Иосиф разыскал по данной ему отцом карте. Правда, клад он решил пока не трогать, ибо и без него был сказочно богат. Его годовой доход равнялся 600 тысячам франков. И Люше постоянно увеличивал его, вкладывая деньги в выгодные предприятия и банки. Его постоянно можно было видеть в Турине и Милане, в Гамбурге и Амстердаме, в Лондоне и Берлине. В его бумажнике всегда лежали миллион на текущие расходы и несколько редких алмазов приблизительно на такую же сумму. Одним словом, Иосиф Люше процветал. Он был всегда желанным гостем во многих лучших домах Италии, Англии, Германии и многих других европейских стран. Но если бы кто-нибудь со стороны наблюдал за поездками Люше по Европе, он очень бы удивился, заметив, что этот богатейший человек ни разу не побывал во Франции, словно такой страны и не существовало на свете. Но в конце концов такой наблюдатель, если бы он, конечно, был, пришел бы к выводу, что каждый живущий на свете человек имеет полное

право на собственные причуды, а уж такой богатый человек, каким являлся Иосиф Люше, — и тем более. Не удивились же многие компаньоны Люше, когда в один прекрасный день он вдруг заявил, что устал от дел и хочет совершить кругосветное путешествие на собственной яхте. Удивляться им, правда, пришлось позже, поскольку из этого несколько затянувшегося путешествия Иосиф Люше не вернулся никогда.

Для нашего же повествования исчезновение Иосифа Люше из деловой жизни Европы означает лишь то, что мы переходим ко второй части этой удивительной трагедии, действие которой, словно памятуя о том, что рано или поздно все возвращается на круги своя, хоть и несколько запоздало, но все же снова переходит туда, где началось: в Париж.

В одном из самых роскошных парижских кафе на площади Сент-Оппортюн было немногочисленно. Несколько, по всей видимости, влюбленных пар, которым по случаю плохой погоды было некуда больше идти, да три-четыре заведующие, среди которых выделялся некий метр Пишо, бывший владелец недавно разорившейся журнальной лавки, и сидевший в углу веранды никому не известный господин с пышной шевелюрой седых волос, спадавших ему на плечи. Выделялся же метр Пишо тем, что в отличие от всех остальных посетителей кафе — был изрядно пьян. И заметив присутствие в кафе нового человека в лице седоволосого, Пишо, не раздумывая, попросил разрешения присесть к нему за столик. Сделал он это по двум причинам:

во-первых, он надеялся, что его угостят, и во-вторых, у него появилась возможность излить свою уже наполненную с утра душу незнакомому человеку, так как знакомые уже давно перестали слушать его. Справедливости ради, надо отметить, что сразу набиваться в нахлебники он не стал, заказав себе рюмку дешевого вина. Минут через десять его сосед по столику уже знал душещипательную историю его разорения.

— И невольно возникает вопрос, — глядя седоволосому прямо в глаза, вопрошал метр Пишо, закончив свое повествование, — почему это случилось?

Задав этот риторический вопрос, Пишо умолк, ожидая объяснений своего собеседника на этот счет. Но тот, похоже, больше предпочитал слушать, нежели говорить, и только слегка пожал плечами вместо ответа.

— Да потому, — продолжал Пишо, горестно качая головой, — что я был слишком честным, а это в нашем мире лишнее... И не возражайте мне, — неожиданно повысил он голос, хотя седоволосый и не думал этого делать, — я знаю, что говорю! О если бы я был таким, как некоторые, — многозначительно поднял он указательный палец, — я бы никогда не разорился, я бы и сейчас жил припеваючи... Да что там далеко ходить, — почему-то подозрительно оглянувшись, перешел он вдруг на шепот, — взять хотя бы хозяина этого кафе, этого торгаша Лупиана...

Метр Пишо не договорил и только презрительно махнул рукой: мол, тут и говорить нечего.

— А вы что, — седоволосый

впервые с интересом взглянул на бывшего газетчика, — хорошо его знаете?

— Знаю? — усмехнулся тот. — Да я про него такое знаю, что другой на моем бы месте себе карьеру сделал, а я все молчу...

Пишо горестно вздохнул и надолго замолчал, по всей видимости, размышляя о своей тяжелой судьбе кристально честного человека. Во время этого молчания седоволосый внимательно и как бы испытующе смотрел на него.

— Извините, метр Пишо, — наконец нарушил он молчание, — что я обращаюсь к вам с просьбой, но все дело в том, что я хотел бы еще немного выпить, а один не могу... Вы не были бы так любезны разделить со мной компанию?

Пишо поднял мутные глаза на седоволосого и, помедлив для приличия еще несколько секунд, сделал головой таинственный знак, означавший, видимо, то, что он является человеком не только честным, но и в высшей степени любезным и не может отказать в такой просьбе такому все понимающему господину, каким, несомненно, является его сосед.

— Благодарю вас, — мягко улыбнулся седоволосый и, подождав гарсона, попросил принести две бутылки самого лучшего вина.

После второго стакана, уже окончательно теряя над собой контроль, Пишо снова вернулся к так волновавшей его теме.

— Да, — понизив голос, чуть ли не шептал он, — если бы я был такой же скотиной, как этот торгаш, наверное, я бы, а не он, женился на красавице Вигуру, а заодно прихватил бы и сто тысяч ее приданого...

— Тереза вышла замуж за Матвея? — с изумлением спросил седоволосый, перебив Пишо и недоверчиво глядя на него.

— Ну да, — продолжал как ни в чем не бывало тот, даже не замечив, что его сосед назвал чету Лупианов по именам, — а я что говорю! Конечно, вышла! И все денежки отдала ему до сантима...

Пишо снова налил вина и выпил.

— А ведь он, — неожиданно вдруг выпалил он, — совершил самое настоящее преступление... Об этом мне рассказывал его бывший друг Антуан Аллют. Так вот, — все более и более распляясь, продолжал Пишо, — лет пятнадцать тому назад у нас неожиданно исчез один сапожник, которого звали Франциск Пико. Так вот этот самый Пико и собирался жениться на Терезе, да сдуру рассказал друзьям о помолвке. Даже на свадьбу их пригласил. Ну а те, конечно, не захотели просто так отдать денежки какому-то там голодранцу, взяли да и написали донос на сапожника, якобы он вовсе не сапожник, а английский шпион. С тех пор Франциска и след простыл...

Пишо, видимо, посчитав, что настала пора снова наполнить стаканы, замолчал и потянулся к бутылке. Если в этот момент он был бы более трезв, а следовательно и более внимателен, то от него вряд ли бы укрылась та смертельная бледность, которая покрыла лицо его собеседника во время его рассказа.

— Ну а что же Тереза? — спросил седоволосый глухим голосом, когда обряд поглощения очередной порции алкоголя был исполнен.

— Что Тереза? — иронически переспросил Пишо. — А ничего! Сначала, конечно, поплакала, даже уверяла, что теперь ей не жить и все такое, а потом вышла замуж за Пулиана и живет теперь припеваючи! И вообще я вам скажу, бабы это такой народ, что...

И тут бывший газетчик, который, видимо, пострадал не только на коммерческом фронте, но и на фронте любовном, ударился в такую философию относительно женского пола, что в конце концов запутался сам. Каково же было его удивление, когда он вдруг заметил, что уже давно сидит за столом один и рассуждает сам с собой. Тут же он, как и всякий честный человек, обругал своего так внезапно исчезнувшего соседа, при этом, естественно забыв, что пил его вино, и тут же, за столом, уснул свинцовым сном мертвецки пьяного человека...

На следующий день после описываемых выше событий по дороге из Парижа в Лион быстро катила почтовая карета. Впереди нее во всю прыть мчался выехавший двумя часами раньше курьер, плативший на всех почтовых станциях тройные перегоны за свежих лошадей не только за себя, но и за следующего за ним пассажира почтовой кареты. Из Лиона, в который он был доставлен довольно скоро, неизвестный путешественник сразу же выехал в Ним. Прибыв в Ним, он остановился в самой лучшей гостинице города под именем аббата Бальдини. Собрав в течение следующего дня нужные ему сведения, он на третий день своего путешествия стучался в дверь небольшого домика на окраине города,

который, по всей видимости, и являлся конечной целью его поездки.

Открывшая дверь неряшливо одетая женщина в недоумении уставилась на аббата.

— Вы часом не ошиблись адресом, святой отец? — наконец спросила она хриплым, низким голосом.

— Если это дом господина Аллюта, то нет! — спокойно ответил аббат.

— Ну да, — еще более удивленным голосом проговорила женщина, — это его дом, и это так же точно, как и то, что я его жена!

— В таком случае, — сказал аббат, — я бы хотел поговорить с вами, госпожа Аллют, и с вашим мужем по весьма важному делу, которое и привело меня к вам...

— Да, конечно, святой отец, — уже не удивленно, а настороженно проговорила женщина, — прошу вас, проходите!

А навстречу аббату уже спешил сам Аллют, встревоженный не меньше жены посещением духовного лица. Уж кого-кого, а священника он ожидал меньше всего.

Войдя в комнату, аббат быстрым взглядом окинул убогое жилище четы Аллютов. Дела их, видимо, обстояли неважно. Хозяйка вытерла тряпкой единственное кресло с потертой, а местами и порванной обшивкой. Аббат, превозмогая брезгливость, сел. Сели и Аллют с женой. С минуту они молча смотрели друг на друга. Аллюты вопрошающе-тревожно, а аббат испытывающе.

Наконец аббат нарушил молчание.

— Если я не ошибаюсь, — ска-

зал он, — вы раньше жили в Париже...

Аллюты дружно закивали головами.

— А знали ли вы сапожника Франциска Пико? — спросил аббат, глядя главе семейства прямо в глаза.

От неожиданного вопроса Аллют даже вздрогнул и быстро обменялся многозначительным взглядом с женой. Он вдруг почувствовал сильное беспокойство: вдруг этот человек пришел отомстить ему за несчастного Пико. Облизав языком ставшие в одну секунду сухими губы, он, слегка пожав плечами, как-то тускло произнес:

— Да... мы были знакомы... А вы, что, его видели? — спросил он несколько быстрее, чем следовало бы.

— Да... — кивнул головой аббат, — видел...

Немного помолчав, Аллют робко спросил:

— И... что с ним стало?

— Он умер, — просто ответил аббат, — в тюрьме, где мы с ним сидели в одной камере...

— Мир праху его! — с заметным облегчением выдохнул из себя Аллют. — А чем мы можем вам служить?

— Видите ли, — продолжал аббат, от которого не ускользнуло то облегчение с которым теперь говорил Аллют, — перед смертью он исповедовался мне, так как наш тюремный священник был болен. Умирая, несчастный Пико жалел только об одном, о том, что так и не отомстил некоему Матвею Лупиану, по милости которого он и попал в тюрьму. Сокрушался он и о том, что не знает имен других негодяев, которые приложили к

этому руку, и, умирая, не сможет навек проклясть их. Затем он рассказал мне, что однажды в бреду какой-то глас сообщил ему, что все имена его врагов знает некий Антуан Аллют, который был его близким другом. И Пико, посчитав этот глас за высшую милость, посланную ему с небес, просил меня найти этого Антуана Аллюта, то есть, вас, узнать имена этих людей, если они, конечно, вам известны, и написать их на свинцовой пластинке на надгробье его могилы. И вот я у вас...

— А откуда мне это знать? — с каким-то вызовом спросил вновь засомневавшийся и мало веривший в глас божий Аллют.

Его жена напряженно молчала. Она интуицией чувствовала, что здесь что-то не так.

— Ничего я не знаю! — глянув на жену, еще раз произнес Аллют.

— Ну что ж, — аббат с этими словами встал, — очень жаль! Право, я теперь в большом затруднении, так как не знаю, что мне делать вот с этой вещичкой...

Аббат достал из кармана маленькую кожаную коробочку и вытащил из нее тончайшей работы перстень, который представлял собой чистейшей воды алмаз в искусной старинной оправе. Изумленные увиденным, Аллюты уставились на перстень, а аббат невозмутимо продолжал:

— Надо вам сказать, что вместе с нами в тюрьме сидел один очень богатый англичанин, которому ваш друг оказал много различных услуг, и тот, выходя на свободу, оставил ему в знак своей признательности вот этот перстень, который Пико завещал вам в случае, если вы, конечно, скажете имена предавших его людей. А теперь...

Аббат не договорил и только сожалеюще развел руками.

— Ладно, — продолжал он, пряча перстень в коробочку, — что-нибудь придумаю... И прошу извинить меня за то, что оторвал вас от дел и заставил вспомнить грустное прошлое. До свиданья!

Он медленно направился к выходу. Аллют с открытым ртом стоял на месте, ничего не соображая. Аббат уже было открыл входную дверь, как вдруг резкий женский крик заставил его обернуться.

— Пойдите, господин аббат, — бросилась к священнику жена Аллюта, — пойдите и простите нас, ради бога! Муж обманул вас, ему действительно известны имена этих мерзавцев! А ты что молчишь? — безо всякого перехода набросилась она на все еще находившегося в прострации Аллюта. — У тебя что, может быть, много денег и ты купаешься в золоте, как эта скотина Лупиан?

Но тот только беспомощно развел руками, что должно было, наверное, означать, что он никогда не купался в золоте, как эта скотина Лупиан.

— Говори же, черт бы тебя побрал! — злобно прохрипела его драгоценная половина.

— Простите, господин аббат, — неожиданно запричитал Аллют тонким фальцетом, — я не хотел вас обманывать! Но я... я просто испугался, вдруг мне будет плохо! Ведь я никто, а они все богатые люди...

— Да назови же их имена, идиот несчастный! — потеряв терпение, пресекла причитания мужа госпожа Аллют.

— Да, да, конечно... — согласно закивал головой Аллют. — Вот

они... Матвей Лупиан, Марсель Шобар и Пьер Соляри!

— А вы? — в упор спросил аббат строгим голосом.

— Я... я тоже, наверное, виноват...

Аллют, слегка побледнев, стал плаксивым голосом рассказывать аббату историю с доносом.

— Я был сразу против, — закончил он, — но они успокоили меня, сказав, что все это говорилось в шутку. А потом, когда я спросил Лупиана, почему пропал Пико, он ответил мне, чтобы я, если не хочу неприятностей, лучше помалкивал...

— И вы помалкивали! — не скрывая своего презрения, сурово произнес аббат.

— А что мне оставалось делать... — виновато взглянул на него Аллют.

— Вот вам ваш перстень! — аббат швырнул коробочку с перстнем на стол и, не прощаясь, вышел.

Аллют с женой, не зная, верить ли только что разыгравшейся у них на глазах сцене, словно замороженные, молча смотрели на стол, испытывая странное ощущение, что перстень так же внезапно пропадет, как и появился, и они опять останутся в своем убогом жилище один на один с бедностью.

Перстень, оставленный чете Аллютов якобы по завещанию Франциска Пико и на самом деле оказался очень ценным. Через несколько дней после посещения аббатом их жилища Аллюты продали его одному нимскому ювелиру за шестьдесят три тысячи франков. При заключении сделки ювелир божился, что дал несколько больше, нежели этот

перстень стоил. Однако клятва, данная им богу, не помешала ему продать этот же перстень богатому турецкому негодянту за сто две тысячи франков. И эта сделка оказалась последней в его жизни. Аллют, неведомо какими путями узнавший о новой цене перстня и посчитавший себя вследствие этого несправедливо ограбленным, в свою очередь ограбил этого ювелира, предварительно убив его. После начала следствия Аллют, понимая, что его вот-вот арестуют, бежал в Грецию, где вскоре и был схвачен и сослан в качестве наказания на галеры, что оказалось страшнее каторги. Вскоре умерла его жена от какой-то неведомой болезни. Проклиная все на свете, прикованный к веслам Аллют дал страшную клятву отомстить проклятому аббату за все те несчастья, которые он принес в его семью вместе с этим перстнем.

Наверное, и у преступников есть какой-то свой, неведомый другим людям бог. И именно этот бог, вняв денным и ночным молитвам Антуана Аллюта, дал ему шанс совершить практически невозможное: бежать с галер. И Аллют этот шанс не упустил. Правда, ему еще оставалось добраться до Франции, что для беглого каторжника было крайне сложным и опасным делом, но сделать это без цепей было все же легче. И пока Аллют изыскивал всевозможные пути нелегального переезда на родину, в Париже разворачивались основные события этой истории.

— Матвей, тебя ждет мадам де Боль! — послышался из гостиной голос Терезы.

Матвей Лупиан, еще более располневший и полысевший, недовольно пробурчал себе что-то под нос и начал одеваться. Когда же он появился в гостиной, то являл собой воплощение самой любезности. Он учтиво поцеловал руку мадам де Боль и с такой заинтересованностью расспросил ее о здоровье, как будто от него зависело все его благосостояние. Поговорив о здоровье и убедившись, что мадам де Боль ничего серьезного в ближайшее время не грозит, он перешел к обсуждению погоды.

Однако настроенная по-деловому мадам де Боль, мягко перебив Лупиана, быстро перешла к непосредственной цели своего визита.

— А ведь я к вам с просьбой, дорогой господин Лупиан! — с очаровательной улыбкой прервала она изъяснения Матвея о циклонах и температурах.

Чертыхнувшись про себя, Лупиан, не любивший, когда к нему обращаются с просьбами, тем не менее улыбнулся при этих словах так радостно, как будто, он полжизни ждал того момента, когда госпожа де Боль обратится к нему с просьбой.

— Вы же знаете, — любезно произнес он, — что мой долг — повиноваться вам! Я весь внимание!

— Вам известно, — перешла к делу просительница, — сколько нашей семье пришлось пережить в четырнадцатом году.

При этих словах Лупиан, изобразив на своем лице безмерную печаль, почтительно склонил голову.

— В те тяжелые для всех нас дни, — продолжала госпожа де

Боль, — нам очень помог один человек. Но сейчас он, к несчастью, разорился. Мы предложили ему с мужем выплачивать пенсию или что-нибудь еще в этом роде, но он и слышать об этом не хочет. Но у него есть желание служить где-нибудь в кафе или ресторане. Вот мы с мужем и подумали, не смогли бы вы...

— Конечно, смогу, — воспользовавшись небольшим замешательством гостей, быстро сказал Лупиан, довольный тем, что от него требуется такая мелочь, ибо отказывать становившейся вновь влиятельной фамилии де Болье ему не хотелось. — Думаю, что лучшей его характеристикой будет ваша рекомендация, — учтиво улыбнулся торговец. — На днях пришлите его ко мне...

— А он ждет внизу... — чарующе улыбаясь, прошептала мадам де Боль.

"Она и не сомневалась", — недовольно подумал про себя Лупиан, но вслух произнес совсем другое:

— Вот и прекрасно!

Он позвонил камердинеру и приказал привести ожидающего на первом этаже человека в гостиную.

Через минуту в комнату вошел рослый мужчина лет пятидесяти пяти, с совершенно седыми волосами и грустными глазами, довольно скромно, но опрятно одетый. Он поклонился всем сразу и коротко представился:

— Жюль Проспер!

Надо сказать, что новый слуга произвел на всех присутствующих самое благоприятное впечатление, и на Лупиана в том числе, который, несмотря на слова и уверения мадам де Боль, все же

гораздо больше доверял, как и всякий торговец, собственным глазам. Что ж, увидев "товар", он остался доволен и, желая скорее покончить с этим делом, сказал, обращаясь к Просперу:

— Я беру вас на работу в свое кафе, мсье Проспер... Сейчас камердинер покажет вашу комнату. К работе приступите завтра...

— Благодарю вас, судары! — слегка согнулся в поклоне Проспер перед своим новым хозяином. Затем, сделав шаг по направлению к мадам де Боль, он снова поклонился, правда, на этот раз несколько ниже. — Благодарю вас, мадам!

Когда за новым слугой и камердинером закрылась дверь, мадам де Боль снова обратилась к Лупиану:

— И вот еще что, дорогой господин Лупиан, ваш новый слуга будет получать сто франков в месяц, которые для него буду давать я. И не спорьте, — быстро добавила она, хотя Лупиан вовсе и не собирался с нею спорить, — я вас очень прошу!

С видом недовольного покорства Лупиан слегка пожал плечами:

— Как вам будет угодно, сударыня...

Так в дом Матвея Лупиана вошел Жюль Проспер, его новый слуга. Это случилось летом 1814 года.

Прошел год. Дела Лупиана процветали, и он уже подумывал о том, чтобы открыть филиал своего кафе в центре Парижа. Не мог нарадоваться он и на своего нового слугу Жюля Проспера, который оказался в высшей степени

разумным и воспитанным человеком. Он уже неоднократно оказывал весьма большие услуги своему хозяину, давая ему дельные советы, которые принесли Лупиану немало денег. Причем делал это Проспер так тонко и тактично, что иногда Лупиану казалось, что это его собственные идеи. Одним словом, все шло хорошо. Днем Лупиан занимался делами, а вечерами отдыхал в кругу своих верных друзей, уже нам известных Марсея Шобара и Пьера Соляри. Иногда Лупиан, подчеркивая свою демократичность, приглашал к столу Проспера, который, правда, как бы понимая, что он всего лишь слуга, почти всегда молчал, изредка отвечая на вопросы. Довольно часто приятели засиживались допоздна и расходились после полуночи.

Так было и в тот роковой для одного из них июньский вечер. Как обычно, друзья в тот вечер спорили о Ватерлоо и, основательно подогретые обильными возлияниями, проговорили почти до часу ночи. Первым опомнился Шобар. Взглянув на часы, он сразу же забыл и о Ватерлоо, и о Наполеоне, и о поражении Франции, не совсем, надо сказать, вовремя вспомнив о том, что дома его ждет собственное Ватерлоо в лице его дражайшей супруги, которой он уже неоднократно давал "честное" слово возвращаться домой не позднее десяти часов.

Лупиан, звавший о чуть ли не ежедневных баталиях своего товарища, в которых он уже более десяти лет безуспешно пытался обрести хотя бы относительную независимость, даже не стал предлагать ему остаться у него ночевать, как это обычно делал

Соляри, которому уже некуда было спешить, так как его супруга умерла три года назад.

— Может, разбудить Проспера, — на всякий случай предложил он, — чтобы он проводил тебя?

— Спасибо, Матвей, не надо, я сам прекрасно дойду, — отказался Шобар.

— Ну а выпить ты на дорогу, надеюсь, не откажешься? — наполнив стаканы вином, спросил Соляри.

— Это всегда можно, — усмехнулся Шобар, беря стакан и чокаясь с друзьями.

— Ты иди к себе, — сказал Лупиан Соляри, которому в его доме была отведена специальная комната, где он отсыпался после попок, — а я пойду немного пройдусь с Марселем, подышу свежим воздухом...

Когда Шобар с Матвеем ушли, Соляри, выпив еще небольшой стаканчик вина, медленно поднялся на второй этаж и лег в постель. Некоторое время он еще пролежал с открытыми глазами, размышляя о том, что все-таки лучше: иметь жену и в вечном страхе спешить каждый вечер домой в ожидании неизбежного скандала, как это делал уже на протяжении почти пятнадцати лет Шобар, или жить одному, как это делал после смерти своей супруги он, Пьер Соляри, и никуда никогда не спешить и ничего не бояться. Разрешить этот извечный почти для любого мужчины вопрос ему так и не удалось, ибо уже совсем скоро мысли его начали путаться, и он заснул мертвым сном хорошо подгулявшего человека.

Шобар не спеша шел по Артскому мосту и с удовольствием

втягивал в себя свежий ночной воздух, благо июнь стоял довольно прохладный. В кромешной тьме летней ночи реки почти не было видно, казалось, она слилась с этой кромешной тьмой, и только изредка она напоминала о своем существовании монотонным плеском волн.

В общем-то ночь стояла прекрасная, но на душе у Шобара скребли кошки. Он прекрасно знал, что сейчас все это ночное великолепие будет в одно мгновение разрушено отборной бранью, которой его встретит жена. И время от времени он тяжело вздыхал, вспоминая те благословенные дни, когда он мог просидеть с друзьями хоть целую ночь.

Приблизительно на середине моста Шобар, к своему великому удивлению, неожиданно столкнулся с каким-то высоким человеком в длинном темном плаще и надвинутой на самые глаза широкополой шляпе.

— Кто вы? — несколько испуганно проговорил Шобар, инстинктивно делая шаг назад. — Что вам угодно?

Человек в плаще не отвечал и не двигался с места. Шобару стало не по себе. Словно нарочно в это мгновение из-за туч выглянула прятавшаяся за ними целый вечер луна, и Шобар, теперь уже к своему ужасу, увидел, что лицо незнакомца спрятано под маской. А маски ночью просто так не надевают, и Шобару это было прекрасно известно. Догадываясь, что он имеет дело с грабителем, Шобар как-то робко улыбнулся и виновато развел руками.

— У меня ничего с собой нет... — изменившим ему голосом прошептал он.

— А мне ничего твоего и не надо, Марсель! — показавшимся Шобару знакомым, несмотря на весь его испуг, голосом ответил человек в маске.

"Слава богу! — с облегчением подумал Шобар. — Он знает меня... Значит, еще не все потеряно!"

— Кто вы? — спросил Шобар, тщетно слясь вспомнить, где и когда он слышал этот слегка насмешливый голос.

— Не узнаешь? — усмехнулся человек в маске. — Ну ничего, сейчас я тебе напомню, кто я такой!

С этими словами он неожиданно крепко схватил Шобара за воротник куртки и, с силой притянув его к себе, прошептал нечто такое, отчего Шобар побледнел как смерть. Тем временем незнакомец, продолжая держать Шобара левой рукой, молниеносным движением выхватил из-под плаща длинный итальянский кинжал. Увидев острое холодное лезвие, тускло блеснувшее в свете луны, Шобар, понимая, что жить ему осталось всего несколько секунд, из бледного превратился в серого и жалобно прохрипел, с ужасом чувствуя, что у него нет сил даже на то, чтобы закричать во весь голос:

— Пощади меня...

Договорить он не успел. Человек в маске коротко, без замаха, вонзил кинжал прямо ему в сердце, проедев сквозь зубы:

— Подыхай, Иуда!

После того как Шобар упал, убийца нагнулся к нему и заглянул в глаза. Марсель Шобар был мертв. Закатав рукава куртки и рубашки на правой руке трупа, человек в маске достал из карма-

на кусок угля и что-то написал на предплечье. Закончив свою работу, он встал, огляделся и, убедившись, что на мосту никого нет, исчез так же быстро, как и появился.

Несчастливого Шобара нашли только утром и сразу же вызвали полицию. Следствие началось.

Расследование этого в общем-то заурядного по полицейским меркам дела было поручено одному из лучших следователей парижской уголовной полиции Мишелю Перро.¹ И надо сказать, что у префекта полиции, принявшего такое решение, были на это все основания, ибо сделанная убийцей на руке трупа надпись "номер первый" не оставляла у него ни малейшего сомнения в том, что убийство на Артском мосту является только первым актом какой-то пока никому неведомой трагедии. К тому же префект, поручая расследование этого преступления опытному и умному следователю, надеялся как можно быстрее заткнуть рот газетам, в которых стали появляться статьи, озаглавленные приблизительно в таком стиле: "Полиция предупреждена. Появится ли номер второй?" На карту была поставлена честь уголовной полиции, и нельзя было допустить, чтобы эту карту побили. Перро, как и всегда, работал вдумчиво и спокойно, но, как никогда, безрезультатно, явно не оправдывая ожиданий префекта. Почти за два месяца он практически так и не сдвинулся с места. Конечно, Перро прекрасно

понимал, что Шобар пал жертвой чьей-то мести и что следующего покойника, по всей видимости, надо искать в кругу его друзей и знакомых. Однако проверка как самого Шобара, так и его ближайших друзей, ничего не дала. Сам Шобар, будучи довольно тусклой личностью, влачил весьма серенькое существование и во времена республики, и во времена империи, а его лучшие друзья Матвей Лупиан и Пьер Соляри оказались людьми с безупречной репутацией и сами терялись в догадках относительно загадочной гибели своего приятеля. И главное, что убедило Перро в их непричастности к "делу" Шобара, если такое дело, конечно, существовало, так это то, что они вовсе не были испуганы и не собирались искать защиты от никому не известного мстителя под сенью закона. А это говорило о многом. Но с другой стороны, Перро понимал и то, что, несмотря на относительную безгрешность Шобара с точки зрения уголовного права, он все-таки совершил какое-то, пусть и не предусмотренное законом преступление, за которое и заплатил в конечном итоге своей жизнью. И совершенное им преступление было достаточно серьезным, если единственной разменной монетой, которую убийца предъявил своей жертве для оплаты счета, была смерть. Перро было также совершенно ясно и то, что это преступление Шобар совершил не один, и лучшим подтверждением этого являлась зловещая и в то же время многообещающая надпись на руке убитого. А это, в свою очередь, могло означать, что у Шобара были в свое время и другие при-

¹ Имя вымышленное, так как в источниках, по которым составлялась данная хроника, настоящего имени следователя, занимавшегося этим делом, нет.

ятели, выявить которых следователю так и не удалось. Одним словом, пищи для размышлений и версий у Перро хватало, не было только самого главного: кончика той самой тонкой ниточки, с помощью которой можно было бы распутать весь клубок. В такой безрезультатной работе прошло еще несколько месяцев, и так как трупов больше не было, в один прекрасный день Перро спросил себя, а затем и префекта, уж не какой-нибудь это не совсем нормальный шутник нанес тот самый злополучный удар кинжалом на Артском мосту. Мало ли сейчас в Париже, да и во всей Франции озлобленных и недовольных падением империи людей? И префект, понимавший всю неперспективность дальнейшего расследования, не мог не согласиться с ним. Но не успел он подписать приказ о сдаче дела об убийстве Марселя Шобара в архив, как новое и, несомненно, связанное с первым убийство взволновало весь Париж. В кафе, принадлежавшем Матвею Лупиану, был отравлен Пьер Соляри. Случилось это так. Как и обычно, Соляри зашел вечером в кафе, чтобы пропустить стаканчик-другой вина и поболтать со старым приятелем. И если вино он выпил, то поболтать с Лупианом ему уже не пришлось. Буквально сделав последний глоток вина, он вдруг упал со стула и, крича от страшной боли в желудке, принялся кататься по полу. Перепуганный Лупиан послал за врачом, но когда тот явился, Соляри ни в чьих услугах уже не нуждался. Ему только оставалось констатировать смерть, произошедшую в результате отравления каким-то

сильнодействующим цианистым ядом, о чем недвусмысленно свидетельствовал сильный запах миндаля изо рта покойного. Начатое расследование сразу же зашло в тупик. В кафе в момент отравления Соляри находилось около десяти человек, но ни у кого из них яд обнаружен не был, как, впрочем, не был он обнаружен и в самом кафе. Вино Соляри подавал сам хозяин, которому не было никакого смысла убивать своего приятеля. А если бы и был, то зачем убивать вот так, на глазах у всех и вызывать на себя подозрения. И Перро был убежден, что, задумай Лупиан по каким-то ведомым только ему причинам убрать Соляри, он имел все возможности сделать это куда тоньше и уж во всяком случае не у себя в кафе. Хотя, конечно, Перро, будучи опытным полицейским, не мог даже при всем желании отбросить эту версию. Ибо те преступники, с которыми он уже столько лет имел дело, давно уже более чем убедительно доказали ему, что способны на все. Так и не получив ни единой улики, Перро начал подумывать и о том, что отравление Соляри всего-навсего случайность, пусть страшная, пусть трагическая, но все-таки случайность. Однако последующие события показали, что Перро и на этот раз ошибся. И лучшим доказательством этого послужила "обещанная" еще на Артском мосту надпись "номер второй", появившаяся не где-нибудь, а на флере крышки гроба, который по обычаю был выставлен в день похорон около дома, где жил Соляри. И снова никто ничего не видел. Единственный вывод, который смог сделать Перро, за-

ключался в том, что эти слова написаны самим чертом, так как родственники Соляри клялись и божились, что гроб ни на мгновение не оставался без присмотра, чему, надо сказать, Перро не очень-то верил. Допрос теперь уже основательно перепуганного Лупиана опять ничего не дал: тот начисто отрицал участие всей троицы, из которой в живых остался теперь только он один, в каких бы то ни было неблагоприятных поступках. И надо заметить, что Лупиан, хотя Перро не мог полностью верить ему, не обманывал следователя. При всем своем желании ему нечего было сказать Перро относительно страшной участи его друзей. И только одно было совершенно ясно: на этот раз Матвей Лупиан был не на шутку взволнован сам. На всякий случай за его домом было установлено наблюдение, а его самого Перро просил быть предельно осторожным, хотя это предупреждение было в данной ситуации совершенно излишним. Лупиан и сам уже принял все меры предосторожности, какие бы только смог принять человек, находящийся в его положении. Он почти не выходил из дома, не доверяя даже своим родным, сам готовил себе пищу. И все же, похоже, и его участь, несмотря на все предосторожности и постоянное наблюдение полиции, была предрешена. Дважды в течение одной только недели неизвестный убийца недвусмысленно предупредил его о том, что и он не должный гость на этой брэнной земле, отравив тем же самым ядом, каким был убит Соляри, сначала его любимую собаку, а потом — попугая.

На Лупиана в те дни было страшно смотреть: бледный и угрюмый, сразу постаревший на несколько лет, он бродил по дому, словно привидение, ежеминутно проверяя запоры на окнах и дверях и хватаясь после каждого шороха за торчавший у него за поясом пистолет. Надо сказать, что почти в таком же отчаянии, но только от собственного бессилия, находился и сам Мишель Перро, который за все это время не сдвинулся и на йоту с мертвой точки. Таких противников у него еще никогда не было, и следователь начал серьезно подумывать об отставке, считая, что ему лучше заниматься совсем другим делом. Он постоянно находился в страшном напряжении, каждую минуту ожидая известия о гибели Лупиана и новых издевательств газет, которые, проищай новое убийство, не заставили бы себя долго ждать. Однако время шло, а Лупиана никто и не думал убивать. Месяца через три воспрянувший духом Перро начал снова подумывать о том, что все эти события могли быть пусть и трагической, но все же случайностью. Да и сам Лупиан, осознавший наконец после отравления собаки и попугая, что его (если и ему, конечно, суждено умереть) не спасут ни полиция, ни запоры, ни пистолеты, несколько изменил свое поведение. Конечно, это был уже не тот веселый и добродушный хозяин роскошного заведения, каким его знали клиенты. Однако прятаться и хвататься за пистолет он перестал, а еще через месяц стал выходить из дома без сопровождения слуг. И вопреки всем ожиданиям Перро никто не покушался на его жизнь.

И все же следовательно, несмотря на все это внешнее благополучие, интуитивно чувствовал, что добром это, порядком уже ему надоевшее дело, не кончится. И он не ошибся. Развернувшиеся вскоре события показали, что интуиция не подвела его.

Неожиданная радость заставила Лупиана на время позабыть о страшных опасениях. Правда, сначала и ему, и Терезе пришлось изрядно понервничать. А все дело было в том, что за его дочерью еще от первого брака стал ухаживать итальянский маркиз, красивый и веселый, хотя и несколько разбитной. И Джулия, как звали дочь Матвея, не устояла перед кавалерийской атакой, предпринятой маркизом, и рассталась с невинностью. Но когда разъяренные родители потребовали от маркиза объяснений, то, к великому своему успокоению и удовольствию, увидели, что маркиз не только красив, но и в высшей степени порядочен. Он и не думал уходить от ответственности, заверив повеселевших родителей, что имеет самое серьезное намерение в отношении их дочери, и тут же попросил у них ее руки. Правда, осторожный Лупиан все же с глазу на глаз поговорил с маркизом о состоянии его дел, привыкнув никому не верить на слово. Но то, что он узнал, превзошло его самые смелые ожидания. Маркиз был сказочно богат! У него было буквально все: и крупные поместья в Италии, и огромные счета в лучших европейских банках, и акции крупнейших промышленных компаний. Лупиан был на седьмом небе. Вот уж удача, так удача!

Маркиз оказался весьма деловым малым, ибо от слов сразу же перешел к делу, предложив Лупиану не тянуть со свадьбой и устроить помолвку через неделю. Надо ли говорить о том, с каким восторгом Лупиан принял это предложение. По совету маркиза Лупиан решил устроить пир на 500 приглашенных. Ровно в пять часов назначенного Лупианом дня все приглашенные были в сборе. Как это было ни удивительно, для начала торжества не хватало только жениха. Прошел час, Лупиан уже начинал беспокоиться: не случилось ли чего с маркизом. Но в это время в доме появился специальный курьер от маркиза, принесший от него письмо. В своем послании будущий зять Матвея приносил свои глубочайшие извинения за опоздание, которое было вызвано весьма уважительной причиной — визитом маркиза к королю, и обещал прибыть сразу же после аудиенции. Матвей, гордый сознанием того, что его будущий зять просто вхож к королю, объяснил гостям причину задержки жениха и, пользуясь случаем, предложил тост за здоровье короля, который с восторженными аплодисментами был встречен собравшимися. Но не успели еще некоторые гости осушить бокалы с шампанским, как их ждал уже новый, еще более оглушительный сюрприз. Известно откуда взявшийся почтальон раздал каждому из гостей по плотному конверту и, интригуяще улыбаясь, предложил им вскрыть врученные послания. Заинтересованные гости, ожидая от блестящего маркиза, а в том, что эти письма от маркиза, они не сомневались, очередного сюр-

приза, поспешили вскрыть их. Лупиан, которому по странному стечению обстоятельств не досталось письма, с улыбкой смотрел на изумленные лица гостей, читавших вложенные в конверты тоненькие листки бумаги. Ему и самому не терпелось узнать, что выкинул его сиятельный зять на этот раз. И теперь, глядя на гостей, он в глубине души ожидал новых восторгов. Но, к его великому удивлению, вместо бурных проявлений восторга он вдруг услышал негодующие и возмущенные голоса чуть ли не всех пятисот гостей, требующих от него объяснений. Дрогнувшей рукой он взял у одного из них письмо и поспешно принялся читать его. С первых же строк его прошиб холодный пот. Чего-чего, а такого ему не снилось даже в самом его кошмарном сне, которые буквально терзали его все последние месяцы. В письме черным по белому сообщалось, что выдающий себя за "итальянского гранда" чеповек на самом деле является беглым каторжником, которого гостям и предлагалось задерживать..."

Что и говорить, если неизвестный автор и хотел добиться эффекта, то он добился его. Скандал разразился неслыханный. Напрасно Матвей, стараясь перекричать гостей, уверял их, что все это подстроенная каким-то его неведомым недоброжелателем подлость, что сейчас вернется от короля маркиз и все выяснится и что прежде чем бросать такие страшные обвинения, надо доказать их. Но, к глубокому сожалению Лупиана, доказательств не пришлось долго ждать: немед-

лительно явившийся на шум полицейский комиссар разрушил все сомнения относительно "пребывающего в данную минуту у короля маркиза", которого, по его словам, уже около года разыскивала полиция трех стран — Франции, Италии и Испании. Сразу сникший и потерявший интерес ко всему окружающему Лупиан горько усмехнулся: видимо, неуловимая рука могла убивать не только кинжалом и ядом. Возмущенные гости толпой бросились чуть ли не наперегонки из дома Лупиана, ругая хозяина и клянясь, что никогда больше их ноги не переступят порога опозорившего их дома. Бившихся в истерике несостоявшуюся "маркизу" и ее мать лишь с большим трудом удалось привести в себя только через два часа. Глядя на разрушенное и поруганное счастье дочери, Лупиан ясно осознавал, что ему даровали жизнь только, видимо, для того, чтобы заставить его эту жизнь возненавидеть.

На следующий день после разразившегося на помолвке скандала Лупиан вместе со всей семьей уехал на дачу, дабы на свежем воздухе оправиться от потрясений и на досуге поразмыслить о том, как ему жить дальше. Но отдохнуть ему не дали. Дня через три на взмыленной лошади на дачу прискакал один из оставленных Лупианом в Париже слуг и сообщил новое страшное известие: роскошное кафе Матвея сгорело, уцелевшие вещи разграблены... Причины пожара, как почему-то того и ожидал Лупиан, установленные не были.

Лупиана охватило настоящее отчаяние. Ему пришлось отдать

огромную сумму владельцу дома, в котором он арендовал помещение для кафе. На оставшиеся крохи он снял небольшое скромное кафе на окраине Парижа, даже скорее не кафе, а обыкновенную забегаловку на улице Сент-Антуан. Ему пришлось вспомнить молодость и самому обслуживать клиентов, а теперь это были в основном простые рабочие. Да и за этих-то клиентов еще надо было бороться. Кому охота, согласитесь, ходить обедать и ужинать к человеку, против которого была сама Судьба? Естественно, сразу же от Матвея разбежались и все слуги, опасавшиеся получить порцию яда вместе с омлетом или заживо сгореть во время сна. И только один верный Проспер продолжал служить Матвею как ни в чем не бывало. Этот благородный человек отказался даже от жалованья, заявив хозяину, что тот расплатится с ним в лучшие времена. Растроганный Лупиан от всего сердца обнял верного слугу, в душе своей не надеясь не столько на наступление лучших времен, сколько на то, что ему не будет еще хуже. Но провидение или, вернее, тот, кто исполнял его волю, решил иначе. Лупиана ждала новая трагедия.

Кроме дочери, у Матвея был еще и сын, молодой человек лет двадцати, уже довольно испорченный и имевший неодолимую привычку к вину и разврату. В один прекрасный день он, как обычно, выпивал в кругу таких же моподых бездельников, каким был и сам. Часам к одиннадцати вечера молодые люди столкнулись с так хорошо известным всем пьющим людям препятствием: с

огромным желанием продолжать пить вино и полным отсутствием на его покупку денег. В былые времена достославный отпрыск Лупиана не обратил бы на такое пустяк никакого внимания: любой торговец почел бы за честь выручить сына Матвея Лупиана. Теперь же от него отворачивались как от прокаженного.

Тогда один из друзей, видя всеобщее уныние, предложил залезти в находившуюся неподалеку небольшую винную лавку, взять дюжину шампанского, а на следующий день вернуть деньги. Он так горячо клялся и божился, что сам отнесет торговцу с утра деньги, что ни у кого не мелькнуло даже и мысли о том, что он предлагает им совершить обыкновенную кражу. К чести Лупиана-младшего надо заметить, что он в отличие от двух-трех друзей не только не колебался, но и вызвался собственноручно совершить изъятие шампанского в долг до завтрашнего утра. Но по странному стечению обстоятельств, стоило только ему проникнуть в кафе и отсчитать ровно двенадцать бутылок вина, как он тут же был схвачен словно свалившейся с неба полицией, вне всякого сомнения кем-то предупрежденной. В результате этой "шалости" достойный сын своего отца получил не много ни мало двадцать лет тюрьмы за кражу со взломом. Ослабевшая Тереза, которая так и не смогла прийти в себя после позора дочери, не выдержав этого нового, страшного по силе удара, через три дня после суда над сыном умерла.

Не успел Лупиан похоронить жену, как его уже поджидало новое несчастье. По законам того

времени остатки приданого умершей супруги переходили в руки ее родственников, что означало для Лупиана полное банкротство. Но здесь неожиданно для всех ему на помощь пришел все тот же Жюль Проспер. У него оказались кое-какие сбережения, и он предложил эти деньги Лупиану. Тот со слезами благодарности принял это более чем великодушное предложение, но, узнав, на каких условиях его "верный" слуга дает ему эти деньги, уже не зарыдал, а завыл от отчаяния, ибо Проспер потребовал, чтобы дочь Лупиана стала за эти деньги его любовницей. Матвей был так измучен продолжавшими его терзать несчастиями, что даже был не в силах возмутиться и дать достойный отпор вымогателю. Да ему и не пришлось это делать, так как Джулия совершенно неожиданно для отца приняла предложение его слуги и стала любовью платить за долги своего отца и те средства, которые "старый, добрый" Жюль выделял ему на прожитие. Кончилось это тем, что Лупиан во избежание того, чтобы на него не показывали пальцами, перестал появляться в людных местах. Целыми днями он сидел в своей больше похожей на чулан комнате, уставившись в одну точку, либо, уже не боясь ничего, бесцельно шатался по глухим аллеям парка в Тюильри. Ему было наплевать на все или, во всяком случае, ему так казалось.

Но однажды вечером, когда Матвей медленно брел по одной из самых уединенных аллей парка и ему навстречу вышел из кустов человек в длинном черном плаще и черной маске, он, понимая, что

это конец, тем не менее затрепетал от ужаса. Всем своим существом он понял, что перед ним стоял тот, кто так ужасно мстил ему. У него даже не было сил, чтобы бежать от этого страшного призрака смерти, и он стал медленно пятиться.

— Стой, Матвей, там, где стоишь! — услышал он знакомый голос, но от охватившего его страха никак не мог понять, кому он принадлежит.

— За последнее время с тобой и твоими друзьями случилось много неприятного, Матвей! — продолжал человек в маске. — Тебя это не удивляет?

— Тот, кто совершил все эти преступления, — прошептал побледневшими губами Матвей, — будет наказан богом!

— Богом? — иронично переспросил незнакомец. — Тогда тебе не на что надеяться! Кстати, Матвей, а сам-то ты чист перед Всевышним? Сам-то ты никогда не совершал преступлений?

— Я? — удивленно посмотрел на человека в маске Матвей. — Никогда...

— Никогда? — уже со злостью в голосе переспросил человек в маске. — Так ли уж никогда, Матвей? А несчастный бедный сапожник, по твоей милости причисленный к английским шпионам и брошенный навечно в тюрьму? Это не преступление перед Богом, а?

Лупиан уныло кивнул головой.

— Да, ты прав, незнакомец... — пробормотал он. — Но я никогда не думал, что Бог так ужасно накажет меня за мое... преступление...

— Бог тут ни при чем, Матвей, — вскричал незнакомец, срывая с

себя маску, — это я, оклеветанный тобой Франциск Пико, наказал тебя и тех двоих подлецов, чьи кости сейчас гниют в земле!

Лупиан вздрогнул. По его спине и плечам пробежали холодные мурашки, и он почувствовал, что волосы у него на голове встают дыбом. Перед ним стоял его верный слуга Жюль Проспер с горящими как угли глазами и с развевающейся на ветру гривой седых волос. Вид его был ужасен, казалось, сам ангел мести сошел с небес, чтобы исполнить свой священный долг.

Матвей упал на колени и зарыдал.

— Пощади меня, Франциск, — причитал он, — ты и так уже жестоко наказал меня!

— Пощадить? — прорычал охваченный гневом Франциск. — Никогда! Слышишь меня, Матвей, никогда! Сколько раз я рисовал в своей камере в своем воображении эту сладостную минуту, и вот она наступила! И если бы ты знал о всех тех страданиях, которые выпали на мою долю за все четырнадцать лет заключения, ты бы не просил о пощаде! И перед тем, как ты предстанешь перед Всевышним, если он, конечно, примет тебя, я хочу сказать тебе, будь ты проклят!

С этими словами Пико ударил корчившегося у его ног Матвея в сердце точно таким же итальянским кинжалом, каким он год назад убил на Артском мосту Шобара. Убедившись, что Лупиан мертв, Франциск Пико достал из кармана куртки кусок угля и начертал на правом предплечье трупа последнюю в своей жизни надпись "номер третий".

— Ну вот и все! — устало про-

говорил Пико, закончив писать и поднимаясь с колен.

— Напрасно ты так думаешь Франциск! — неожиданно услышал он над собою чей-то хриплый злобный и в то же время торжествующий голос. Ответить он не успел, ибо уже в следующее мгновение на его голову обрушился тяжелый удар, лишивший его сознания. Человек, ударивший Пико, быстро связал ему руки и, взвалив свою бездыханную жертву на плечи, поспешно исчез в кустах.

Следователь Перро вовсе не удивился, когда ему доложили о том, что на одной из аллей парка Тюильри найден труп Матвея Лупиана. Надо сказать, что занимаясь делами Шобара и Соляри, он уже давно потерял способность удивляться. Не удивился он и тогда, когда собственными глазами увидел уже знакомый ему по преступлению на Артском мосту итальянский кинжал, торчавший из груди убитого. Не поразило его и то, что никаких следов на месте преступления найдено не было и что он снова должен был гадать, появится ли в ближайшем будущем "номер четвертый". Следователь переживал глубочайшую депрессию, и сам префект, понимая, что есть на свете вещи, недоступные пониманию обычных смертных, несмотря на все издательства газет и возмущения обывателей, не мог бросить камень в своего работника, справедливо полагая, что на месте Перро не справился бы никто. Более того, он делал все возможное, чтобы как можно скорее предать эти, по всей видимости, уже закончившиеся дела забвению. И в какой-то степени ему на время

удалось этого добиться. Но только на время, ибо вскоре случилось событие, которое тесным образом было связано со всеми предыдущими.

Пико очнулся в каком-то полу-сыром подвале, который с трудом освещался двумя небольшими свечами. Стиснув зубы, он потрогал голову, которая все еще болела после удара. Интересно, подумал он, кто же этот человек, который так хватил его в парке по голове, и откуда ему известно его имя.

Пико с трудом встал и, слегка пошатываясь, подошел к двери и потрогал ее. Она, как он и ожидал, была заперта. Неожиданно давно забытое чувство оторванности от всего света, которое он так остро испытывал в первые годы своего заключения, охватило его всего. Он вернулся на свою импровизированную кровать из нескольких грубых досок и сел, обхватив голову руками. Ему, как и прежде, оставалось сейчас только одно: ждать.

В тот день к нему так никто и не пришел. Франциск довольно сильно проголодался и хотел пить. Он облазил весь подвал, но не нашел ни крошки. Если здесь что-то съестное и было, то его давным-давно съели крысы, которые водились в подвале в огромном количестве. Переборов голод и жажду, Франциск снова забылся тяжелым сном. Время от времени он в ужасе вскакивал: ему снилось, что он снова погребен в мрачных глубинах Фенестрельского замка, и на этот раз уже навсегда. На следующий день дверь наконец отворилась и перед измученным Франциском

предстал... Антуан Аллют. Пико был так измучен, что у него даже не хватило сил удивиться. Он только тихо и как-то жалобно спросил:

— Что ты от меня хочешь? За что ты держишь меня здесь? Чем я провинился перед тобой?

Аллют криво и злорадно усмехнулся.

— Чего я от тебя хочу, спрашиваешь ты? — прохрипел он. — Об этом еще рано говорить, а вот о том, чем ты провинился передо мной, я тебе скажу. После того как ты оставил нам этот трижды проклятый перстень, в нас с женой словно бес вселился. Мы продали его, но нас обманули, и я убил ювелира, купившего у нас перстень, забрав у него все деньги. Меня судили и приговорили к галерам, а жена, не выдержав нищеты и позора, умерла, и некому было даже похоронить ее! Ты сидел в тюрьме и знаешь, что это такое! Но ты, Франциск, никогда не знал, что такое галеры и ядро у ног. Но с божьей помощью мне удалось бежать. Я решил выяснить всю эту историю, которую ты поведал нам в Ниме, ибо она уже тогда не внушала мне доверия. Я был в Неаполе и узнал, что Франциск Пико не умер, а выпущен на свободу, и что он дьявольски богат. Узнал я и то, что теперь зовут его, правда, не Франциск Пико, а Иосиф Люше. Об этом я узнал несколько позже. Как? Об этом я никогда и никому не скажу. Знал я и то, что этот Иосиф Люше жаждет мести людям, посадившим его в тюрьму, и поспешил в Париж. Но было уже поздно: Шобар и Соляри были уже мертвы. Вокруг дома Лупиана все время крутилась полиция, и я, беглый каторжник, не

смел подойти к нему, чтобы предупредить. Да, ты успел всадить кинжал в несчастного Матвея, но теперь ты в моих руках, и, клянусь адом, так просто из них ты не выйдешь!

Когда Аллют закончил свою обвинительную речь, Пико гневно вскинул голову и, несмотря на всю свою слабость, отвечал ему громким голосом:

— Какое право имеешь меня судить ты, несчастный раб, из-за трусости которого я был осужден на вечную каторгу? Ведь скажи ты всего одно слово, и я не попал бы в тюрьму. Но ты испугался, и меня судили практически ни за что. Четырнадцать лет я жил только одной мыслью: отомстить тем, кто так жестоко обошелся со мной! Теперь ты сам хлебнул горяшка и знаешь, что это такое. Так за что же ты судишь меня? Я дал тебе в руки сокровище, но тебе и твоей ненасытной жене показалось этого мало, и ты убил человека, а когда тебя совершенно справедливо осудили на галеры, ты воспыпал гневом к тому, кто хотел осчастливить тебя! Ты должен проклинать только одно: собственную жадность! Запомни, Антуан, моя месть, может быть, и ужасна, но она оправдана, я наказал подлецов, искалечивших мою жизнь, а ты ищешь оправдания собственной слабости в других... И не трус ты, Антуан, ты такой же подлец, как и те, кого я убил! Ты и сейчас задумал какую-то гнусность в отношении меня, но только знай, ничего у тебя не выйдет!

— Что ж, Франциск, посмотрим! — злобно ответил Аллют, которого каждое из слов Фран-

циска обжигало, словно удар кнута. — Посмотрим!

С этими словами он вышел из погреба и, закрыв дверь, добавил, не скрывая злорадства:

— Когда захочешь есть, позови меня, я буду рядом!

Франциск похолодел. Он понял, что Аллют, добиваясь своего, будет морить его голодом. А это оружие будет страшнее одиночного заключения. Вот только интересно, насколько у него хватит мужества?

Мужества у Пико хватило ровно на одни сутки, и, когда он понял, что больше сил терпеть у него нет, он постучал в дверь. Аллют не замедлил явиться. Презрительно взглянув на Франциска, он уселся на табуретку и спросил:

— Чего тебе?

— Дай мне поесть и попить, — простонал обессиленный Франциск, — я тебе хорошо заплачу...

— Прекрасно, — удовлетворенно кивнул головой Аллют. — Я буду давать тебе воду и пищу два раза в день, а ты мне заплатишь за каждый "обед" двадцать пять тысяч франков... Идет?

— Убирайся!

Аллют не стал упорствовать и последовал совету бывшего друга. Как только затихли шаги удаляющегося тюремщика, Франциск лег на кровать и отвернулся лицом к стенке. С этого момента он больше не проронил ни слова. Он прекрасно понимал, что живым отсюда Аллют его не выпустит. Выманив все его деньги, он просто-напросто убьет его. И Франциск приготовился к голодной смерти. Конечно, ему было несказанно тяжело умирать вот так, в этом мерзком подвале, зная,

что на свободе его ждут несметные сокровища. Его утешало только одно: он отомстил. Он теперь даже не открывал глаза, когда входил Аллют, который, видя состояние Франциска, решил изменить тактику. Он стал уговаривать Пико разделить сокровища пополам, обещая при этом уехать куда-нибудь далеко-далеко из Франции... Однако Франциск был непреклонен. И чем непреклоннее становился Пико, тем злее и нетерпимее вел себя начинавший терять терпение и опасавшийся, что Пико умрет от голода, Аллют. И однажды он не выдержал. Когда Пико в очередной раз не удостоил его ответом, он в ярости набросился на него с ножом и в каком-то животном иступлении стал наносить своей жертве рану за раной. Он выколол ему глаза, распорол живот и изрезал все лицо. И кто знает, кому он мстил в ту минуту, Франциску Пико или самой жизни, в которой без золота можно было только прозябать...

В тот же день он уехал в Англию, и казалось, что тайна Франциска Пико так навечно и останется тайной. Но это только казалосьсь...

Через четырнадцать лет на имя префекта парижской уголовной полиции, которым в то время являлся небезызвестный нам Мишель Перро, пришло письмо из Англии. Письмо было от какого-то священника, и Перро сначала даже отложил его в сторону. Но потом решил все-таки прочитать. С первых же строк этого незатейливо написанного деревенским пастором послания префект по-

забыл обо всем на свете. "Не так давно, — сообщал священник, — меня вызвали к умирающему, который хотел исповедоваться. В своей исповеди он поведал мне страшную историю целой вереницы преступлений, в которых он оказался замешан и сам. Конечно, я бы никогда не нарушил тайну исповеди человека, который теперь уже ответил за все им содеянное зло перед самим Всевышним, если бы этот человек, настоящее имя которого Антуан Аллют, сам не попросил бы меня написать в парижскую уголовную полицию, что я и делаю в меру своих способностей. Как сказал мне этот самый Аллют, эта история началась в феврале 1801 года, когда..."

Дважды прочитав письмо, Перро потом еще долго сидел в своем кресле, погруженный в воспоминания. И когда один из следователей, вошедший к нему в кабинет, вернул его на землю, префект, грустно улыбнувшись, проговорил:

— Вот уж, воистину, нет ничего тайного, что бы рано или поздно не стало явным...

Заметив недоуменный взгляд следователя, устремленный на него, Перро улыбнулся еще раз.

— Ничего, Пьер, это я так... про себя...

Заканчивая изложение этой в высшей степени трагической истории, остается только добавить, что еще несколько лет спустя Александр Дюма, роясь в архивах полиции, наткнулся на дело Франциска Пико, в результате чего на свет появился один из лучших романов приключенческого жанра.

СТЫДНО ИМЕТЬ ДЕНЬГИ

Эту рубрику пресс-клуб "Школьник" ведет одновременно в разных газетах и журналах. Сегодня ее открывает журнал "Мы".

Почему именно деньги в центре внимания нашего обращения к школьникам? Это не случайно.

Еще недавно считалось, что деньги портят детей и взрослых. О деньгах старались не говорить без особой нужды, как о чем-то неприличном. С существованием денег просто мирились, как мирятся с неизбежностью.

А сейчас? Перестройка меняет отношение и к деньгам. Оказывается, ничего стыдного в честно заработанных рублях и копейках нет.

Пресс-клуб "Школьник", созданный по инициативе преподавателей кафедры журналистики МВПУ, изучает вопрос отношения ребят к деньгам. Им были предложены следующие вопросы:

"ЗА ТРИ РУБЛЯ – ПОЦЕЛУЮ!"

1. Родители дают мне деньги редко, и не больше 5 рублей. А прихотей много, на все не хватит.

2. Есть способы честно зарабатывать деньги: работать в колхозах, ЛТО, на заводах и фабриках... Я считаю, что мой способ тоже честный: я не вымогаю деньги, не ворую, не забираю силой.

3. Поделюсь опытом.

Я симпатичная. Началось все с того, что я завела роман с одним парнем. Один раз в лифте он предложил поцело-

ваться, а я сказала: "За три рубля поцелую". У него был трешник, и я согласилась. Ему понравилось, он стал просить еще, но я уже не стала целоваться бесплатно. Теперь, когда он приходил, то приносил с собой деньги. Потом он рассказал об этом своим друзьям. Они приходили толпой, приносили деньги, шмотки, и я целовалась со всеми.

Один раз зимой мы замерзли гулять и зашли в подъезд. У одного оказался "пузырь". Мы выпили. У меня закружилась голова, я стала слабой. Сидящий рядом чувак навалился на меня, хотела закри-

ИЛИ СТЫДНО НЕ ИМЕТЬ ДЕНЕГ?

1. Есть ли у тебя свои деньги? Хватает ли тебе тех денег, которые дают родители? Если нет, то сколько тебе нужно еще? И зачем?

2. Хотел бы ты зарабатывать самостоятельно? Как, каким способом? Какие способы честного заработка тебе известны?

3. По-твоему, стыдно школьникам самим зарабатывать деньги? Тебе когда-нибудь приходилось этим заниматься? Если да, то, может быть, поделишься опытом? (Расскажи, как тебе удалось заработать деньги. Если у тебя такого опыта нет, можешь рассказать о своих приятелях.)

Более полутора тысяч писем получил пресс-клуб. Вот что пишут школьники...

чать – не могла. Я лишилась бы девственности, если бы не один парень – я его не знала, но он был в нашей компании. Он оттолкнул того чувака, взял меня на руки и отнес ко мне домой. Положил меня на кровать и ушел, только оставил записку: "Брось это дело! Можешь плохо кончить". Месяца два не занималась "этим". Потом не вытерпела – нужны деньги, а "предки" просто так не дадут. Бесконечные вопросы: "Куда? Зачем?" Но даю слово: кончится лето – брошу! Пересилю себя".

С уважением

Лариса Т.

"ВОЗМОЖНО, УЕДУ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ"

Свои деньги у меня есть. Денег, которые дают родители конечно же не хватает. Мне нужно еще ну хотя бы миллион, но только долларов (или какой-нибудь другой свободно конвертируемой валюты). Ведь за доллары и в СССР можно достать все, что захочешь, а за рубли надо даже за носками в очереди стоять. Спросите, зачем мне такие деньги? Отвечаю: затем, чтобы жить на уровне среднего американца (по нашим понятиям – "шикарно"), т.е.

иметь просторную квартиру в городе, японскую видео- и стереоаппаратуру, большой коттедж за городом, два или три автомобиля (не "Жигулей", а что-нибудь вроде "кадиллака", "СУБАРУ" или БМВ), а также много других "предметов роскоши", которые, однако, за границей таковыми не являются.

Да, я хотел бы зарабатывать самостоятельно, любым способом, потому что главное в жизни человека — это деньги, без них жить невозможно. Если не верите, то попробуйте хотя бы неделю пожить без них.

Все приемлемые способы заработка в СССР или незаконны, или невозможны. У нас нельзя открыть свое дело, а если и откроешь — тебя задушит налогами государство. А таскать на вокзале бабкам сумки за тришку я пробовал. Это, во-первых, не прибыльно, во-вторых, тяжело. На завод не устроишься, а устроишься — так тебе будут за ту же работу платить в 2 раза меньше, чем взрослому.

Когда я вырасту, займусь международной торговлей и, возможно, уеду из нашей страны, потому что тут нет никаких перспектив.

Слава Б., 14 лет.
г. Серебрянск

P.S. Возможно, вам мое письмо не понравилось, но я знаю десятки людей, особенно молодых, которые думают точно так же.

У меня есть предложение: организовать 3–4 девочкам лет 14 в маленький "детский садик", взять себе 2–3 малышей (но только одного возраста) и проводить с ними время. Можно с малышами и гербарий собирать, и книжки почитать, и поучить их езды на велосипеде (если не умеют) и т.д. и т.п.

И навыки воспитания детей будут и кое-какие деньги в кармане (об оплате договариваться лучше всего с мамой или папой малыша), а может, кто-то и мягче к малышам станет?

Наташа.
Магаданская обл.

СТЫД ЗАГЛУШАЛА КУПЮРА

Здравствуй, "Школьник"!

1. Свои деньги у меня есть — 20 рублей. Но я не уверен, что через неделю они у меня будут. Впрочем, я и одну копейку считаю за деньги. На нее можно купить коробок спичек, а с коробком спичек я могу много сделать: поджечь свою школу, редакцию "Вечерней Москвы", себя в конце концов. Пока у меня нет 50 миллионов, мне не хватает денег. Родители много не дают. Опасаются!!! Миллионы мне нужны, чтобы быть богатым человеком. Чтобы быть уверенным в себе. "Какие мысли у ребенка в 14

лет!" – скажете вы. А ведь большинство ребят – такие же, как я.

2. Я хотел бы самостоятельно заработать. Каким способом – не имеет значения, лишь бы денег побольше. Нет, я не встану на кривую дорожку, но мысли вот такие. Можно заработать на наркотиках и жить в роскоши, но с грязной совестью. Можно всю жизнь таскать на горбу сумку с газетами и жить в бедности, но с чистой совестью. Честно можно хорошо заработать, если ты выходишь после 11-го класса с хорошей рекомендацией и имеешь много блага.

3. Школьнику зарабатывать не стыдно. А кому стыдно, тот и не работает. Сам я постоянно деньги не зарабатываю. И вообще смотря что считать заработком денег. Допустим, мне нужно 10 рублей. Я беру веревку и привязываю себя к батарее. Посидишь часа два на привязи, глядишь, и получишь деньги. Да, я играю на чувствах родителей, но мне на привязи тоже несладко. Деньги или здоровье сына. Самый памятный случай был зимой 1990 года. Я тогда сделал первую попытку выкопать деньги при помощи привязывания себя к батарее. Тогда была оттепель, и батареи временно отключили. Я привязал ногу, да так, что только ножом можно было отделить меня от батареи. Это было в первый раз, родители не пове-

рили, ушли в магазин. Через 20–30 минут после их ухода включили батареи. Отвязаться я не мог. Я знаю, что такое пытка. Хорошо, что через некоторое время родители пришли. Было немного стыдно видеть, как они огорчились и удивились. Но стыд заглушила купюра в 10 рублей.

Куда это ведет?

Не знаю, что делать со своей натурой.

С уважением

Александр Я.
г. Москва

По моему мнению, школьникам не стыдно самим зарабатывать деньги. И год назад я сама смогла их заработать. Я начала работать в июле – в самую жаркую пору лета. Работали мы (я и мои друзья) на прополке. Поднимались в 5 утра, чтобы управиться до полудня, а потом купались и веселились на море. И так продолжалось 24 дня. Некоторые подумают: "Ну вот еще, стану я вставать в 5 часов утра, да еще летом, лучше уж я отдохну". Но скажу вам, что от работы я получила огромное удовольствие, и мои друзья тоже. Это был мой первый самостоятельный заработок, я получила около 45 рублей и купила себе то, о чем мечтала.

Люба АНТОНОВА, 16 лет.
Крымская обл.

ПРИШЛОСЬ НЕДОЛИВАТЬ, РАЗБАВЛЯТЬ КВАС, ЗАТО ДЕНЬГИ ПОПЛЫЛИ РЕКОЙ

Здравствуй, пресс-клуб
"Школьник"!

Мне 14 лет, окончила 8-й класс. Мечтаю стать актрисой.

1. Свои деньги у меня есть с 10 лет, сейчас около 100 рублей – постоянных, не считая того, что появляется и исчезает в мелких расходах. Родители денег не дают, у нас их и так нет, и мне, конечно, мало. Хотелось бы еще рублей 500–600. А для чего – не знаю. Мечты о собаке, "мафоне", шмотках приходят и уходят, остаются лишь жадность и страсть к накопительству. Но вы не подумайте, другу отдала бы все, не задумываясь, да и на любое нужное дело, лишь была бы польза.

2. Я работаю, и мне моя работа нравится, но почта – это случайно. Существует широкий диапазон возможностей – от возжатого до продавца. Жаль только, что доступ ограничен для "лиц, не достигших совершеннолетия", поэтому я и вкалываю на почте.

3. Ребята – молодцы, только нельзя принуждать школьников к чрезмерной нагрузке, а то здоровье потом будет ни к черту.

А деятельность моя началась так: пришла в квасную палатку, и меня попросили подменить продавца, потом

привыкла – "за уши не оттащишь". Только львиную долю "квасница" брала себе, не работая, а я получала крохи. Пришлось недоливать, жаловаться на отсутствие сдачи, разбавлять квас, зато деньги поплыли рекой.

Извините за вульгарность письма. Как думаю, так и пишу. В нашей жизни даже самые хорошие люди деградируют.

Надежда К., 14 лет.

* * *

Мне было бы стыдно перед моими ровесниками зарабатывать на какой-нибудь грязной работе: дворник, приемщик утильсырья и т.д.

Светлана ЛЕБЕДИНЕЦ,
г. Львов

"Я ОТБИРАЮ ДЕНЬГИ У СВЕРСТНИКОВ"

Конечно, у меня есть свои деньги (около 40 рублей). Я коплю их на мотоцикл и поэтому на карманные расходы приходится тратить деньги, которые мне дают родители. Они дают мне ровно столько, сколько я попрошу. Они у меня добрые.

Я, несомненно, хотел бы зарабатывать самостоятельно. Например, работая на каком-нибудь предприятии или в кооперативе.

Я думаю, школьникам не

должно быть стыдно зарабатывать деньги самостоятельно. Мне самому приходилось зарабатывать деньги. Я отбираю их у своих же сверстников. Ведь я ярый участник группировки "Огонек". Я мог бы быстро накопить денег, но половину "заработка" я отдаю на взносы, которые мы, гоппира, вносим каждую неделю. Иногда "супера" или "молодые" требуют с нас денег: не принесешь — сильно избивают.

Ренат САПУКОВ, 9-й класс.
г. Казань

"ЗАРАБАТЫВАЮ С 5 ЛЕТ"

Огромный привет всем, кто читает мое откровенное письмо!

Мне 13 лет, и по поводу денег у меня особое мнение. Если сказать честно, деньги у меня есть и в таком количестве, что хватит даже на два велосипеда "Салют", два черно-белых телевизора "Шилялис", на одну кровать детскую полированную, на кроссовки "Адидас" — 2 пары, на скейтборд, мокасины, косметику китайскую, письменный стол, магнитофон переносной и на лисью шапку. Пишу откровенно. Врать незачем, потому, что это было бы отвратительно с моей стороны. Эти деньги я собирала с самого раннего детства — с 5 лет. Делала поделки, шила кофточки для малышей и продавала. Кому надо нарисовать (например, дома на стенах),

тоже платили. Кому сходить в магазин, кому посидеть с малышами. Нет, не подумайте, что я из нищих. Но ведь американские детишки тоже копят деньги. У них ведь даже есть свои детские финансовые банки, которые рассчитаны на взносы детей любых возрастов.

Мне было очень приятно зарабатывать деньги с 5 лет трудом.

После окончания школы я стану швеей и пойду в кооператив. Тот, кто идет в институт ради бумажки со штампом, тот только тратит свое время. Надо получить, по-моему, хорошую профессию и уметь жить. Ведь невесту выбирают по квартире, по одежке, по кошельку (так же, как жениха).

А с "милым рай и в шалаше" так же, как и с "милой", уже устарело. Пусть ребята поймут меня.

Глаша Р.,
г. Уфа

НУЖНО СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Я решил ответить на ваши вопросы. Я учусь в 7-м классе, перешел в 8-й. Может, вы создадите предприятие, где можно будет школьникам зарабатывать деньги, и не какие-нибудь гроши, а зарплату, которую получают взрослые люди ("дяди" и "тети")! А сейчас я отвечу на ваши вопросы.

1. Деньги у меня свои есть, на эти деньги можно 2 раза сходить в кино за 3 месяца. Родители денег мне не дают. Если дают, то редко, потому что им не хватает зарплаты для среднего прожиточного минимума. Деньги нужны всем, и не копейки. Вы спрашиваете, зачем они мне. Я хочу купить мопед (как это делают те, у которых денег в достатке).

2. Самостоятельно хотелось заработать. Есть разные способы заработать деньги, но я ищу способ выгодный и удобный. Я расскажу вам, как я устроился на почту работать.

Тогда я хотел заработать денег, чтобы летом купить мопед, уехать с ним в деревню и радоваться жизни. На почте нужны были почтальоны. Ну я и решил подработать там денег. Мама помогла мне устроиться. Мне обещали, что будут платить 100 рублей. Я согласился, работал, вставал в 5 утра, к 6 часам шел на работу. Старухи, сидевшие около дома, стали ворчать. Через полмесяца меня увольняют. Получку выдавать мне и не собирались. Потом мама пошла выяснять, почему такие дела творятся. Они пообещали выдать получку в следующем месяце. Я ждал этого дня. Короче, меня обманули; в итоге получилось 15 руб. 10 коп.

Я не подписываюсь, так как "есть дурные люди", а также "есть дурной народ".

"НАШ КООПЕРАТИВ МОГУТ ЗАКРЫТЬ"

Мы, ученики 9-го класса школы-интерната N 23 Советского района г. Москвы, внимательно читаем ответы ребят на анкету пресс-клуба "Школьник" и тоже хотим выразить свою точку зрения на вопрос: "Нужны ли школьникам деньги, стыдно ли их иметь?"

Мы считаем, что ничего постыдного в том, что мы честно зарабатываем для себя деньги, нет. Наоборот, мы считаем это необходимым. Уже сейчас, в школе, мы призываем трудиться и имеем возможность в нашем школьном кооперативе "Полиграфист" заработать достаточно на свои личные нужды. Некоторые ребята из нашего класса зарабатывают по 50 рублей и выше. А Дима Журавлев за июль месяца этого года заработал 300 рублей.

Наш кооператив образовался в прошлом году. Мы из бракованных тетрадей, которые шли на макулатуру, делаем блокноты, кубарики. На заработанные деньги мы имеем возможность купить к праздникам сувениры, ко дню рождения — подарки.

Единственное, чего мы сейчас боимся, это того, что из-за необоснованных выступлений на телевидении в передачах "Время" и "Добрый вечер, Москва!" наш кооператив могут закрыть.

Мы считаем, что ребята 7-9-х классов могут посылно работать и зарабатывать личные деньги, лишь бы взрослые предоставляли эту возможность, как это делается сейчас в нашем школьном кооперативе.

Ученики 9-го класса.
Всего 12 подписей,
Бударин Ю.В. – воспитатель

МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ МНЕ ХВАТИТ

Хелло, "Школьник"! Мне 17 лет. Прочитал твою статью и решил ответить на заданные вопросы.

Итак, по порядку:

1. Есть ли у тебя свои деньги?

Да, около 1500 рублей.

Хватает ли тебе денег, которые дают родители?

С 14 лет денег у родителей не беру, хотя и мог бы. А вообще, денег не хватает.

Если нет, сколько тебе нужно еще?

Я думаю, миллиарда долларов мне хватит. (Это не шутка.)

Зачем?

Жить, не завися от других.

2. Хотелось бы тебе самостоятельно что-то заработать?

Для начала: все деньги, что у меня есть, я заработал сам. Что же касается вопроса, то ответ один: разумеется, да, только не "что-то", а много денег. И по возможности не рублей, а именно денег, хотя

наши законы почему-то не позволяют мне это сделать.

Если да, то каким способом?

Любой работой, которую я умею хорошо делать.

Какие способы честного заработка тебе известны?

В связи с несовершеннолетием многих законов СССР указать абсолютно честный способ заработка я затрудняюсь. Нет, конечно, "что-то" честно можно заработать, но хотелось бы отдать работе много сил и получить за нее большее вознаграждение, что у нас в Союзе без каких-либо нарушений сделать невозможно.

3. Как ты думаешь, это стыдно или нет, когда школьники сами зарабатывают себе деньги?

Немного неясен вопрос. Стыдно для кого: для страны, для родителей, для самих школьников? В любом случае я думаю: нет, не стыдно. Что может быть стыдного в том, что ребенок с детства приучается к работе и к получению награды за свои труды? Что стыдного для родителей в том, что их чадо после школы не шляется по улицам, не пьет, не хулиганит, а идет на работу и приносит часть заработка в семью, а часть составляет для удовлетворения своих личных потребностей? И наконец, почему должно быть стыдно стране, подрастающее поколение которой с раннего возраста учится труду, серьезно готовится стать

достойной сменой своих родителей?

Необходимо создать систему детского труда, где подросток мог бы в свободное от учебы время, **при желании**, подработать. Отличным примером может послужить ресторан "Макдоналдс" на Пушкинской площади, где большинство обслуживающего персонала – старшеклассники и студенты. Необыкновенно гибкий график работы и зависимость заработка от количества отработанных часов позволяют служащему этого ресторана работать в любое удобное для него время и зарабатывать столько, сколько ему нужно.

Тебе когда-нибудь приходилось этим заниматься? Если да, то, может быть, поделишься опытом?

На первую половину вопроса я уже ответил выше. Опытom не поделюсь, так как боюсь конкуренции.

Вот и все. Ответы даны на все вопросы, больше того, внесены некоторые предложения. Прошу извинить за ошибки – я, к сожалению, не отличник.

Если мое письмо показалось вам интересным, разрешаю опубликовать его **бесплатно**.

Подпись не ставлю не по каким-либо соображениям, а просто не хочу. Почему? Я не знаю.

ГУД БАЙ.

Комментарий пресс-клуба.
Ошибки виправили. Пять морфологических, двенадцать синтаксических. Виправили бесплатно.

От пресс-клуба: МЫ НАЧАЛИ ПИСАТЬ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ... ПРИГЛАШАЕМ В СОАВТОРЫ!

Не правда ли, знакомая картина: школьник, желающий заработать немного денег на карманные расходы, безуспешно стучится в двери с прикрепленными на долгие времена табличками: "Требуется", "Требуется", "Требуется..." У ребят от своей ненужности просто опускаются руки, пропадает само желание трудиться.

Но, может быть, положение "юных безработных" не так уж безнадежно? В пресс-клубе "Школьник" при содействии Советского детского фонда готовится к выпуску "Энциклопедия детской предпримчивости". Предполагаемый тираж – 2–3 млн. экз.

Эта книга даст первую и пока единственную возможность получить разнообразные сведения о трудовой деятельности несовершеннолетних в СССР и их сверстников за рубежом, что очень пригодится тем, кто начинает самостоятельную трудовую жизнь.

Энциклопедия доступным языком расскажет о трудовом законо-

дательстве, даст конкретную информацию о государственных и частных биржах труда, которые спустя 60 лет снова появляются в нашей стране.

Долгое время у нас детский труд считался ужасным пороком капиталистического мира и, мягко говоря, не приветствовался. Но, к счастью, несмотря на это, многие люди накопили богатый опыт по приобщению ребят к труду, по развитию у них деловых качеств. Своими знаниями в этой области они могут поделиться на страницах энциклопедии. В книге будет использован интересный опыт и самих подростков, сумевших самостоятельно подработать уже в школьном возрасте. Пресс-клуб "Школьник" продолжает получать со всех концов страны множество писем, и наиболее интересные из них тоже могут попасть в энциклопедию.

Наверное, небезынтересно для юных читателей, да и для взрослых узнать о том, как решаются проблемы устройства детей на работу, развития в них деловой предприимчивости в западных странах.

Энциклопедия будет состоять из шести разделов:

I. Государственные предприятия.

II. Кооперативы.

III. Общественные организации.

IV. Семья.

V. Самодеятельные группы.

VI. Индивидуалы.

Благодаря однотипному расположению материала в каждом из разделов книги любой, кто возьмет ее в руки, сможет очень быстро найти интересующую его информацию. А еще будет много фотографий, рисунков, отрывков из художественной литературы, любопытных фактов, анекдотов, словом, всего того, что сделает чтение энциклопедии не только полезным, но и увлекательным.

"Энциклопедия детской предприимчивости", безусловно, сейчас очень ко времени. Она поможет детям, подросткам подготовиться ко взрослой жизни, лучше ориентироваться в условиях надвигающихся рыночных отношений.

Остается добавить, что работа над энциклопедией еще не закончена и творческая группа приглашает к сотрудничеству все предприятия, имеющие возможность устроить школьников на работу, всех, кто может помочь словом и делом; а также, конечно, ждем писем от самих ребят с предложениями, мнениями о готовящемся издании.

Наш адрес: 123286 Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, кафедра журналистики МВПП (пресс-клуб "Школьник").

Материал подготовили члены пресс-клуба:
Дмитрий КАБАНОВ, Марина КОСОВА, Светлана ВАСИЛЬЕВА,
Ольга СТАРЧЕНКО, Анна ГРИГОРЬЕВСКАЯ.



Роберт А. ХАЙНЛАЙН

ГРАЖДАНИН ГАЛАКТИКИ

РОМАН



ГЛАВА 16

Фраки были не так плохи, если познакомиться с ними поближе.

У них был свой тайный язык, хотя они думали, что говорят на Интерлингве. Слушая их, Торби обогатил свой словарь несколькими дюжинами глаголов и двумя сотнями существительных. Он понял, что к тем световым годам, что он провел с торговцами, относятся с уважением, хотя здесь считали Людей несколько странными. Он не спорил: фраки в этом не разбирались.

Поднявшись с Гекаты, крейсер Гегемонии "Гидра" проложил курс к мирам Рима. Как раз перед прыжком пришла накладная на выдачу ему денежного довольствия; к ней суперкарго "Сису" присовокупил самую лестную оценку одного из восьмидесяти трех членов команды —

Окончание. Начало в №№ 8/9, 10.

Перевод с английского Илана ПОЛОЦКА

Рисунки Владимира РОМАДИНА

словно, подумал Торби, он был девушкой, которую предлагали к обмену. Ему причиталась непривычно большая сумма, но Торби не испытывал к ней особого интереса: родился он на корабле, он бы вел себя по-другому. Жизнь среди Людей приучила некогда нищего мальчишку относиться к таким деньгам иначе, чем к подаянию: их может быть больше или меньше; долги надо всегда возвращать.

Он подумал, что бы сказал папа, увидев все эти деньги, и почувствовал себя свободнее, когда узнал, что может хранить их у Казначей.

Вместе с распоряжением пришла и теплая записочка с пожеланием удачи, где бы он ни был, подписанная: "С любовью. Мать". Прочитав ее, Торби сначала приободрился, а потом почувствовал себя еще хуже.

Торби разложил вещи, доставленные "Сису". Теперь он был Стражником и, рассматривая их, испытывал некоторое неудобство. Он выяснил, что Стража не была закрытым сообществом, как Люди. Чтобы стать Стражником, не требовалось никакого чуда, если человек соответствовал предъявляемым требованиям, потому что никто не интересовался, откуда он прибыл и кем был раньше. "Гидра" подбирала себе команду со многих планет: этой цели в Бюро Личного Состава служили компьютеры для проверки. Рядом с собой Торби видел высоких и маленьких, костлявых и мясистых, пысых и волосатых, с признаками мутации и совершенные образцы рода человеческого. Торби был близок к норме, а привычки, вынесенные им из мира Свободных Торговцев, воспринимались как необременительная эксцентричность: таким образом, даже будучи новичком-рекрутом, он ничем не отличался от прочих космопетчиков.

Правда, было все же препятствие, которое несколько отделяло его от остальных: он был новобранцем. Он мог считаться "Стражником третьего класса", но ему еще предстояло доказать свое право на это звание.

Он получил свою койку, место за общим столом, рабочие обязанности, и младший офицер говорил ему, что делать. В его обязанности входила чистка помещения, а по боевому расписанию он должен был быть посыльным у Наводчиков на тот случай, если откажет связь, — это означало, что он должен и кофе носить.

С другой стороны, его оставляли в покое. Он имел право вступать в мужской разговор после того, как высказывались старшие; когда не хватало игроков, его приглашали принять участие в карточной игре и свободно сплетничали при нем; он пользовался привилегией одалживать старшим свитера и носки, если у тех возникала подобная нужда. Трудностей все это для него не представляло — он уже умел быть младшим.

"Гидра" несла патрульную службу, и все разговоры за столом крутились вокруг возможной "охоты". "Гидра" могла набирать скорость с ускорением, превышающим триста единиц; там, где такие купцы, как "Сису", старались, если возможно, уйти, "Гидра" вступала в бой с пиратами.

Стол, за которым сидел Торби, возглавлял младший офицер, Ар-

типлерист 2-го класса Пибби, известный под кличкой Децибел. Как-то во время обеда, когда вокруг шли дебаты, пойти ли в библиотеку после еды, или посетить стерео в кают-компании, Торби вдруг услышал свое прозвище: "Разве не так, Торговец?"

Торби гордился своей кличкой, но ему не нравилось, когда ее употреблял Пибби, ибо Пибби был напыщен и самодоволен — при- ветствуя Торби кличкой, он заботливо спрашивал: "Как дела?" — и показывал жестом, как считают деньги. Но Торби не обращал на это внимания.

— Что не так?

— Почему бы тебе не прочистить уши? Ты словно ничего не слы- шишь, кроме звона и шелеста. Я рассказывал им то, что говорил Оружейнику: чтобы пришибить пирата, мы должны сесть ему на хвост, а не вести себя, как торговцы, слишком трусливые, чтобы драться, и слишком неповоротливые, чтобы убежать.

Торби еле сдержался.

— Кто, — сказал он, — считает, что торговцы боятся вступать в бой?

— Да брось ты! Кто хоть раз слышал, чтобы торговец взорвал пи- рата?

Пибби говорил искренне: торговцы предпочитали не распростра- няться о случаях, когда они уничтожали пиратов. Но Торби вспылил:

— Я слышал об этом.

Торби хотел сказать, что до него доходили рассказы, как торговцы жгли корабли пиратов. Пибби же решил, что Торби хвастается:

— Ах, ты слышал, вон оно как! Ребята, вы только послушайте: наш болтунишка — настоящий герой. Наш малышка ухитрился сжечь пи- рата. Расскажи нам об этом. Ты ему волосню подпалил? Или подсыпал известку ему в пиво?

— Я пользовался, — сказал Торби, — одноэтапным поисковиком цели Марк XI производства Бетлехем-Антарес, вооруженным бое- головкой в 20 мегатонн плутония. Я рассчитал выстрел по прицельному лучу на сближающихся курсах.

Наступило молчание. Наконец Пибби холодно сказал:

— Где ты это вычитал?

— На ленте расчетов. После того как дело было кончено. Я был старшим наводчиком корабля. Компьютер в командной рубке вышел из строя — так что я знал, что сжег его мой выстрел.

— Значит, он офицер-оружейник. Болтун, кончай трепаться!

Торби пожал плечами.

— Я и был им. Точнее, офицером по контролю за вооружениями. Я никогда не занимался артиллерией специально.

— Скромничаешь, не так ли? Болтать легко, Торговец.

— Тебе об этом лучше знать, Децибел.

Услышав свою кличку, Пибби замолк: Торби не имел права позво- лять себе такую фамильярность. Прорезался другой голос, весело сказавший:

— Это точно, Децибел, болтать легче всего. Расскажи о той мясо-

рубке, что ты устроил. Валяй. — Говоривший был без звания, но принадлежал к другой службе, и недовольство Пибби его не волновало. Пибби побагровел.

— Хватит заниматься ерундой, — проворчал он. — Баслим, я хочу, чтобы ты прибыл в боевую рубку, и там мы выясним, какой ты наводчик.

Испытание Торби не волновало, хотя он ничего не знал о вооружении "Гидры". Но приказ есть приказ, и в назначенное время он увидел ухмылку Пибби.

Но она быстро исчезла. Инструментарий "Гидры" незначительно отличался от такого же на "Сису", но принципы наводки были теми же самыми, и старший сержант при оружии (кибернетик) выяснил, что действия бывшего торговца совершенно правильны — Торби отлично разбирался в том, как стрелять. Он вечно искал таланты, а люди, умеющие рассчитать траекторию ракеты в сумасшедшей обстановке боя на субсветовых скоростях, среди Стражников были столь же редки, как и среди Торговцев.

Он стал расспрашивать Торби о компьютере, с которым тот имел дело. Наконец он кивнул.

— Я никогда не видел большего барахла. Но если ты смог поразить цель и с его помощью, мы тебя используем. — Сержант повернулся к Пибби. — Спасибо, Децибел. Я сообщу Оружейнику. Побудь здесь, Баслим.

Пибби удивился:

— У него есть еще работа, Сержант.

Сержант Лютер пожал плечами.

— Скажи своему старшему, что Баслим нужен здесь.

Торби был поражен, услышав, как прекрасные компьютеры "Сису" называют барахлом. Но вскоре он понял, что Лютер имел в виду: могучий мозг "Гидры", который рассчитывал ход боя, был настоящим гением среди компьютеров. Торби никогда бы не справился с ним в одиночку, но вскоре он уже был артиллеристом 3-го класса (кибернетиком), что в определенной степени избавляло его от придирок Пибби. Он начал чувствовать себя настоящим Стражником, пусть еще и очень молодым, но уже признанным командой.

"Гидра" шла на субсветовой скорости от Рима к Ултиме Туле, где должна была заправиться и начать охоту за пиратами. Никаких сомнительных сведений о Торби на судно не поступало. Он был доволен своим статусом в той команде, где служил папа; он испытывал счастье при мысли, что папа гордился бы им. Он расстался с "Сису", но на судне без женщин жить было легче; и по сравнению с "Сису" на "Гидре" не было столь жестокого распорядка.

Но попковник Брисби не позволил Торби забыть, каким образом он был зачислен в команду. У старших офицеров хватает дел и без того, чтобы следить за новичками: член команды без звания может попасться на глаза Шкиперу разве что при проверке. Но Брисби повторно послал за Торби.

Брисби получил указание из Корпуса "Икс" поговорить относи-

тельно рапорта Баслима с его курьером, имея в виду некоторые неясности ситуации. Поэтому Брисби вызвал Торби.

Первым делом тот был предупрежден о необходимости держать язык за зубами. Брисби оповестил его, что наказание за болтовню может быть самым тяжелым из всех, что есть в распоряжении военно-полевого суда.

— Но дело не в этом. Мы должны быть уверены, что этот вопрос никогда не возникнет. Иначе нам вообще не стоит говорить.

Торби помедлил.

— Откуда мне знать, что буду держать язык за зубами, если я вообще не знаю, о чем речь?

— Я могу приказать тебе, — с раздражением сказал Брисби.

— Да, сэр. И я скажу: "Есть, сэр!" Но разве это даст вам уверенность, что я не пойду на риск предстать перед военно-полевым судом?

— Но... Это же смешно! Я хочу поговорить о делах полковника Баслима. И ты тут на меня не тявкай, понял? А не понял — разорву тебя на куски голыми руками. И ни одному сопляку я не позволю валять дурака, когда речь идет о том, что делал Старик.

— Почему вам так прямо и не сказать, Шкипер, — с облегчением сказал Торби. — О том, что касается папы, я не пророню ни слова — ведь это было первое, чему он меня научил.

— Ах вот оно как, — Брисби улыбнулся. — Я должен был бы знать. Отлично.

— Я думаю, — задумчиво сказал Торби, — должно быть подтверждение, что я могу говорить именно с вами.

Брисби искренне удивился:

— А я и не предполагал, что может быть еще какой-то вариант. Конечно, подтверждение есть. Я могу показать тебе депешу из Корпуса, предписывающую мне обсудить с тобой его рапорт. Это убедит тебя.

Брисби был вынужден показать депешу с грифом "Совершенно секретно" самому младшему члену своей команды, чтобы убедить этого новичка: его Командующий имеет право поговорить с ним. Но в данной ситуации это было самым разумным.

Торби прочел текст и кивнул.

— Все, что вам угодно, Шкипер. Я уверен, что папа одобрил бы меня.

— Ладно. Ты знал, чем он занимался?

— Ну... и да, и нет. Кое-что я видел. Я понимал, какими вещами он интересовался, потому что заставлял меня наблюдать и запоминать. Я носил ему послания, и каждый раз все было в большой тайне. Но я никогда не знал, в чем было дело. — Торби нахмурился. — Говорили, что он был шпионом.

— Разведчик звучит лучше.

Торби пожал плечами:

— Папа мог называть себя любым именем. Он никогда не обращал внимания на слова.

— Да, он никогда не обращал внимания на слова, — согласился

Брисби, припоминая, как был испепелен до костей, когда промедлил с подъемом. — Я хотел бы объяснить тебе. М-м-м... ты знаешь историю Терры?

— Кое-что.

— Задолго до эры космических путешествий, когда мы еще не заполонили Терру, освоенные пространства ограничивались каким-то пределом. И каждый раз, когда осваивалась новая территория, этому сопутствовали три особенности: первыми были торговцы, которые использовали предоставляющиеся им возможности, затем бандиты, которые нападали на честных людей, а затем шел поток рабов. Это же происходит и сегодня, когда мы прорываемся сквозь космос вместо того, чтобы осваивать моря и пустыни. Торговцы фронта — это искатели приключений, которые идут на большой риск ради больших прибылей. Те, кто вне закона, они же бандиты с холмов, или пираты моря, или рейдеры космоса, стараются утвердиться в каждом пространстве, еще не находящемся под защитой полиции. И то, и другое — временные явления. Но работорговля — нечто совсем иное. Это самая ужасная из привычек человека, и с ней труднее всего покончить. С каждой новой территорией она воссоздается снова, и корни ее вырвать очень нелегко. Когда какую-нибудь культуру поражает работорговля, начинают загнивать ее законы и экономика; она поражает и людей, и отношения между ними. Ты борешься с ним, ты загоняешь его в подполье — но каждый день рабство может снова вынырнуть, ибо существуют люди, считающие, что "владеть" другими людьми — это их естественное право. И договориться с ними невозможно. Ты можешь убить их, но не в состоянии заставить изменить взгляды.

Брисби вздохнул:

— Баслим, Стража — это и полиция, и почта; уже два столетия у нас не было больших войн. И на нас лежит невероятно тяжелая обязанность поддерживать порядок на границах шара в три тысячи световых лет в окружности — и никто не в состоянии представить себе, как он велик, ни один мозг не в состоянии усвоить это.

Человечество не может в полной мере и охранять его. С каждым годом пространство становится все больше. Полиция планет едва успевает затыкать дыры. Что же касается нас, то, чем больше мы затыкаем их, тем больше их становится. И для большинства из нас это работа, это благородная работа, но конца ей не видно.

Для полковника Ричарда Баслима она была страстью. И с каждым годом она захватывала его все больше. Особенно он ненавидел работорговлю, и я видел, как при одной мысли о ней ему становилось дурно. Он потерял ногу и глаз — думаю, что ты знаешь об этом, — преследуя грузовой корабль работорговцев с людьми на борту.

Многие офицеры после таких ранений сочли бы свой долг выполненным — можно выйти в отставку и отдыхать. Но только не старый Наппевать-и-Растереть! Несколько лет он учился, затем обратился в некий корпус, который мог принять его таким, каков он есть, и предложил свой план.

Девять Миров — это становой хребет работорговли. Саргон был колонизирован много лет назад, и после того, как откололись, они никогда не признавали законов Гегемонии. Девять Миров не считаются с человеческими правами и не хотят считаться. Поэтому мы не можем бывать у них и они не могут посещать наши миры.

Полковник Баслим решил, что выяснить все тайны этого мира проще всего, если он будет работать на Саргоне. Он понимал, что работорговцы должны иметь свои суда, должны иметь базы, должны иметь рынки — и это не подпольная деятельность, а большое, поставленное дело. Поэтому он решил оказаться на Саргоне и на месте все изучить.

Это был бессмысленный ход — один человек против империи девяти планет... но Корпус "Икс" занимается только такими бессмысленными делами. Но даже и в этом случае они не согласились бы забросить его как агента, если бы у Баслима не было плана, как доставлять свои сообщения. Агент не может сам путешествовать туда и обратно; он не может пользоваться и почтой — не говоря уж о том, что между нами и ими нет почтового сообщения, — и, конечно, он не мог сноситься через космос — это было бы столь же подозрительно, как духовой оркестр.

Но у Баслима была идея. Единственные, кто посещал и Девять Миров, и нас, были Свободные Торговцы. Но они бежали от политики как от огня, что ты знаешь лучше меня, и прилагали все усилия, чтобы только не нарушать местных обычаев. Тем не менее полковник Баслим сумел войти к ним в доверие.

Я думаю, ты догадываешься, что те люди, с которыми он поддерживал отношения, были Свободными Торговцами. Он сообщил Корпусу "Икс", что будет поддерживать связь через своих друзей. Поэтому ему и разрешили попытку. Я предполагаю, что никому и в голову не приходило, что он будет действовать под видом нищего: он всегда был неподражаем в своих импровизациях. И он сделал это, годами вел наблюдения и слал свои сообщения.

Такова подоплека, а сейчас я хочу вытянуть из тебя все, что ты знаешь. Ты должен рассказать нам о его методах — в тех сообщениях, которые я видел, об этом нет ни слова. Другие агенты могли бы использовать его опыт.

— Я расскажу вам все, что я знаю, — грустно сказал Торби. — Но известно мне немного.

— Ты знаешь больше, чем сам догадываешься. Или ты хочешь, чтобы психолог снова уложил тебя, и тогда ты увидишь, сколько нам удастся из тебя вытащить?

— Все, что угодно, если это поможет делу папы.

— Поможет. И вот еще что... — Брисби пересек кабинет и взял лист бумаги, на котором был изображен силуэт космического корабля. — Что это за корабль?

Глаза Торби расширились:

— Саргонезский крейсер.

Брисби схватил другой листок.

— А это?

— Этот походит на того работорговца, который садился в Джабулпорте дважды в год.

— Ничего общего ни с тем, ни с другим, — яростно сказал Брисби. — Это образцы для опознания из моего досье — корабли, которые строятся на наших крупнейших верфях. И если ты их видел в Джабулпорте, то это или копии, или же суда куплены у нас.

Торби обдумал сказанное.

— Они строят суда сами.

— Так мне и говорили. Но полковник Баслим сообщал серийные номера судов — не могу себе даже представить, как он раздобывал их; может, ты догадаешься. И он клялся, что работорговля получает поддержку из наших миров. — Брисби не мог скрыть своего отвращения.

Торби регулярно посещал Рубку — порой, чтобы увидеть Брисби, а порой, чтобы подвергнуться расспросам под гипнозом, который вел доктор Кришнамурти. Брисби постоянно напоминал, что поиск родителей Торби продолжается, и внушал ему, чтобы тот не падал духом — такой поиск может занять много времени. Повторяющиеся намеки заставили Торби думать о результате уже не как о чем-то невозможном, а как о реальности, которая скоро явится воочию: он уже думал о своей семье, пытаясь представить, кем он был, — как было бы здорово узнать это, стать таким, как все остальные люди.

Брисби успокаивал его, хотя в тот самый день, когда "Гидра" стартовала с Гекаты, он вместо данных о Торби получил предупреждение не допускать его к вахтам на жизненно важных узлах корабля. Известие это он держал при себе, так как был уверен, что полковник Баслим никогда не ошибался и скоро все прояснится.

Когда Торби был допущен к Боевому Контролю и известие об этом распространилось по судну, Брисби испытал определенное беспокойство — то был "секретный" отдел, закрытый для посетителей, — но затем он успокоил себя мыслью, что человек, не получивший специальной подготовки, не может увидеть здесь ничего, что повредило бы секретности, да и, кроме того, Торби имел отношение к куда более щекотливым делам. Брисби понимал, что ему довелось узнать очень важные вещи — например, как Старик использовал свое увечье, чтобы прикрывать активность, достойную здорового человека с двумя ногами; и что он с мальчиком были в самом деле нищими, жившими только на подаяния. Брисби преклонялся перед столь искусным перевоплощением, которое могло стать примером для других агентов.

Но Старик всегда был неподражаем.

Поэтому Брисби допустил Торби к Боевому Контролю. Он решил сделать это, не дожидаясь, пока придет официальное представление из Бюро Личного Состава. Но он обеспокоился, получив сообщение, в котором говорилось о Торби.

Когда оно пришло, рядом с ним был помощник. Оно было закодировано, но Брисби увидел номер, присвоенный Торби; он сам много раз писал его, отсылая сообщения в Корпус "Икс".

— Взгляни, Станк! Здесь говорится, кто такой наш найденыйш.
Через десять минут они расшифровали послание; в нем были следующие строчки:

"ПОЛНЫЙ ИДЕНТПОИСК БАСЛИМ ТОРБИ — РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ
ТЧК ПЕРЕДАТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СТАНЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ГЕКАТЫ ТЧК".

— Что за ерунда, Станки?

Станк пожал плечами:

— Так уж выпали кости, босс.

— Я чувствую себя, словно обманул Старика. Он был уверен, что у мальчишки есть гражданство.

— Я не сомневаюсь, что есть миллионы граждан, которые лезут из кожи вон, пытаясь доказать, кто они. Полковник Баслим мог быть прав, и все же доказать это не удается.

— Я и думать не могу, чтобы передать его куда-то. Я несу за него ответственность.

— Это не твои заботы.

— Ты никогда не служил с полковником Баслимом. Помогать ему было сущим удовольствием... единственное, чего он требовал, — стопроцентной надежности. А тут... ничего общего.

— Кончай ругать себя. Ты должен подчиниться предписанию.

— С этим надо разобраться, Эдди! Я хочу видеть артиллериста Баслима.

Торби заметил, что Шкипер был мрачен — но он нередко бывал таковым.

— Артиллерист Третьего Класа Баслим явился, сэр.

— Торби...

— Да, сэр? — с удивлением сказал Торби, потому что Шкипер обратился к нему по имени, на которое он откликался, лишь когда был под гипнозом.

— Пришло сообщение относительно твоей идентификации.

— Да? — Торби был так поражен, что потерял выправку. Он испытал прилив радости — наконец станет ясно, кто он такой!

— Они не смогли найти тебя. — Брисби помолчал и резко сказал: — Понимаешь?

Торби сглотнул комок в горле:

— Да, сэр. Они не знают, кто я такой. Я... никто.

— Чепуха. Ты по-прежнему тот, кто ты есть.

— Да, сэр! Это все, сэр? Могу ли я идти?

— Минутку. Я должен доставить тебя обратно на Гекату, — торопливо добавил он, видя выражение лица Торби. — Но не беспокойся. Если ты изъявишь желание, Они скорее всего позволят тебе остаться с нами. Во всяком случае, они ничего не смогут сделать тебе; ты ничем не провинился.

— Да, сэр, — устало повторил Торби.

Никто и ничто. Торби ярко припомнил старый-старый кошмар: он стоит на платформе, слыша, как аукционер выкрикивает его описа-

ние и холодные глаза осматривают его. Но он взял себя в руки и весь остаток дня был спокоен и собран. И лишь когда помещение погрузилось во тьму, он вцепился зубами в подушку и, захлебываясь слезами, прошептал: "Папа... ох, папа!"

Торби носил форменную одежду Стражников, но в душевой не мог скрыть татуировку на левом бедре и без всякого смущения объяснил, что она значит. Реакция колебалась от любопытства к сомнению и к полному удивлению, что здесь, с ними, есть человек, который прошел все это — плен, продажу, рабство, — и чудом вернул себе свободу. Мало кто представлял себе, что рабство в самом деле существует и что оно собой представляет; но Стражники отлично знали, что это такое.

Метка эта никого не шокировала.

Однако на следующий день после того, как пришла депеша с ноль-идентификацией, Торби встретил в душе Пибби-Децибела. Торби не проронил ни слова; они не разговаривали с тех пор, как Торби вышел из-под его начала, хотя по-прежнему сидели за одним столом. Но сейчас Пибби обратился к нему:

— Привет, Торговец!

— Привет, — ответил Торби, намыливаясь.

— Что у тебя там на ноге? Грязь?

— Где?

— На бедре. Вон там. Дай-ка посмотреть.

— Держи лапы при себе.

— Да ты не обижайся. Повернись к свету. Что это такое?

— Клеймо раба, — вежливо объяснил Торби.

— Точно? Ты в самом деле был рабом?

— Пришлось.

— И они держали тебя в кандалах? Может, тебе приходилось и целовать ногу хозяина?

— Не будь идиотом!

— Вы только послушайте его! Знаешь, что, мальчик-торговец? Я слышал о таком клейме, но думаю, что ты сам его вытатуировал. Чтобы об этом говорили. Так же, как и о том, как ты сжег пирата.

Торби прикрыл душ и вышел.

За обедом Торби отдал все внимание миске с картофельным пюре. Он слышал, как Децибел что-то вещал, но старался не прислушиваться к его бесконечной болтовне.

Пибби повторил свое обращение:

— Эй, Раб! Брось свою картошку! Ты слышишь, я к тебе обращаюсь! Вскреби грязь из ушей!

Торби швырнул миску с картошкой по самой короткой траектории, и все ее содержимое вошло в прямой контакт с физиономией Децибела.

Обвинение, выдвинутое против Торби, звучало так: "Покушение на старшего офицера на борту корабля, находящегося в состоянии боевой готовности". Пибби выступал свидетелем обвинения.

Полковник Брисби посмотрел на него, и на скулах у него заходили

желваки, когда он выслушал объяснение Пибби:

— Я попросил его подать мне картошку... а он залепил мне ею по лицу.

— Это все?

— Ну, сэр, может, я обратился к нему и не очень вежливо. Но ведь это не причина...

— Обойдемся без ваших выводов. Драка имела продолжение?

— Нет, сэр. Нас развели.

— Хорошо. Баслим, что вы можете сказать в свое оправдание?

— Ничего, сэр.

— Все так и было?

— Да, сэр.

Брисби продолжал играть желваками, не в состоянии ни о чем думать. Он был полон гнева, чувства, которое он не мог себе позволить при исполнении обязанностей, поэтому заставил себя успокоиться. Что-то тут не так.

Вместо того чтобы вынести решение, он сказал:

— Шаг в сторону. Полковник Станк...

— Да, сэр.

— Присутствовали и другие люди. Я хотел бы выслушать их.

— Они ждут вашего вызова, сэр.

— Очень хорошо.

Торби был приговорен к трем дням гауптвахты с отсрочкой приговора на тридцать дней испытательного срока с разжалованием.

Децибел Пибби был приговорен "за подстрекательство к бунту с использованием оскорбительных выражений, относящихся к расе, религии, месту рождения или прочим условиям, предшествовавшим вступлению Стражника на Службу, на борту корабля, находящегося..." и так далее — к трем дням гауптвахты с отсрочкой исполнения на девятнадцать дней испытательного срока с понижением в звании на одну ступень.

Полковник и его Заместитель вернулись в кабинет Брисби. Брисби был мрачен, полевой суд вывел его из себя. Станк сказал:

— Плохо, что пришлось наказать мальчишку Баслима. Я думаю, он был прав...

— Конечно. Но подстрекательство к бунту не может служить оправданием. Как и все остальное.

— Конечно, он должен был так поступить. Но мне не нравится характер Пибби. Мне придется внимательно присмотреться к нему — насколько он отвечает своему назначению.

— Так и сделай. Но черт побери, Станки, у меня чувство, что я сам вступаю в борьбу.

— Что?

— Два дня тому назад я был вынужден сказать Баслиму, что нам не удалось идентифицировать его. Он вышел отсюда в шоке. Мне пришлось посоветоваться с психологом. Он сказал, что парень перенес удар. Что у него может быть неадекватная реакция и на правильные — то есть, я хотел сказать, на неправильные — раздражители. И я очень

рад, что дело обошлось картофельным пюре, а не ножом.

— Ох, да брось!

— Ты не был здесь, когда я преподнес ему эту новость. И не видел, как она поразила его.

На пухлое лицо Станка легла тень задумчивости.

— Босс! Сколько лет было этому мальчишке, когда его захватили?

— Криш считает, что около четырех.

— Шкипер, сколько вам было лет, когда в той провинции, где вы родились, у вас взяли отпечатки пальцев, анализ крови, сфотографировали глазное дно и так далее?

— Скорее всего, когда я пошел в школу.

— И у меня тоже. И могу ручаться, так поступают в большинстве случаев.

Брисби моргнул.

— Вот почему они ничего не нашли относительно его!

— Может быть. Но на Риффе определяют индекс идентичности еще до того, как ребенок выплезет из колыбели.

— И у меня на родине тоже. Но...

— Точно, точно! Это обычная практика. Но к а к?

Брисби побледнел, а затем грохнул кулаком по столу.

— Отпечатки ступней! А мы не высылали их. — Он включил селектор. — Эдди! Немедленно Баслима ко мне!

Торби мрачно спарывал шевроны, которые он с таким удовольствием носил столь краткое время. Он был потрясен этим безапелляционным решением, у него ныло все тело. Но, услышав приказ, он поспешил исполнить его. Его встретил полковник Брисби.

— Баслим, снять обувь!

— Сэр?

— Снять обувь!

Ответ на депешу Брисби, дополненную кодом отпечатков ступней, пришел через сорок восемь часов из Бюро Личного Состава. "Гидра" получила его, готовясь к рейду на Ултима Туле. Полковник Брисби расшифровал его, когда корабль был готов к старту.

Он прочел: "СТРАЖНИК ТОРБИ БАСЛИМ ИДЕНТИФИЦИРОВАН КАК ПРОПАВШЕЕ ЛИЦО ТОР БРЕДЛИ РУДБЕК С ТЕРРЫ ТЧК НА ГЕКАТУ НЕ ПЕРЕСЫЛАТЬ ТЧК ОТОСЛАТЬ НА ТЕРРУ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ТЧК ПОВТОРЯЕМ КАК МОЖНО СКОРЕЕ"

Брисби прищелкнул языком.

— Полковник Баслим н и к о г д а не ошибался. Живой или мертвый, но он никогда не делал ошибок!

— Босс...

— Что?

— Перечитайте это еще раз. Обратите внимание, кто он.

Брисби перечел сообщение. Затем он сказал сдавленным голосом:

— Ну почему такие истории вечно случаются именно с "Гидрой"?

Оставив за собой триста световых лет, Торби был на прекрасной Ултима всего лишь два часа и двадцать минут. Единственное, что ему удалось увидеть из ее прелестных пейзажей, было пространство

взлетного поля между "Гидрой" и Почтовым курьером Стражи "Ариэль". Через три недели он был на Терре. Он чувствовал себя совершенно разбитым.

ГЛАВА 17

Возлюбленная Терра, Мать Миров! И какой поэт, был ли он ошарашен ее посещением или нет, не пытался передать тоску человека по своей колыбели... ее прохладные зеленые холмы, гряды облаков, бесконечность океанов, ее чарующее материнское тепло.

Торби впервые увидел легендарную Землю на экране корабля Гегемонии. Капитан Стражи Н'Ганги вошел в салон и показал ему остроконечные очертания египетских пирамид. Торби не знал об их историческом значении и поэтому уставился в другое место. Но он с восторгом наблюдал за планетой из космоса: ему впервые представилась такая возможность.

Время на "Аризле" проходило довольно скучно. Почтовое судно, предназначенное для перевозки груза, управлялось командой из трех инженеров и трех астронавигаторов: они то были на вахте, то спали. Приняли его поначалу не лучшим образом, потому что капитан Н'Ганга был раздосадован указанием "принять пассажира", поступившим с "Гидры", — почтовое судно должно двигаться напрямик к цепи, никого не беря на борт.

Но Торби зарекомендовал себя прекрасно, он помогал коку, а все остальное время проводил в библиотеке, к тому же они получили указание садиться на поле Галактических Предприятий, а не на Базе Стражи.

Вместо веревочной лестницы, по которой он должен был спускаться (на почтовых нет трапа), Торби увидел, что к люку подъехало подъемное устройство. Торби, которому за все эти недели в узком стальном кубрике так и не удалось помыться, замаялся в смущении.

Его встречали восемь или десять человек, среди которых была молодая женщина и двое седовласых, уверенных мужчин. На каждом была одежда, которая стоила не меньше годового заработка Стражника. Особенно бросалась в глаза женщина, которую Торби оценил опытным взглядом Торговца: подчеркнутая скромность ее гардероба так и бросалась в глаза.

Но, с его точки зрения, эффект от ее внешнего вида скрадывался супермодной прической — величественным сооружением, где золото отливало зеленью. Он только моргнул, увидев ее драгоценности; ему доводилось видеть красивых женщин в Джаббулпорте, где из-за климата одежда служила лишь украшением, и разница сразу же бросилась в глаза. Ему с тоской подумалось, что снова придется привыкать к новым обычаям.

Важный мужчина встретил его, когда он вышел из лифта.

— Тор! Добро пожаловать домой, мальчик мой! — Он схватил Торби за руку. — Я Джон Уимсби. Как давно я держал тебя на коленях! Зови меня дядя Джек. А это твоя кузина Леда.

Женщина с зелеными волосами положила руку Торби на плечо и поцеловала его. Он был изумлен и не ответил ей тем же.

— Как чудесно, что ты дома, Тор, — сказала она.

— Да, спасибо.

— А теперь мы должны поприветствовать бабушку и дедушку, — объявил Уимсби. — Профессор Бредли... и твоя бабушка Бредли.

Бредли — старше Уимсби, высокий и стройный, хотя и с небольшим брюшком; у него была небольшая аккуратно подстриженная борода. Так же, как и Уимсби, он был одет в пиджак и короткую накидку, но не столь изысканного покроя. У женщины было доброе лицо и ласковые голубые глаза; одежда ее не отличалась великолепием, но шла ей. Она расцеловала Торби в обе щеки и сказала:

— Славный мой сын возвратился домой...

Дедушка воздел руки кверху.

— Это чудо, сынок! Ты выглядишь точно, как наш мальчик — твой отец. Не так ли, дорогая?

— Так и есть!

Вокруг Торби стоял гомон. Он был ужасно смущен и с трудом сохранял самообладание: оказаться в окружении этих людей, которые были его плотью и кровью, было для него труднее, чем впервые вступить на борт "Сису". Эти старики — неужели они родители его отца? Торби с трудом мог представить себе это, хотя знал, что так и есть.

К его облегчению, этот человек, Уимсби, который назвался дядей Джеком, сказал с вежливой непреклонностью:

— Пожалуй, нам пора двигаться. Бьюсь об заклад, что мальчик чертовски устал. Поэтому я отвезу его домой. Идет?

Бредли пробормотал, что они согласны, и компания пошла к выходу. Остальные, которых ему не представили, двинулись с ними. В проходе их подхватил эскалатор, который все набирал скорость, пока не замелькали стены. По мере приближения к выходу скорость замедлилась — они проехали не меньше мили, прикинул Торби, — и наконец эскалатор остановился, дав им возможность сойти.

Здесь было много народу: потолок возвышался над головой, а стен не было видно из-за толпы. Торби понял, что они находятся на транспортно-портной станции. Молчаливый мужчина, сопровождающий их, освободил им дорогу, и они двинулись по прямой, не обращая внимания на остальных. Несколько человек попытались кинуться за ними, и одному это удалось сделать. Он ткнул в Торби микрофоном и сказал быстро:

— Мистер Рудбек, что вы думаете о...

Охрана оттащила его, и мистер Уимсби торопливо сказал:

— Потом, потом! Звоните мне в контору и вы получите полный ответ.

Со всех сторон, и сверху, и издалека на них были нацелены объективы. Они прошли в другой проход для пассажиров, и двери за ними закрылись. Движущаяся дорожка доставила к эскалатору, который перенес их в маленький закрытый аэропорт. Аэрокар уже ждал их, и, обойдя его плоский блестящий отполированный эллипсоид, мистер Уимсби остановился.

— Вы удовлетворены? — спросил он у миссис Бредли.

- О, конечно! — ответил профессор Бредли.
- Может быть, вас устроит машина?
- Это будет лучше всего. А вас ждет прекрасный перелет.
- Тогда попрощаемся. Я позвоню вам, когда он придет в себя.

Договорились?

— Конечно. Мы будем ждать. — Торби получил поцелуй в щеку от бабушки и хлопок по плечу от дедушки. Уимсби, Леда и он заняли места в большом салоне. Командир отдал приветствие мистеру Уимсби, а затем Торби.

Мистер Уимсби остановился в центральном проходе.

— Почему бы вам, ребята, не пройти вперед и не полюбоваться полетом? А мне надо сделать срочный вызов.

— Конечно, дядя.

— Ты простишь меня, Торби? Дела не могут ждать — а на дяде Джеке лежит забота о шахтах.

— Конечно... дядя Джек.

Леда потащила его вперед, и они заняли места в прозрачном блистере. Аэрокар начал набирать высоту в несколько тысяч футов. Сделав круг над плоской равниной, он устремился прямо на север к горам.

— Удобно? — спросила Леда.

— Очень. Разве что я грязен и все никак не могу прийти в себя.

— Здесь сзади есть душ. Но мы скоро будем дома — так что пусть путешествие доставит нам удовольствие.

— Хорошо. — Торби не хотел отрываться от знакомства с волшебной Террой. Она была похожа, решил он, на Гекату — нет, больше на Вупамуру, не считая того, что ему никогда раньше не приходилось видеть так много зданий. А эти горы...

Он обернулся:

— А что это за белая штука? Мел?

Леда взгляделаь:

— Что ты, это же снег. Горы Сангро де Кростос.

— Снег, — повторил Торби. — Замерзшая вода.

— Ты никогда раньше не видел снега?

— Я слышал о нем. Но он не такой, каким я его себе представлял.

— Это в самом деле замерзшая вода — и все же не совсем: он более

мягкий. — Она вспомнила предупреждение отца: что бы ни было — не удивляться. — Знаешь, — сказала она, — я научу тебя кататься на лыжах.

Позади осталось немало миль и прошло много времени, прежде чем ей удалось объяснить, что такое лыжи и зачем люди пользуются ими. Торби понял объяснение: это нечто, чем он может в свое время заняться, если будет на то охота. Леда сказала, что сломанная нога — это все, что может с ним случиться. Так ли это смешно? Кроме того, она упомянула, что может быть холодно. Для Торби холод был связан с голодом, страхом и побоями.

— Может, я и научусь, — с сомнением сказал он, — но не очень верю в это.

— О, конечно, научишься! — Она сменила тему разговора. — Прости

мое любопытство, Тор, но у тебя такой забавный акцент.

— Я и не знал, что у меня акцент...

— Я не хотела тебя обидеть.

— Ты и не обидела. Думаю, что приобрел его в Джаббулпорте. Там я жил дольше всего.

— Джаббулпорт... дай-ка припомнить. Это...

— Столица Девяти Миров.

— Ах, да! Одна из наших колоний, не так ли?

Торби представил себе, как на Саргоне восприняли бы такое предположение.

— Ну, не совсем. Теперь это суверенная империя — и по традиции там считают, что всегда была таковой. Они не хотят признавать, что являются выходцами с Земли.

— Что за странная точка зрения?

Подошел стюард с выпивкой и легкой закуской. Тор осторожно отхлебнул напиток и попробовал поджаренный торт.

— А что ты там делал, Тор? — спросила Леда. — Ходил в школу?

Торби вспомнил терпеливые поучения папы и подумал, что она имеет в виду нечто совсем другое.

— Я нищенствовал.

— Что?

— Я был нищим.

— Простите?

— Нищим. Дипломированным попрошайкой. Лицом, которое просит милостыню.

— Я так и поняла твои слова, — ответила она. — Я знаю, что такое нищий, я читала об этом. Но прости меня, Тор, я же всего лишь домашняя девочка — поэтому я и изумилась.

Она была отнюдь не "домашней девочкой", а умной женщиной, вполне отвечающей своему окружению. После того как умерла ее мать, она стала хозяйкой в отцовском доме и умела, не теряя достоинства, разговаривать с людьми с разных планет на трех языках, поддерживая светскую болтовню больших званных обедов. Леда умела ездить верхом, танцевать, петь, плавать, кататься на лыжах, великолепно вести дом, разбираться в математике, читать и писать, если приходилось, и отдавать необходимые распоряжения. Она была умной, обаятельной, современной женщиной, так сказать, культурным вариантом супер-женщины — толковой, собранной и башковитой.

Но этот странный, пропавший и нашедшийся кузен был для нее новой пташкой.

— Прости мое невежество, — медленно сказала она, — но у нас на Земле нет ничего подобного. Я с трудом могу понять... Это, наверное, страшно неприятно?

Мысленно Торби вернулся в прошедшие годы: в позе лотоса он сидел на Площади рядом с папой, болтая с ним.

— Это было счастливейшее время в моей жизни, — просто сказал он.

— О! — Это было все, что она могла сказать в ответ.

Но палочка оставил их, чтобы она могла приняться за работу. И, кроме того, заставить человека говорить о себе самом всегда доставляло ей удовольствие.

— А как все началось, Торби? Я хотела бы знать все с самого начала.

— Видишь ли, меня продали с торгов и... — он подумал, как объяснить ей, кем был для него папа, и решил, что с этим придется подождать, — и меня купил старый бродяга.

— Купил тебя?

— Я был рабом.

Леде показалось, что она рухнула в холодную воду. Скажи он "каннибал", "вампир" или "наильник", она не испытала бы большего потрясения. Она приподнялась, чтобы перевести дыхание.

— Тор, прости меня, если я буду невежлива, но нас очень интересует это время, когда ты был потерян. Господи, прошло почти пятнадцать лет! И если ты не хочешь отвечать, так и скажи. Ты был симпатичным маленьким мальчиком, и я просто обожала тебя — но только, пожалуйста, не лупи меня, если я скажу что-то не то.

— Ты мне не веришь?

— А что мне остается делать? Мы уже столетия не знаем рабства.

"Лучше бы мне никогда не покидать "Гидры", — подумал Торби. Будучи в Страже, он уже понял, что работорговля — это то, о чем многие фракции внешних миров и не слышали.

— Ты знала меня, когда я был маленьким? Почему я не помню тебя? Я не помню ничего из того, что было раньше... Я не помню Терру.

Она улыбнулась.

— Я была на три года старше тебя. В последний раз я видела тебя, когда мне было шесть — это я помню, — а тебе было три, так что ты забыл.

Торби понял, что ему представилась возможность выяснить свой собственный возраст.

— Сколько тебе сейчас лет?

Она смущенно улыбнулась.

— Сейчас мне столько же лет, сколько и тебе, и так будет до тех пор, пока я не выйду замуж. Смени тему, Торби; когда ты задаешь бестактные вопросы, я не могу обижаться на тебя. На Терре ты не должен спрашивать у леди, сколько ей лет; ты должен исходить из того, что она моложе тебя.

— Вот как? — Торби задумался над этим любопытным обычаем. Среди Людей женщины старались прибавить себе лет, что повышало их статус.

— Да, вот так. Например, твоя мать была обаятельной женщиной, но я никогда не знала, сколько ей лет. Может, ей было двадцать пять, когда я знала ее, может, сорок.

— Ты знала моих родителей?

— О, конечно! Дядя Крейтон был такой милый, и у него был такой низкий голос. Он всегда совал в мою потную маленькую ручонку кучу долларов, чтобы я могла купить себе конфет. — Она нахмурилась. — Но я не могу припомнить его лица. Разве это не глупо? Но не обращай

внимания, Тор; спрашивай обо всем, что захочешь. И я буду очень рада, если ты ничего не будешь утаивать.

— Я не утаиваю, — ответил Торби, — но не помню, как нас захватили. Мне помнится только, что у меня никогда не было родителей. Я был рабом, менявшим места и хозяев, — пока не попал в Джаббулпорт. Там меня снова продали, и это было самым счастливым событием, выпавшим на мою долю.

С лица Леды сползла светская улыбка. Она тихо сказала:

— Ты в самом деле так думаешь? Или мне показалось?

Торби охватило древнее чувство, знакомое всем путешественникам, возвращающимся из странствий.

— Если ты думаешь, что рабства не существует... им охвачена вся огромная Галактика. Хочешь, я закатаю брюки и покажу тебе?

— Что ты покажешь мне, Тор?

— Мое клеймо раба. Клеймо, которое при сделке ставит фабрика на свою собственность. — Он закатал левую штанину. — Видишь? Вот дата, когда я получил вольную, — она на саргонезском, это что-то вроде санскрита, и я сомневаюсь, что ты можешь прочесть.

У нее округлились глаза.

— Какой ужас! Это действительно ужас!

— Зависит от хозяина, — сказал Торби, опуская штанину. — Это-то и плохо.

— Но почему никто ничего не делает?

Он пожал плечами.

— Это не так просто.

— Но... — она остановилась, потому что показался ее отец.

— Привет, ребята. Ну, как тебе полет, Тор? Нравится?

— Да, сэр. Виды просто восхитительные.

— Скоро мы будем дома. — Он указал пальцем: — Видишь? Это Рудбек.

— Этот город называется Рудбек?

— Когда здесь стояла деревушка, она называлась Джонсонова Дыра или как-то так. Но я говорю не о городе Рудбек: я имею в виду наш дом — твой дом — "Рудбек". Видишь башню над озером... а за ней вершина Великий Титан. Самое потрясающее зрелище в мире. Ты Рудбек из Рудбеков и Рудбеков... "Рудбек в кубе", как говорил твой отец. Он вошел в нашу семью после женитьбы, и имя его не очень волновало. А мне оно нравится; оно звучит как раскат грома, и это просто великолепно, что Рудбек возвращается в свою резиденцию.

Торби блаженствовал в ванной под тугими струями душа и в бассейне, стенки которого массировали его тысячами теплых сильных пальцев. В конце концов он чуть не захлебнулся, потому что никогда не умел плавать.

У него никогда не было камердинера. Он отметил, что в доме Рудбеков спуют десятки людей; в огромном помещении для всех было место, но он начал понимать, что большинство из них были слугами. Данный факт не очень удивил его: он знал, какое количество слуг было

в богатых домах Джаббулпорта; но он не знал, что на Терре иметь живых слуг было вершиной изысканного вкуса, больше, чем портшез на Джаббуле, и куда больше, чем широкое гостеприимство на Встречах. Камердинер заставлял испытывать его чувство неловкости, тем более когда вокруг него собралась команда из трех человек. Торби отказался от их помощи во время купания, он только разрешил побрить себя, потому что здесь пользовались классическими опасными бритвами, а его собственная электрическая не работала от сети в доме Рудбеков. Кроме того, он покорно выслушал советы, касающиеся не совсем знакомых одеяний.

Одежда, ждавшая его в гардеробе, не подходила ему по размерам; старший камердинер торопливо перекроил и снова склеил ее, бормоча извинения. Он разглаживал последние складки на слишком тугом жабо, когда появившийся дворецкий объявил:

— Мистер Уимсби шлет свои приветствия Рудбеку и ждет его в большом холле.

Торби припомнил путь по анфиладам комнат.

Дядя Джек ждал его вместе с Ледой, на которой было... Торби растерялся: цвет ее платья так неуловимо менял оттенки, что порой казалось, что его вообще нет. Но выглядела она прекрасно. Теперь ее прическа отливала всеми цветами радуги. Среди ее драгоценностей он заметил большой камень с Финстера и подумал, что он мог быть доставлен "Сису" и, вполне возможно, что он сам отбирал его.

— Итак, ты здесь, мальчик мой! — весело сказал дядя Джек. — Освежился? Ты не должен был переодеваться к столу: это просто маленький семейный обед.

За обедом присутствовали двенадцать человек, и он начался в большом холле, где неслышно скользившие по паркету слуги под звуки музыки разносили напитки; то и дело представляли вновь прибывших.

— Рудбек из Рудбеков, леди Уилкс — это твоя тетя Дженнифер, мальчик, и она прибыла из Новой Зеландии, чтобы приветствовать тебя. Рудбек из Рудбеков, судья Брадер и миссис Брадер; судья — наш Старший Советник... — и так далее. Торби откладывал в памяти имена, связывая их с лицами гостей, думая, как это похоже на Семейю — разве что тут семейные отношения не имели столь четких дефиниций, и ему было не так просто определить место каждого гостя в семейной иерархии.

Но ему было ясно, что он член большого клана. Его статуса никто не называл, так же, как он сам не мог себе представить статуса остальных присутствующих. Две юные женщины присели перед ним в реверансах. Он было подумал, что первая споткнулась, и рванулся ей помочь. Но когда и вторая повторила то же движение, он ответил им приветствием в виде сложенных ладоней.

Чувствовалось, что женщины в годах ждут от него почтительности. Место судьи Брадера он не смог определить. Он не был представлен в качестве родственника — но ведь то был семейный обед. Судья оценивающе смерил Торби с головы до ног и буркнул:

— Рад, что вы вернулись домой, молодой человек. Так и должен

поступать Рудбек из Рудбеков. Твои каникулы причинили нам немало хлопот — не так ли, Джон?

— Больше, чем немало, — согласился дядя Джек, — но теперь все наладилось. Не надо спешить. Дайте мальчику придти в себя.

— Конечно, конечно. Не гнать волну.

Торби подумал, что бы это могло значить, но подошла Леда и положила свою кисть ему на локоть. Она повела его в банкетный зал, остальные последовали за ними. Торби сел по одну сторону большого стола, а дядя Джек занял место по другую: слева от него была тетя Дженнифер, а справа — Леда. Тетя Дженнифер стала его расспрашивать. Поведая, что он только что расстался со Стражей, Торби выслушал ее сожаление по поводу того, что он не офицер. Он постарался ничего не говорить о Джаббулпорте — Леда уже предупредила его. Впрочем, предупреждение не имело смысла: он сам стал задавать вопросы о Новой Зеландии и выслушал лекцию о достопримечательностях острова.

Затем Леда повернулась от судьи Брадера и заговорила с Торби, а тетя Дженнифер обратила свое внимание на мужчину справа.

Стол был изысканный, особенно паштет из языков и мясо на вертеле. Но ложки были ложками и вилки вилками, и, поглядывая краем глаза на действия Леды, Торби справлялся со своими обязанностями. Сервировка его не особенно смущала, потому что он бывал на приемах у Бабушки; да и с правилами поведения за столом был знаком по ехидным урокам Фрица.

Но незадолго до конца обеда он попал в затруднительное положение. Мажордом поставил перед ним большую чашу, плеснул в нее жидкость и застыл в ожидании. Леда тихо сказала:

— Попробуй, кивни и отставь.

Он так и сделал, а когда мажордом удалился, она шепнула ему:

— Не пей, это джин. Кстати, я говорила папочке, чтобы не было тостов.

Наконец с обедом было покончено. Леда снова помогла ему, сказав: "Вставай". Он встал, и все остальные последовали его примеру.

Дядю Джека удавалось видеть только за обеденным столом, да и то не всегда. Он оправдывал свое отсутствие словами: "Кто-то же должен поддерживать огонь в камине. Дела не могут ждать". Как торговец Торби понимал, что Дело есть Дело, но он ждал долгого и серьезного разговора с дядей Джеком, а вместо того ему приходилось принимать участие в светских развлечениях. Леда сочувствовала ему, но помочь не могла, потому что сама ничего не знала.

— Папа жутко занят. У него самые разные компании и дела. Для меня это слишком сложно. Поторопись, нас ждут остальные.

Остальные всегда ждали. На танцы, для катания на лыжах — Торби нравилось это ощущение полета, но он решил не злоупотреблять лыжами, особенно когда влетел в сугроб, едва не снеся дерево, — для игры в карты, на обеды в компании молодых людей, где он занимал место на одном краю обеденного стола, а Леда — на другом, снова танцы, полеты в Иеллоустоунский парк, где они кормили медведей,

ужины далеко за полночь, вечеринки в саду. Хотя поместье Рудбеков размещалось у подножия горного пика, на вершинах которого лежал снег, в усадьбе был огромный тропический сад со столь прозрачным огромным куполом, что Торби не догадывался о его существовании, пока Леда не показала ему. Друзья Леды от души веселились, и постепенно Торби стал привыкать к их небрежно-изысканной болтовне. Молодые люди предпочитали называть его Тор вместо Рудбек. Они обращались с ним с фамильярным уважением и не скрывали интереса к тому факту, что он служил в Страже, посетил много миров, но не затрудняли его вопросами личного характера. Сам же Торби не извещал желания беседовать на эти темы, предпочитая больше слушать.

Но от этого непрерывного веселья он начал уставать. Встречи — прекрасное дело, но тот, кто привык работать, предпочитает рано или поздно взяться за дело.

Эта идея все настойчивее посещала его. Однажды, когда дюжина его спутников выписывала виражи на снегу, Торби остался один на склоне для новичков. Кто-то сделал вираж и остановился, взметнув вихрь снежной пыли. Круглые сутки в поместье крутились люди, и вновь прибывшего звали Джоэл де ла Круа.

— Привет, Тор.

— Привет, Джоэл.

— Я бы хотел поговорить с тобой. У меня есть одна идея, и я хотел бы обговорить ее с тобой до того, как ты начнешь заниматься делами. Можем ли мы увидеться, чтобы вокруг тебя не крутились две дюжины секретарш?

— А когда я начну заниматься делами?

— Сейчас или позже — как ты сам решишь. Я хотел бы поговорить с боссом; но ты ведь, кроме всего прочего, и наследник. И мне бы не хотелось говорить с Уимсби... если даже он и захочет повидаться со мной. — Джоэл был встревожен. — Мне нужно всего лишь десять минут. Или даже пять, если я не заинтересую тебя. Слово Рудбека. А?

Торби попытался понять все сказанное. Заниматься делами? Наследник?

— Я не хотел бы пока давать никаких обещаний, Джоэл, — осторожно сказал он.

Де ла Круа пожал плечами:

— Ладно. Но подумай об этом. Уверю тебя, что дело прибыльное.

— Я подумаю, — согласился Торби. Он оглянулся в поисках Леды. Застав ее в одиночестве, он рассказал ей о предложении Джоэла.

Она слегка нахмурилась:

— Пока ты ничего не обещал, ничего страшного. Джоэл — прекрасный инженер. Но лучше поговорить с папой.

— Что он имел в виду, говоря "заниматься делами"?

— Ну как же, рано или поздно ты займешься ими.

— Какими делами?

— Самыми разными. Ведь ты Рудбек из Рудбеков.

— Что значит "самыми разными"?

— Ну как тебе сказать... — Она обвела рукой и горы, и озеро, и





Рудбек-сити под ними. — Всем этим, Рудбек. Дел хватит. Лично твоих дел, как, например, твое овечье ранчо в Австралии и дом на Майорке. И прочее. Ассоциация Рудбек занимается самыми разными вещами. И здесь и на других планетах. Я даже не могу описать их. Но они "твои", или, точнее, "наши", потому что ими занимается вся семья. Но ты Рудбек из Рудбеков. Как сказал Джоэл, наследник.

Торби смотрел на Леда, чувствуя, как у него пересыхают губы. Он облизнул их и сказал:

— Почему мне никто ничего не говорил?

Леда расстроено посмотрела на него:

— Тор, дорогой! Мы хотели дать тебе возможность освоиться. Отец не хотел тебя беспокоить.

— Ну что ж, — сказал он. — Теперь я уже начал беспокоиться. Лучше я поговорю с дядей Джеком.

С Джоном Уимсби он встретился за обедом, но вокруг было много гостей. Когда они остались наедине, Уимсби отозвал Торби в сторону.

— Леда сказала мне, тебя что-то волнует.

— Не совсем. Но я хотел бы кое-что понять.

— Ты хотел бы... то есть я могу предположить, что ты уже отдохнул. Тогда зайдем ко мне в кабинет.

Они вошли. Выставив секретаршу, Уимсби обернулся к Торби:

— Итак, что же ты хочешь узнать?

— Я хотел бы знать, — медленно сказал Торби, — что значит быть Рудбеком из Рудбеков.

Уимсби развел руками:

— Все... и ничего. Теперь, поскольку твой отец мертв, ты титулованный глава дела... если отец в самом деле погиб.

— Есть какие-то сомнения на этот счет?

— Я думаю, что нет. Но так или иначе, мы нашли тебя.

— Если он в самом деле мертв, то что представляю собой я? Леда, кажется, думает, что мне принадлежит все. Что она имеет в виду?

Уимсби улыбнулся:

— Ты же знаешь девушек. Их голова не предназначена, чтобы заниматься делами. Права собственности нашего предприятия огромны, и большинство предприятий принадлежит нам. Но, если твои родители мертвы, ты с определенной суммой акцийходишь в Ассоциацию Рудбек, которая, в свою очередь, имеет интересы — порой чисто контрольные — в самых разных областях. Я не могу сейчас описать тебе все. Я организую специальный штат людей для этой цели — я практичный человек, который взвалил на себя груз принятия решений, и не могу ломать себе голову, кому принадлежит каждая доля. Но ты заставил меня вспомнить... у тебя же не было возможности тратить деньги, а, наверное, тебе хотелось этого. — Уимсби открыл ящик письменного стола и вынул оттуда пачку. — Здесь мегабак. Если тебе не хватит, давай мне знать.

Торби взвесил пачку на ладони. Необходимость иметь дело с земной валютой не беспокоила его. О кредите в сто долларов он думал как о буханке хлеба, и этой штуке его научил суперкарго: тысяча креди-

тов — суперкредит, а тысяча суперкредитов — это мегабак. Так Люди привыкли переводить валюты одна в другую.

Каждая бумажка из пачки была в десять тысяч кредитов... а здесь было сто банкнот.

— Это... мое наследство?

— О, да это тебе просто на траты. Ты можешь разменять их в банке или магазине. Знаешь, как это делается?

— Нет.

— Пока ты не сунешь бумажку в щель выдающего устройства, старайся не оставлять отпечатков пальцев на чувствительном участке банкноты. Попроси Леду показать тебе — если бы эта девочка зарабатывала деньги так же, как она умеет их тратить, ни тебе, ни мне не пришлось бы работать. Но, — продолжил Уимсби, — коль скоро мы уж начали... — Он открыл папку и протянул несколько листов. — Хотя это не очень сложно. Просто подпишись в конце каждой страницы, приложи отпечаток пальца, и я позову Бета, чтобы он заверил их. Вот тут, ниже последней строчки. Я лучше придержу их, а то листы скручиваются.

Уимсби протянул один лист для подписи. Торби помедлил, а затем вместо того, чтобы подписать, потянул документ из рук Уимсби. Тот не давал:

— В чем дело?

— Если мне нужно подписывать, я хочу прочитать его. — Он вспомнил, как тщательно изучала документы перед подписью Бабушка.

Уимсби пожал плечами:

— Это самые обычные дела, которые судья Брадер подготовил для тебя. — Уимсби сложил документы вместе, подровнял пачку и закрыл папку. — В них сказано, что я должен делать то, что я и так делаю. Кто-то же должен заниматься рутинной работой.

— Почему я должен их подписывать?

— Это мера предосторожности.

— Не понимаю.

Уимсби вздохнул:

— Это точно, в делах ты еще не разбираешься. Но никто этого и не ждет от тебя; у тебя не было возможности изучать их. Поэтому я и должен надрываться над ними, лезть из кожи вон; дела ждать не могут. — Он помедлил. — Это самый простой путь. Когда твои отец и мать отправились во второе свадебное путешествие, они должны были оставить кого-нибудь, кто в их отсутствие вел бы дела. Выбор, само собой, пал на меня, потому что я уже давно управлял и их делами, и делами твоего другого дедушки — он умер до того, как стало ясно, что они пропали. Я занимался ими во время их увеселительной прогулки. О, я не жалею, хотя нет ничего веселого в том, что исчезает член семьи. К сожалению, они не вернулись, а я остался вести дела ребенка.

Но теперь ты вернулся, и мы должны убедиться, что все в порядке. Первым делом необходимо официально объявить, что твои родители мертвы — и сделать это надо перед тем, как ты вступишь в права наследования. Это займет некоторое время. Но есть я — управляющий

твоими делами и менеджер всей семьи тоже — и нет необходимости, чтобы ты мне говорил, что и как делать. Все сказано в бумагах.

Торби потер подбородок:

— Если я еще не вступил в права наследования, почему вам что-то нужно от меня?

Уимсби улыбнулся:

— Я и сам спрашивал себя. Судья Брадер считает, что так будет лучше всего. И с тех пор, как ты обрел законный возраст...

— Законный возраст? — Торби никогда не слышал этого выражения; у Людей человек считался взрослым настолько, насколько он мог принимать участие в том или ином деле.

Уимсби объяснил:

— Со дня твоего восемнадцатилетия ты вошел в законный возраст, после чего дела значительно упрощаются — это означает, что в суде тебя не должен больше представлять опекун. У нас есть подтверждение твоих родителей, теперь к нему добавится твое — и тогда уже не имеет значения, сколько времени займет у суда признание факта смерти твоих родителей или утверждение их завещания. И я, и судья Брадер, и остальные, кто занимается делами, могут вести их дальше без остановки. Тем самым нам удастся избежать провала во времени... который может обойтись нам, делу во много мегабаков. Теперь ты понимаешь?

— Думаю, что да.

— Отлично. Так что давай покончим с этим. — Уимсби начал открывать папку.

"Бабушка всегда говорила: прежде чем подписать — прочитай", — подумал он.

— Дядя Джек, я хотел бы прочесть.

— Ты ничего не поймешь.

— Может быть, и нет. — Торби взял папку. — Но я попробую разобраться.

Уимсби потянул папку к себе:

— В этом нет необходимости.

Торби почувствовал прилив упрямства:

— Разве вы не говорили, что судья Брадер подготовил это для меня?

— Да.

— Поэтому я хотел бы взять бумаги к себе и попытаться разобраться в них. Если я в самом деле Рудбек из Рудбеков, я хочу знать, что я делаю.

Уимсби помедлил и потом пожал плечами:

— Валяй. Ты просто поймешь, что я старался делать то, что я всегда делаю.

— И все же я должен понять, что я делаю.

— Очень хорошо! Спокойной ночи.

Торби читал, пока его не сморил сон. Казуистический язык порой озадачивал его, но бумаги были именно тем, о чем говорил дядя Джек, — инструкции Джону Уимсби продолжать привычную работу, которая состояла из достаточно сложных комбинаций. Он заснул с головой, полной таких терминов, как "полномочный советник", "все

виды деятельности", "получение и выплата доходов", "действительно при устной договоренности", "необходимость личного присутствия", "полностью доверяем и вручаем" и "доверенность на голосование на всех собраниях акционеров или совещаниях директоров"...

Уже засыпая, он понял, что так и не видел доверенности на ведение дел, выданной его родителями.

Ночью порой ему грезилось, что он слышит нетерпеливый голос Бабушки: "... а прежде хорошенько подумай! Если ты не понимаешь сути документа и не знаешь законов, по которым они будут претворяться в жизнь, не подписывай — независимо от того, какой ты можешь получить доход. Большая жадность, так же, как большая лень, могут погубить Торговца".

Он устало потянулся во сне.

ГЛАВА 18

В поместье Рудбеков почти никто не спускался к завтраку. Но принимать пищу в постели по утрам не входило в привычки Торби; он ел в саду, в одиночестве, нежась под жарким горным солнцем в окружении тропических цветов и любуясь снежными склонами, залитыми солнцем. Снег продолжал восхищать его — он и не мог предполагать, что в мире существует столь восхитительная вещь.

Но в это утро Уимсби появился в саду, едва только Торби присел. Рядом со столом тут же появился стул и слуга сервировал для Уимсби второй прибор.

— Только кофе, — сказал он. — Доброе утро, Торби.

— Доброе утро, дядя Джек.

— Ну как, справился с изучением документов?

— Сэр? О да. Честно говоря, я уснул, читая их.

Уимсби улыбнулся:

— Чтение юридических бумаг в самом деле может действовать как снотворное. Ты понял, что я исчерпывающе изложил тебе их содержание?

— Думаю, что да.

— Отлично. — Уимсби поставил чашку с кофе и обратился к слуге:

— Принесите мне телефон домашней связи. Тор, вчера вечером ты просто вывел меня из себя.

— Простите, сэр.

— Но я понимаю, что ты был прав. Ты должен был прочесть то, что подписываешь. Хотел бы я, чтобы у меня было время на это! Я должен верить на слово моим сотрудникам в том, что касается рутинных дел, иначе у меня не останется времени на политику... и мне показалось, что ты так же собираешься поступать и по отношению ко мне. Но твоя предосторожность весьма похвальна. — Он стал говорить по телефону: — Картер, принесите те бумаги из апартаментов мистера Рудбека. В сад.

Торби подумал, что Картер вряд ли сможет найти их — в его кабинете был сейф, но так как он не знал, как им пользоваться, то прятал бумаги

среди книг. Он начал было объяснять, но дядя Джек прервал его:

— Есть еще нечто, с чем ты захочешь познакомиться... список того реального имущества, которым ты владеешь или вступишь во владение, когда завещание будет утверждено. Все это имущество очень тесно связано с делами.

Торби просмотрел список с искренним изумлением. Неужели он в самом деле владеет островом под названием Питкэрн — что бы это значило? И поместьем под куполом на Марсе? И охотничьими угодьями на Юконе — где этот Юкон и почему там надо охотиться? Пойти на такой риск, как стрельба, можно только в открытом космосе. И что значит все остальное?

Он еще раз просмотрел список.

— Дядя Джек. А как относительно "Рудбека"?

— "Рудбека"? Так ты в нем и находишься.

— Да... но принадлежит ли он мне? Педа сказала, что да.

— В общем-то так оно и есть. Но он не подлежит разделу — это значит, что твой пра-пра-прадедушка решил, что поместье никогда не будет продано... что здесь всегда будут Рудбеки из Рудбеков.

— Вот как!

— Я думаю, что осмотр владений обрадует тебя. Я приказал, чтобы для тебя приготовили машину. Устраивает ли тебя та, в которой мы добрались сюда?

— Что? Господи, еще бы!

— Она принадлежала твоей матери, и я был так сентиментален, что сохранил ее. Но если захочешь, можешь сменить ее на лучшую. Можешь взять с собой Педу; она знакома с большинством наименований из этого списка. Возьми с собой несколько своих юных приятелей и веселитесь, сколько вам заблагорассудится. В сопровождении у тебя никогда недостатка не будет.

Торби положил лист на место.

— Наверное, я так и сделаю, дядя Джек... немного погодя. Но я хотел бы взяться за дела.

— Что?

— Сколько здесь требуется времени, чтобы стать юристом?

Лицо Уимсби прояснилось.

— Понимаю. Владение юридическим языком дается не так просто. Для этого требуется от четырех до пяти лет.

— Этого хватит?

— Тебе нужно провести три или четыре года в Гарварде или в какой-нибудь хорошей школе бизнеса.

— Это необходимо?

— Без сомнения.

— Ну что ж... вы знаете об этом лучше меня...

— Еще бы!

— ... но не мог бы я усвоить, что такое бизнес, без того, чтобы ходить в школу? У меня нет ни малейшего представления о нем.

— Времени хватит.

— Но я хотел бы сразу же начать учиться.

Уимсби было помрачнел, но потом улыбнулся и пожал плечами.

— Тор, ты унаследовал упрямство твоей матери. Идет, я организую для тебя специальный штат в главной конторе в Рудбек-сити, который будет оказывать тебе помощь. Но предупреждаю — это далеко не так просто, тут будет не до смеха. Не человек командует делами, а дела командуют им. Ты в полном рабстве у них.

— Ну... как-нибудь попытаюсь.

— Похвальное упорство. — Телефон, стоявший рядом с чашкой Уимсби, звякнул, он поднял трубку, нахмурился и сказал: — Продолжай. — Затем повернулся к Торби: — Этот идиот не может найти бумаг.

— Я хотел предупредить вас. Я их спрятал — мне не хотелось оставлять их на виду.

— Понимаю. Где они?

— Я их сам вытащу.

— Оставь это дело, — сказал Уимсби в трубку. Он отдал телефон слуге и сказал Торби: — Тогда тащи их сюда, если ты ничего не имеешь против.

Торби не имел. Ему надоело, что его постоянно подкусывают, указывая, что он делает ошибку за ошибкой. Кроме того... он "Рудбек из Рудбеков" или по-прежнему вестовой у офицера?

— Я займусь ими после завтрака.

Дядя Джек с трудом мог скрыть раздражение. Но он сказал:

— Прошу прощения. Если ты так занят, то, может быть, ты будешь настолько любезен и скажешь мне, где их найти? У меня впереди трудный день, и я хотел бы покончить с этими мелочами, чтобы спокойно заняться делами. Если ты ничего не имеешь против.

Торби вытер рот.

— Я бы предпочел, — с расстановкой сказал он, — не торопиться с подписью.

— Почему? Ты же сказал, что тебя все устраивает.

— Нет, сэр, я сказал вам, что прочел их. Но я их не понял. Дядя Джек, где бумаги, что подписывали мои родители?

— Что? — Уимсби пристально взглянул на него. — В чем дело?

— Я бы хотел увидеть их.

Уимсби задумался.

— Они должны быть в сейфе в Рудбек-сити.

— Отлично, отправляемся туда.

Уимсби внезапно встал.

— С твоего разрешения, — рявкнул он, — я буду заниматься делами. Когда-нибудь, молодой человек, ты поймешь, что я для тебя сделал! А пока, если ты продолжаешь упорствовать в своем нежелании сотрудничать, я по-прежнему должен исполнять свои обязанности.

Он резко повернулся и ушел. Торби почувствовал смущение — он отнюдь не отказывается сотрудничать. Но если они ждали столько лет, почему бы им не подождать еще немного и не дать ему возможность самому во всем разобраться?

Он собрал бумаги и позвонил Леде.

— Тор, дорогой, почему ты сорвался в середине ночи?

Он объяснил, что хотел заняться делами семейного бизнеса.

— Я подумал, что ты могла бы кое-что подсказать мне.

— Ты же говорил, что этим займется папа?

— Он собирается организовать для меня контору.

— Я провожу тебя. Но придется подождать, пока мне приведут физиономию в порядок и пока я не выпью апельсинового сока.

Поместье было связано с офисами в Рудбек-сити скоростным подземным туннелем. Они вышли в небольшой изолированный холл, охранявшийся пожилой женщиной. Она взглянула на них.

— Здравствуйте, мисс Леда! Очень рада видеть вас!

— И я тоже, Эджи. Не скажете ли отцу, что мы уже здесь?

— Конечно. — Она бросила взгляд на Торби.

— Ах, да, — сказала Леда. — Я и забыла. Это Рудбек из Рудбеков. Эджи торопливо вскочила на ноги.

— О, моя дорогая! Я же не знала — простите, сэр!

Дела шли на высокой скорости. Через несколько минут Торби очутился в офисе, полном тихого величия, с такой же секретаршей, которая, назвав ему двусмысленное в своей сложности звание, предложила ему называть себя просто Долорес. У него создалось впечатление, что в стенах кроется бесчисленное количество джиннов, готовых сорваться с места по мановению его пальца.

Леда была с Торби, пока его вводили в курс дела, а потом сказала:

— Поскольку ты превращаешься в нудного старого бизнесмена, я покидаю тебя. — Она взглянула на Долорес и добавила: — А может, тут будет не так скучно? Может, мне остаться? — Но все же ушла.

Торби был опьянен свалившимся на него ощущением власти и могущества. Старшие заместители обращались к нему "Рудбек", младшие — "Рудбек из Рудбеков", а совсем юные прибавляли неизменное "сэр" — и он хотел быть достойным титула, с которым к нему обращались.

Пока еще он не включился в дела с полной отдачей, Уимсби он видел редко, а судью Брадера практически ни разу. Все, в чем он нуждался, появлялось мгновенно. Одно слово Долорес — и солидный молодой человек появляется рядом с ним, объясняя суть дела; еще одно слово — и появляется оператор с проекционным аппаратом, с помощью которого он получает стереоизображения, касающиеся деловых интересов, где бы они ни размещались, даже на других планетах. Он проводил дни за днями, изучая эти картинки, но ему так и не удалось просмотреть их все.

Его офис так стремительно заполнялся книгами, бобинами, графиками, брошюрами и папками, что Долорес пришлось превратить соседнее помещение в библиотеку. В ней были подборки данных, комментирующие цифры подсчета налогов, слишком сложных, чтобы их можно было понять иным образом. Цифр было так много, и они сплетались в такие причудливые сочетания, что у него начинала болеть голова. Торби начинал понимать, что быть финансовым магнатом не так легко. Он терял самоуважение, потому что ему приходилось являться в другую комнату за справками и данными. Стоит ли так мучить себя,

если ты не получаешь от этого никакого удовольствия? Быть Стражником куда легче.

И все же как прекрасно было чувствовать свою значимость. Большую часть своей жизни он был никем, в лучшем случае, самым юным.

Если бы только папа мог видеть его сейчас — в столь изысканной обстановке, с парикмахером, приводящим в порядок его прическу пока он работает (папа предпочитал стричь волосы под горшок), с секретаршей, готовой выполнить все его желания, и дюжиной людей вокруг, сгорающих от желания услужить ему. Но когда папа являлся ему в мечтах, на лице его было неодобрительное выражение; Торби терялся в догадках, в чем он не прав, и снова уходил с головой в мешанину цифр и данных.

Постепенно что-то начало проясняться. Главным делом было "Рудбек и Ассоциации, лимитед". Насколько Торби мог разобраться, эта фирма ничем не занималась. Она просто владела всем, как трест частных вложений. Когда завещание его родителей будет оглашено, большинство из них будет принадлежать Торби, представляя собой его вклад в эту компанию. Нет, ему принадлежало далеко не все; он почувствовал себя чуть ли не бедняком, когда выяснил, что его отец и мать вместе владели всего восемнадцатью процентами из многих тысяч акций.

Затем он выяснил, что значило "иметь право голоса" и "не иметь права голоса"; доля, причитающаяся ему, давала право на определенное количество голосов; остаток разделялся между родственниками.

"Рудбек и Ассоциации" владели акциями и других компаний — и здесь уже шли сплошные сложности. Галактические Предприятия, Галактическая Вексельная Корпорация, Галактический Транспорт, Межзвездный Металл, Налоги Трех Планет (компания действовала на двадцати семи планетах), Гавермейерские Лаборатории (здесь создавалось все — от барж и пекарен до исследовательских станций) — этот список казался бесконечным. Казалось, что эти банки, корпорации, тресты, картели переплетаются, как клубок спагетти.

Слияния, разделения и объединения компаний и корпораций смущали его и вызывали чувство протеста. Все эти сложности напоминали ему компьютер, которым он пользовался в бою, но без его холодной логики. Он выбивался из сил, рисуя схемы и пытаясь понять принципы работы и взаимоотношений. Владение каждым объектом было связано с простыми акциями, залогами со странными наименованиями, смысл которых оставался для него непонятным; порой какая-то компания владела частью другой прямо, а другой частью через третью компанию, или две компании могли совместно владеть частью третьей, или же бывало, что компания владела частью самой себя, как змея, вцепившаяся себе в хвост. Все это не имело для него смысла.

Это не было делом — делом занимались Люди... покупали, продавали, получали доходы. Но здесь он столкнулся с глупыми играми, ведущимися по диким правилам.

Его смущало еще кое-что. Ему не было известно, что Рудбеки стро-

или космические корабли. Галактические Предприятия контролировали Галактический Транспорт, который строил космические корабли на одном из своих многочисленных заводов. Когда он понял это, то ощутил прилив гордости, но потом почувствовал гнетущее неудобство... что-то такое говорил полковник Брисби... о чем-то, что папе удалось доказать: "самая крупная" или "одна из самых крупных" верфей космических кораблей связана с работоторговлей.

Он сказал себе, что глупеет на глазах: этот восхитительный офис был так же далек от грязных дел работоторговли, как от пределов Галактики. Но как-то ночью, уже засыпая, он подскочил, подброшенный мыслью, пронизанной черной иронией, что один из этих рабовладельческих кораблей, в вонючих трюмах которого он валялся, мог быть в свое время собственностью паршивого забитого раба, которым он тогда был.

Думать об этом было мучительным кошмаром, и он отбросил эту мысль. Но она висела насмешливым призраком над всем, что он делал.

Как-то днем он сидел, изучая длинный меморандум из юридического отдела — так сказать, сводный отчет интересов "Рудбек и Ассоциаций", — как внезапно поймал себя на том, что чего-то не понимает. Писавший отчет как бы остановился, столкнувшись с непонятным словом. Оно походило на древнекитайское выражение. Он помнил, что саргонезский язык включал в себя много слов из наречия мандаринов.

Он уснул Долпорес и положил голову на руки. Почему, ну почему он не остался в Страже? Там он был счастлив, он понимал мир, частью которого был.

Наконец, выпрямившись, он сделал то, что давно откладывал: послал ответный вызов своим дедушке и бабушке. Он давно уже собирался навестить их, но первым делом ему надо было разобраться со своими обязанностями.

Конечно, его встречали с радостью!

— Наконец-то, мальчик, а мы уже заждались!

Домик стариков, заметно выделявшийся в городке, казался таким милым и уютным после пустынных громадных холлов Рудбека.

Но отдохнуть во время визита ему не удалось. За обедом были гости — президент колледжа, часть деканов, и немало из них осталось и после обеда, — некоторые обращались к нему "Рудбек из Рудбеков", другие употребляли неопределенное "мистер Рудбек", а другие называли его просто "Рудбек". Его бабушка суежилась вокруг него, счастливая, как только может быть счастлива хозяйка дома, а дедушка был как всегда подтянут и громко обращался к нему не иначе как "сын".

Торби выкладывался изо всех сил, чтобы завоевать симпатии присутствующих. Но скоро ему стало ясно, что имеет значение не столько, что он говорит, сколько тот факт, что говорит Рудбек.

И лишь следующим вечером, когда он наконец остался наедине с дедушкой и бабушкой, ему представилась возможность поговорить с ними. Ему был нужен их совет.

Но первым делом он постарался кое-что узнать. Он выяснил, что его

отец, единственный сын дедушки Бредли, женившись, взял фамилию жены.

— Это можно понять, — сказал дедушка Бредли. — Рудбек должен был оставаться Рудбеком. Марта была наследницей, и Крейтон должен был председательствовать на собраниях акционеров, конференциях, за обеденным столом и все такое прочее. Я надеялся, что мой сын будет служить музе истории, как я. Но когда дела сложились таким образом, что мне оставалось, как не радоваться за него?

Родители Торби и он сам попали в беду из-за того, что его отец старался изо всех сил быть самым Рудбеком из Рудбеков — он хотел лично проинспектировать как можно больше объектов своей космической империи.

— Твой отец всегда отличался высокой добросовестностью, и когда дедушка Рудбек скончался еще до того, как отец завершил, так сказать, свое ученичество, Крейтон поручил заниматься всеми делами Джону Уимсби — я думаю, что ты знаешь: Джон был вторым мужем младшей сестры твоей другой бабушки, Арии; и Педа — это дочь Арии от первого ее брака.

— Нет, этого я не знал. — Торби перевел эту систему родственных взаимоотношений в термины, принятые на "Сису"... и с удивлением обнаружил, что Педа принадлежит к другой общности! А дядя Джек — в общем-то не был "дядей" — но как бы его назвать по-английски?

— Джон был секретарем и доверенным лицом твоего другого дедушки, и, конечно, это был наилучший выбор: он знал все дела лучше, чем кто-либо, не считая своего доверителя. И когда мы пришли в себя от ужаса после вашего трагического исчезновения, то обнаружили, что мир продолжает существовать, дела должны идти и что Джон справляется с ними так, словно он Рудбек.

— Он был просто восхитителен! — пискнула бабушка.

— Да, это верно. Я должен признать, что после того, как Крейтон женился, у нас с бабушкой заметно вырос уровень жизни. Жалование в колледже никогда не давало таких возможностей, но Крейтон и Марта были очень благородны. Мы с бабушкой оказались в затруднительном положении после исчезновения твоего отца, но Джон заверил нас, что наш доход не изменится.

— Он даже вырос, — выразительно добавила бабушка.

— Ах, да. Вся семья — мы считаем себя частью семьи Рудбек, хотя с гордостью носим и собственное имя, — вся семья была более чем удовлетворена тем, как Джон вел дела.

Но Торби интересовало нечто совсем иное, чем добродетели дяди Джека.

— Вы рассказывали мне, что мы стартовали в Акке, ушли в большой прыжок к Дальней Звезде и так и не достигли ее, так? Это очень-очень далеко от Джаббула.

— Думаю, так оно и есть. В колледже есть только малый Галактический Атлас, и должен признать, очень трудно понять, что произошло на пространстве в несколько дюймов, которое в действительности равно многим световым годам.

— В данном случае — ста семидесяти световым годам.
— Как бы подсчитать, сколько это будет в милях?
— Вам это не удастся сделать привычным путем, но думаю, что от того места, где нас захватили, и до того, где я был продан в последний раз, лежит большое пространство. Я не могу понять, как все случилось.
— Я слышал, как ты в свое время употреблял выражение "продать". Ты должен понять, что оно неправильно. Крепостное право, которое в ходу на Саргоне, не означает владение рабом как движимым имуществом. Оно идет от древней индийской системы каст, которая обеспечивает стабильный социальный порядок сверху донизу, основанный на неписанных законах. И ты не должен называть его "рабством".

— Я не знаю другого слова для перевода саргонезского выражения.
— Я могу придумать их несколько, хотя не знаю саргонезского... этот язык мало где изучают. Но, мой дорогой Тор, ты ведь не изучал человеческую историю и культуру. Так что положиись на мой авторитет в той области, где я считаю себя специалистом.

— Ну что ж... — Торби был расстроен. — Я не так уж хорошо знаю Системный Английский, и есть целый кусок истории, с которым я не знаком... точнее, большой период истории...

— Так оно и есть. И я первый обратил на это внимание.

— Но я не могу перевести лучше или иначе — я был продан и был рабом!

— Ну-ну, сынок...

— Не надо спорить с дедушкой, мой дорогой, ты же хороший мальчик.

Торби замолчал. Он как-то упомянул, что ему пришлось быть нищим, и видел, что дедушка пришел в ужас от такого бесчестия, хотя прямо об этом и не говорил.

Торби обрадовался, когда разговор коснулся организации дела Рудбеков. Пришлось признать, что ему приходится нелегко.

— Рим строился не за один день, Тор.

— Мне кажется, что я никогда ничего не пойму! Я подумываю о том, чтобы вернуться обратно в Стражу.

Дедушка нахмурился.

— Это не очень умно.

— Почему, сэр?

— Если у тебя нет данных к бизнесу, есть еще немало столь же благородных профессий.

— Вы считаете, что Стража к ним не относится?

— М-м-м... видишь ли, мы с бабушкой относимся к пацифистам философского плана. И ты не можешь отрицать, что не существует морального оправдания, когда покушаются на человеческую жизнь.

— Никогда, — твердо подтвердила бабушка.

Торби подумал: что бы сказал папа? Черт возьми, он знал, что отец просто отбросил бы их в сторону, если бы он гнался за рабовладельческим кораблем.

— А что бы вы сделали, когда на вас идет пират?

— Что?

— Пират. У вас на хвосте пират, и деться вам некуда.

— Думаю, что вы можете убегать. Остаться и вступать в драку — антиморально. Тор, ничего нет ужаснее насилия.

— Но ты не можешь бежать — он перекроет тебе путь. Выход один: или ты или он.

— Ты говоришь "он". Тогда надо сдаваться... и его намерения лишатся смысла... как проповедовал бессмертный Ганди.

Торби с трудом перевел дыхание.

— Простите, дедушка, но у него совсем иная цель. Пирату нужны рабы. Ты вынужден драться. И самая благородная вещь, которой я горжусь, — это то, что сжег пирата.

— Что? Сжег?

— Поймал его в прицел. И распылил по космосу.

Бабушка всхлипнула. Наконец дедушка сухо сказал:

— Тор, боюсь, что ты был под плохим влиянием. Наверно, ты в этом не виноват. Но у тебя масса неверных представлений — и о фактах, и об их оценке. Будь логичным. Если ты "сжег" его, как ты говоришь, откуда ты можешь знать, что он собирался — опять-таки, как ты говоришь — захватить рабов? Что бы он с ними делал? Ничего.

Торби молчал. Имело большое значение, с какой стороны Площади смотреть на вещи... и если у тебя не было положения, тебя и не слушали. Это был всеобщий закон.

— Так что давай больше не будем говорить на эту тему, — продолжил дедушка Бредли. — Что касается всего остального, то я дам тебе совет, который когда-то получил от меня твой отец: если ты чувствуешь, что не годишься для торговли, то и не пытайся заниматься ею. Но уносить ноги, чтобы вступить в Стражу, как ребенок, увлеченный романтикой, — нет, сынок! Но тебе не придется ломать себе голову. Джон Уимсби — исключительно способный управляющий, и тебе не нужно принимать никаких решений. — Он встал. — Я знаю, потому что говорил об этом с Джоном, и он весьма благородно согласился еще немного нести свою ношу... или даже больше того, если в том возникнет необходимость. А теперь пойдем спать. Утро здесь наступает рано.

Торби уехал на следующее утро, сопровождаемый вежливыми уверениями, что их дом — его дом, и это не могло не вызвать в нем определенных сомнений. Проведя бессонную ночь, он выработал решение и с ним явился в Рудбек-сити. Он хотел спать, видя вокруг себя переборки корабля. Он хотел вернуться к тому делу, которым занимался папа; быть хозяином миллиардов — это не его стиль.

Первым делом он должен был докопаться до бумаг, которые подписали его отец и мать, сравнить их с теми документами, что были подготовлены для него Уимсби, а затем покинуть Терру и вернуться к людям, которые говорят с ним на одном языке!

Как только он оказался у себя, то позвонил в офис дяде Джеку, но услышал, что того нет в городе. Он решил, что может написать записку, выдержанную в самом вежливом тоне — о, да! Должен попрощаться с Ледой. Он связался с юридическим отделом, попросил их найти в

сейфе полномочия, подписанные его родителями, и прислать их к нему.

Но вместо документов он увидел судью Брадера.

— Рудбек, что там относительно вашего указания насчет этих бумаг из сейфа?

— Я хотел бы увидеть их, — объяснил Торби.

— Никто, кроме официальных лиц компании, не имеет права получать бумаги из сейфа.

— А кто же я?

— Боюсь, что вы всего лишь молодой человек, который плохо представляет себе, что происходит вокруг. В свое время вы получите определенный пост. Но в данный момент вы всего лишь гость, пытающийся разобраться в делах своих родителей.

Торби проглотил сентенцию: как бы она ни звучала, в ней была доля истины.

— Я осведомлялся у вас относительно еще одного дела. Что сделано в суде для установления факта смерти моих родителей?

— Вы так торопитесь похоронить их?

— Конечно, нет. Но дядя Джек сказал, что это должно быть сделано. Итак, что там слышно?

Брадер фыркнул.

— Ничего. Это ваши дела.

— Что вы имеете в виду?

— Молодой человек, неужели вы думаете, что служащие этой компании будут заниматься процессом, который может принести фирме неисчислимые убытки, а им останется лишь дожидаться, пока вы сможете предотвратить их? Утверждение завещания может длиться годами, в течение которых дела будут стоять на месте... всего лишь оттого, что вы отказываетесь подписать несколько простых бумажек, которые я подготовил для вас пару недель назад.

— Вы хотите сказать, что пока я не подпишу их, ничего не сдвинется с места?

— Совершенно верно.

— Не понимаю. Предположим, я бы погиб — или вообще не родился. Неужели дела останавливаются каждый раз, как умирает каждый из Рудбеков?

— М-м-м... в общем-то нет. С разрешения суда дела продолжают идти своим чередом. Но вы здесь, и мы должны принимать это во внимание. Вы должны четче представить себе, что мое терпение подходит к концу. Только потому, что вы прочли несколько финансовых документов, вам уже кажется, что вы разбираетесь в бизнесе. Вы ничего не понимаете в нем. Например, вы убеждены, что финансовые рычаги, которые вручены лично Джону Уимсби, вы можете обратить в свою пользу. И если вы попытаетесь пойти на это, пока мы занимаемся установлением факта смерти ваших родителей, я вижу, что нас ждет масса неприятностей. Мы не можем позволить себе это. Компания не может позволить. Рудбеки не могут позволить. Поэтому я требую, чтобы бумаги были подписаны сегодня, — и покончим с этой глупой болтовней. Ясно?

Торби опустил голову.

— Я не сделаю этого.

— Что вы имеете в виду — я не сделаю этого?

— Я не подпишу ни одной бумаги, пока не буду твердо знать, что делаю, тем более что до сих пор я не видел документов, подписанных моими родителями.

— Мы еще посмотрим!

— Я буду стоять на своем, пока не разберусь, что тут делается!

ГЛАВА 19

Торби почувствовал, насколько трудны стали его изыскания. Дела шли вроде бы как и раньше и в то же время по-другому. Он начал смутно подозревать, что уроки, которые он получил в деле организации бизнеса, были подготовлены не самым лучшим образом; он тонул в потоке данных, которые не имели отношения к делу, в "отчетах" и "анализах", которые не были анализами. Но он знал так мало, что потребовалось много времени, прежде чем у него появились сомнения.

Подозрения перешли в уверенность с того дня, как он бросил вызов судье Брадеру. Долорес трудилась, как всегда, не покладая рук, и люди, как и раньше, вскакивали, когда он обращался к ним, но бурный поток информации стал иссякать, пока окончательно не прекратился. Перед ним бесконечно извинялись, но найти теперь то, что ему было нужно, не было никакой возможности. Или "обзор был подготовлен, куда же он делся", или "человек, который занимается этим вопросом, уехал из города", или "эти папки лежат в сейфе, но никого из должностных лиц сегодня нет на месте". Ни судья Брадер, ни дядя Джек ныне не помогали ему, а их помощники демонстрировали вежливую беспомощность. Он не имел ни малейшей возможности отловить дядю Джека где-нибудь в поместье. Леда сказала ему, что "папа часто уезжает по делам".

Даже в его собственном офисе дела начали валиться из рук. Несмотря на библиотеку, организованную Долорес, она сама не могла найти или даже припомнить, где находятся бумаги, положенные на сохранение. Наконец он как-то потерял терпение и выставил ее.

Она восприняла это очень спокойно:

— Простите, сэр. Но я очень стараюсь.

Торби извинился перед ней. Увидев, что происходит, он понял, что столкнулся с саботажем; он насмотрелся на грузчиков, которые были большими мастерами такой волюнки. Но это бедное создание было тут ни при чем; он зря набросился на нее.

— Я в самом деле был не прав, — умиротворяюще сказал он. — Возьмите себе свободный день.

— О, я не могу, сэр.

— Кто вам это сказал? Отправляйтесь домой.

— Я бы предпочла остаться, сэр.

— Что ж... как вам будет угодно. Но пойдите отдохните в дамской комнате. Это приказ. Увидимся завтра.

Ему было необходимо остаться одному, вынырнуть из потока фактов

и цифр. Он стал прикидывать, что ему удалось понять. Наконец он смог набросать на бумаге какие-то результаты.

Итак: судья Брадер и дядя Джек подвергли его сокрушительной бомбардировке за отказ подписать их полномочия.

Итак: он может считаться "Рудбеком из Рудбеков", но пока родители Торби не будут официально признаны погибшими, дядя Джек будет продолжать вершить дела.

Итак: судья Брадер откровенно сказал ему, что, пока он не признает своей полной некомпетентности и не подпишет доверенности, не будет предпринято никаких шагов относительно вышеупомянутого дела.

Итак: он не знает, что подписали его родители. Он пытался выяснить это — и потерпел поражение.

Итак: "владение" и "контроль" — это совершенно разные вещи. Дядя Джек контролирует все, чем Торби владеет, хотя принадлежит ему номинально всего одна доля, что позволяет дяде Джеку считаться действующим директором фирмы (Леде принадлежит куда больший кусок, так как она из Рудбеков, — но дядя Джек скорее всего контролирует и ее вклады тоже; Леда не обращает внимания на дела).

Вывод...

Какой вывод? Что дядя Джек занимается какими-то махинациями и поэтому не дает ему разобраться в делах? Да нет, что-то не похоже. У дяди Джека такая прибыль, что только патологический скряга хотел бы получить больше денег. Похоже, что дела его родителей в полном порядке — их счета заметно выросли; а мегабак, который дядя Джек вручил ему, вряд ли может нанести им серьезный урон. Еще одна статья отчислений относится к бабушке и дедушке Бредли, плюс некоторые суммы на поддержание в порядке их дома — ничего серьезного, еще пара мегабаков. Вывод: дядя Джек — босс, ему нравится быть боссом, и он собирается оставаться им, сколько возможно.

"Статус"... У дяди Джека высокий статус, и он борется, чтобы сохранить его. Торби показалось, что наконец он понял его. Дядя Джек жаловался, что загружен работой выше головы, но ему нравится быть хозяином — точно так же, как капитан или старший офицер в Семье не щадили себя в работе, хотя каждому члену Семьи Свободных Торговцев принадлежала равная доля. Дядя Джек — это "старший офицер" и он не собирается уступать свое высокое положение тому, кто вдвое моложе его и кто (будем смотреть в лицо фактам!) не разбирается в делах, зная, которые требует это положение.

В этот момент озарения Торби решил, что он должен подписать доверенность дяде Джеку, который заслужил такое отношение своей нелегкой работой, в то время как Торби всего лишь стал наследником. Дядя Джек, наверное, был жестоко разочарован, когда он, Торби, вернулся живым; эта ухмылка судьбы не доставила ему никакого удовольствия. Да пусть ему все достанется! Он же приведет дела в порядок и уйдет в Стражу.

Но Торби не чувствовал готовности сложить оружие перед судьей Брадером. Его отшвырнули в сторону — и сопротивляться любому давлению было его естественной реакцией, хотя он сам и не сознавал

этого; это было безжалостно вбито в его плоть и кровь хлыстами хозиев. Он не понимал этого — просто он знал, что должен упрямо стоять на своем. Он решил, что папа одобрил бы его.

Мысли о папе кое-что напомнили ему. Неужто Рудбеки связаны, пусть и не напрямую, с работоторговлей? Теперь он понял, почему папа вырабатывал в нем такую цепкость, — он не мог уйти, пока не будет знать все досконально... так же, как и не может поставить точку на этом деле, если в самом деле существуют такие негласные взаимоотношения. Но как ему разобраться в этом? Да, он Рудбек из Рудбеков... но они связали его тысячами нитей, как того парня из истории, которую ему рассказывал папа... "Гулливер" — вот как он назывался.

Ну что ж, давайте прикинем: папа сообщил в Корпус "Икс", что существует связь между крупными строителями космических кораблей, правительством Саргона и пиратами-работоторговцами. Пиратам нужны корабли. Корабли... он припомнил книжку, которую читал на прошлой неделе: история каждого корабля, который был построен на верфях Галактического Транспорта, — от номера 0001 до самого последнего. Он зашел в библиотеку. Хм-м-м... толстая красная книга.

Странно, но она исчезла... как и много чего раньше. Но так как его интересовали корабли, он запомнил ее почти дословно — уроки папы не прошли даром. Он начал набрасывать заметки.

Большинство кораблей несли свою службу внутри Гегемонии; часть из них принадлежала Рудбекам, часть — другим. Он с удовольствием подумал, что часть его кораблей была продана Людям. Но некоторые были зарегистрированы на имя владельцев, которых он не мог определить... и все же он подумал, что знал их имена, по крайней мере, исходя из тех доходов, поступавших по каналам законной межзвездной торговли Гегемонии, и конечно же он узнавал некоторые кланы Свободных Торговцев.

Но даже если бы у него была та книга — сидя за столом, ни в чем нельзя быть уверенным. Может быть, здесь, на Терре, нет возможности разобраться во всем... а может быть, и судья Брадер, и дядя Джек даже не подозревают, что за их спинами вершатся грязные дела.

Встав, он включил картину Галактических Путей, которую приказал поставить у себя. Она показывала только исследованную часть Галактики — но даже ее можно было охватить взглядом лишь в фантастически маленьком масштабе.

Он стал работать с этим объемным атласом. Первым делом он высветил зеленым Девять Миров. Затем добавил желтого, обозначив опасные участки, избегавшиеся Людьюми. Зажег две планеты, между которыми были захвачены его родители, затем таким же образом обозначил каждое пропавшее судно Людей, припоминая все, что ему было известно о прыжках, из которых никто не вернулся.

Результатом стало соцветие цветных огоньков, все ближе теснившихся друг к другу по мере того, как они приближались к сектору Девяти Миров. Посмотрев на эту картину, Торби присвистнул. Папа знал, о чем говорил, но без этой наглядной картины трудно было представить себе весь размах.

Он начал прикидывать линии регулярных рейсов и заправочные станции, поставленные Галактическим Транспортом на этих путях... затем обозначил оранжевым банковские конторы Галактической Вексельной Корпорации "по соседству".

Затем он стал внимательно изучать картину.

Ее еще нельзя было считать окончательным доказательством — а вдруг кто-то другой в поисках прибыли решил развить такую активность именно в этом секторе? Но он решил докопаться.

ГЛАВА 20

Торби увидел, что Леда приказала сервировать стол в саду. Они были вдвоем, и падающий снег покрывал искусственное небо мерцающим куполом. Свечи, цветы, струнное трио и сама Леда делали картину привлекательной, но Торби не испытывал удовольствия, хотя ему нравилась Леда и он считал сад самым привлекательным местом в усадьбе Рудбеков. С обедом было почти покончено, когда Леда сказала:

— Плачу доллар, чтобы узнать, о чем ты думаешь.

Торби, смутившись, взглянул на нее:

— О, ничего особенного.

— Это "ничего особенного" тебя, видимо, беспокоит.

— Ну... да, так оно и есть.

— Не хочешь ли рассказать Леде?

Торби прикрыл глаза. Дочка Уимсби была последним человеком, с кем он хотел бы откровенничать. Его задумчивость объяснялась непреходящей мыслью о том, что ему придется делать, если он выяснит, что Рудбеки связаны с работоторговлей.

— Думаю, что, может быть, у меня еще есть шанс стать бизнесменом.

— Ну как же, папочка говорит, что твоя голова потрясающе воспринимает цифры.

Торби фыркнул:

— Тогда почему же он не... — Торби остановился.

— Что он "не"?

— Ну... — Черт побери, человеку надо говорить с кем-то, кто ему нравится, и кто, в случае необходимости, может даже гаркнуть на него. Как папа. Как Фриц. Да и как полковник Брисби. Постоянно находясь на людях, он чувствовал свое полное одиночество — не считая Леды, которая, похоже, старалась относиться к нему по-товарищески.

— Леда, что из того, что я тебе рассказываю, ты передаешь отцу? К его удивлению, она вспыхнула:

— По какому праву ты это говоришь, Тор?

— Ну, ты же близка с ним. Разве не так?

Она внезапно встала:

— Если ты закончил, пойдем погуляем.

Торби поднялся. Они гуляли по дорожкам, прислушиваясь к звукам непогоды, разгулявшейся над их головами. Она привела его в укром-

ный уголок вдали от дома, скрытый кустами, и присела там на валун:

— Отличное место для разговора с глазу на глаз.

— Неужто?

— После того как сад был подключен к подслушивающему устройству, я искала такое место, где знала бы, что могу целоваться без папиных соглядатаев.

Торби огляделся:

— И нашла вот это?

— Ты понимаешь, что тебя подслушивают почти всюду, разве что не на склонах?

— Нет. Но мне это не нравится.

— А кому нравится? Но это обычная предосторожность в таких делах, какие ведут Рудбеки, и отца не стоит ругать за это. Мне пришлось потратить несколько кредитов, чтобы убедиться — сад прослушивается не так уж тщательно, как ему кажется. Так что, если у тебя есть что сказать и ты не хочешь, чтобы папочка подслушал, можешь сказать это здесь. Он никогда не узнает. Провалиться мне на этом месте.

Торби помедлил, осматриваясь. Он решил, что, если микрофон находится где-то поблизости, он должен быть замаскирован под цветок... что было вполне возможно.

— Может быть, поостеречься, пока мы не окажемся на лыжном склоне?

— Расслабься, дорогой. Если уж ты решил мне довериться, верь, что здесь вполне безопасно.

— Ну, ладно. — Он почувствовал, что не может больше сдерживать напряжения, раздражения... так как пришел к выводу, что дядя Джек постоянно старается поставить ему подножку, дабы лишить той потенциальной силы, которой он обладает. Леда слушала его с серьезным видом.

— Вот как обстоят дела. Ты считаешь, что я сошел с ума?

— Тор, — сказала она, — ты догадываешься, что папочка постоянно подсовывал меня тебе?

— Что?

— Не понимаю, как ты мог этого не видеть. Разве что ты был совершенно... наверно, так оно и было. Но воспринимай это как чистую правду. Это должен был бы быть один из очевидных браков, польза которых видна всем... кроме разве тех двух, что имеют к нему прямое отношение.

Торби забыл все свои тревоги перед лицом столь восхитительного предложения.

— Ты хочешь сказать... ну, что ты... — он окончательно смешался и замолчал.

— О господи, дорогой мой! Имей я эту сделку в мыслях, неужели я стала бы тебе говорить о ней? Да, признаю, что перед тем как ты появился, я обещала обдумать эту возможность. Но ты не проявил ко мне никакого внимания — а я слишком горда, чтобы в этих обстоятельствах добиваться столь сомнительной цели, если даже от нее зависит процветание Рудбеков. Ну, а теперь что там относительно того,

что папочка не позволяет тебе взглянуть на ту доверенность, что Марта и Крейтон дали ему?

— Они не позволяют мне увидеть ее; а я не буду до той поры ничего подписывать.

— Но если они тебе ее покажут, ты подпишешь?

— Ну... вполне возможно, что, может быть, и подпишу. Но я хочу увидеть, какие распоряжения оставили мои родители.

— Не могу понять, почему папочка противится столь естественному желанию. Разве что... — Она нахмурилась.

— Разве что?

— А как насчет твоей доли? Она переходит к тебе?

— Какой доли?

— О господи, твоей же! Ты знаешь, какая доля принадлежит мне. Эти акции были вручены мне Рудбеками при рождении — твоим дедушкой. Моим дядей. Ты скорее всего должен получить вдвое больше, чем я, так как предполагается, что когда-нибудь ты станешь подлинным Рудбеком.

— У меня нет никаких акций.

Она мрачно кивнула.

— Это одна из причин, по которой папочка и судья не хотят показывать тебе бумаги. Наши личные вклады ни от кого не зависят, и после того, как мы вступаем в законный возраст, мы можем делать с ними все, что заблагорассудится. Твои родители имели твой голос, так же, как папочка до сих пор пользуется моим голосом — но в любой доверенности, которую они подписали, должно было быть сказано, что твоя доля не может ни к кому перейти. Ты можешь грохнуть кулаком по столу, и им придется проглотить это или же пристрелить тебя. — Она снова нахмурилась. — Нет, убивать тебя они не будут. Тор по большому счету мой отец неплохой человек.

— Я никогда не считал его плохим.

— Я не люблю его, но я им восхищаюсь. Но, по сути дела, я Рудбек, а он — нет. Это глупо, не так ли? Потому что в нас, Рудбеках, нет ничего особенного, мы просто хитрые прижимистые крестьяне. Но и меня кое-что тревожит. Ты помнишь Джоэла де ла Круа?

— Того, что хотел поговорить со мной?

— Верно. Джоэл здесь больше не работает.

— Не понимаю.

— Ты разве не знал, что он был восходящей звездой в инженерном отделе Галактических Предприятий? Там ему предложили другую работу; сам же Джоэл сказал, что его уволили, так как он сунул нос не в свое дело, попытавшись поговорить с тобой. — Она помрачнела. — Я не знала, чему верить. Но теперь я верю Джоэлу. Так что же ты собираешься делать, Тор, — бросить все, как есть, или же доказать, что ты в самом деле Рудбек из Рудбеков?

Торби закусил губу.

— Я бы хотел вернуться обратно в Стражу и забыть всю эту ерунду. Я всегда хотел понять, что значит быть богатым. Теперь я это знаю, но вынес из этого знания только головную боль.

— Значит, ты все бросаешь? — в ее голосе проскользнула едва заметная нотка печали.

— Я этого не сказал. Я собираюсь остаться и разобраться, что к чему. Я не знаю лишь, с чего начинать. Ты считаешь, что я должен грохнуть по столу дяди Джека и потребовать мою долю?

— М-м-м... но только, чтобы рядом с тобой стоял юрист.

— Здесь и так слишком много законников!

— Поэтому один из них и нужен лично тебе. Я могу связаться с тем, кто выиграл стычку с судьей Брадером.

— Как мне его найти?

— Господи, мне-то юриста не нужно. Но я могу поискать. А теперь давай побродим и поболтаем — на тот случай, если мы кого-нибудь заинтересуем.

Торби провел утомительное утро, изучая законы, относящиеся к корпорациям. Сразу же после ленча с ним по видеофону связалась Леда.

— Тор, как насчет того, чтобы взять меня покататься на лыжах? Буря кончилась, и снег просто великолепен, — она многозначительно смотрела на него.

— Ну...

— Ох... да собирайся же!

Он пошел. Пока они не оказались далеко от дома, они молчали. Наконец Леда сказала:

— Человек, который тебе нужен, — это Джеймс Дж. Гарш из Нью-Вашингтона.

— Я так и подумал, что ты мне звонишь из-за этого. Ты хочешь кататься? Я бы предпочел вернуться и позвонить ему.

— О, господи! — Она досадливо покачала головой. — Тор, я бы вышла за тебя замуж лишь для того, чтобы быть тебе матерью. Допустим, ты вернешься домой и позвонишь от Рудбеков адвокату с очень высокой репутацией. Ну и что будет?

— А что будет?

— Ты можешь проснуться в тихом спокойном месте, где вокруг тебя будут стоять могучие мускулистые няни. Я провела бессонную ночь и пришла к выводу, что тут есть чем заняться. И приняла решение. Я бы хотела, чтобы папочка вечно занимался тем, что он делает... но если он ведет грязную игру, я на твоей стороне.

— Спасибо, Леда.

— Он говорит "спасибо"! Тор, все это делается лишь для Рудбеков. Ну, а теперь к делу. Ты не можешь схватить шапку в охапку и напрямик направиться в Нью-Вашингтон нанимать юриста. Если я разбираюсь в судье Брадере, он уже продумал, что делать, если ты пойдешь на это. Но ты можешь изъявить желание осмотреть некоторые из своих владений... и начать со своего дома в Нью-Вашингтоне.

— Хитро придумано, Леда.

— Я такая хитрая, что даже сама поражаюсь. И если ты хочешь, чтобы все прошло гладко, ты должен пригласить меня с собой. Папочка как-то сказал мне, что я должна ознакомить тебя с окрестностями.

— Конечно, Леда. Но у тебя будет слишком много хлопот.
— Все будет очень просто. Мы в самом деле осмотрим некоторые достопримечательности, например, в Отделе Северной Америки. Единственное, что меня беспокоит, — как ускользнуть от охраны?

— Охраны?

— Никто из имеющих вес Рудбеков не путешествует без телохранителей. Ну хотя бы для того, чтобы они могли охранять тебя от репортеров и сумасшедших.

— Я думаю, — медленно сказал Торби, — что относительно меня ты ошибаешься. Я ездил навестить моих стариков. И со мной не было никакой охраны.

— Они умеют оставаться незамеченными. Ручаюсь, что в доме твоей бабушки было как минимум два человека, пока ты оставался там. Видишь вон того одинокого лыжника? Он катается отнюдь не для своего удовольствия. Так что мы должны продумать, как унести от них ноги, пока ты не доберешься до Гарша. Не волнуйся. Я обо всем подумаю.

Торби был очень заинтересован большой столицей, но еще больше его интересовала цель, ради которой он тут оказался. Леда удерживала его от спешки.

— Первым делом мы осмотримся. Мы должны вести себя совершенно естественно.

Дом, который можно было сравнить с поместьем Рудбеков, был в таком виде, словно хозяева его покинули день назад. Он узнал двух слуг, которых видел в поместье. Машина с водителем и дворецкий в пиврее Рудбеков ждали их. Водитель, казалось, знал, что они хотят увидеть; они ехали под зимним солнцем субтропиков, и Леда указывала ему на посольства и консульства других планет. Когда они проезжали величественную анфиладу зданий, в которых размещалась Стража Гегемонии, Торби попросил шофера притормозить, иначе он бы свернул себе шею.

— Никак это твоя альма-матер? — спросила Леда. Затем она шепнула: — Присмотрись получше. Здание напротив — это то, куда мы должны попасть.

Они оказались у точной копии Мемориала Линкольна. Торби внезапно показалось, что статуя похожа на палу — не буквально, но что-то в ней было. Его глаза наполнились слезами.

— Здесь я всегда чувствую волнение, — шепнула Леда, — словно я зашла в свою старую церковь. Ты знаешь, кто он был? Он основал Америку. Во времена той ужасной древней истории.

— Он сделал кое-что еще.

— Что?

— Он освободил рабов.

— Ах вот как, — она взглянула на него с грустным пониманием. — Это имеет для тебя особое значение... не так ли?

— Да... — Он хотел было сказать Леде о причине, побудившей его ввязаться в драку, потому что они были одни и это место не прослу-

шивалось. Но не смог. Папа не имел бы ничего против, но он обещал полковнику Брисби.

Торби с трудом разбирал надписи на стенах с буквами и выражениями, которые были в ходу еще до того, как английский стал Системным Английским. Леда потянула его за рукав и прошептала:

— Идем. Я не могу долго находиться тут... или я начну плакать. Они вышли на цыпочках.

Леда решила, что они должны немедленно посетить представление в Млечном Пути. Поэтому они отпустили шофера, сказав тому вернуться через три часа и десять минут, а за плату на двоих Торби заплатил сумасшедшие деньги спекулянту билетами.

— Наконец-то! — выдохнула она, когда они очутились в здании. — Полдела сделано. Дворецкий в машине заснет, как только они завернут за угол. Но от водителя мы избавились ненадолго. Да и дворецкий сразу же вернется за нами, если дорожит своим местом. Так что сейчас он скорее всего покупает билет. Или уже внутри. Не оглядывайся.

Эскалатор понес их наверх.

— У нас несколько секунд; он не может последовать за нами, пока мы не скроемся за углом. А теперь слушай. Люди, сидящие на наших местах, покинут их, как только мы предъявим билеты. Но едва я усядусь, тут же заплачу другому человеку, чтобы он оставался на своем месте. И дай бог, чтобы это оказался мужчина, так как нашему опекуну понадобится всего несколько минут, чтобы узнать, где мы находимся... или секунд, если он внизу уже выяснил, куда мы направились. Когда он найдет нашу плату, то увидит, что я сижу в ней с мужчиной. Лица мужчины в темноте он не разглядит, но увидит, что с ним сижу я, потому что специально надела платье, которое светится в темноте. Он будет счастлив. Ты же бери ноги в руки и уходи через любой выход, кроме главного; водитель скорее всего будет там ждать, и постарайся быть в хопле за несколько минут перед тем, как он подаст машину. Если ты не успеешь, бери любую машину и гони домой. А я буду громко жаловаться, что тебе не понравилось представление и ты ушел домой.

Торби решил, что Корпус "Икс" много потерял, не завербовав Леду в свои ряды.

— А не сообщат ли они, что потеряли наш след?

— Они будут так счастливы, найдя нас, что и дышать забудут. Вот мы и на месте — двигай! До встречи!

Торби выбрался наружу через боковой выход, заблудился, навел справки у полисмена и наконец оказался у здания напротив штаб-квартиры Стражи. Указатель помещений подсказал ему, что контора Гарша находится на 34-м этаже, и через несколько минут он уже стоял перед секретаршей, к устам которой, казалось, навсегда прилипло слово "нет". Она холодно сообщила ему, что Советник не принимает никого без предварительного оповещения. Не желает ли он изложить суть своего дела одному из помощников Советника?

— Имя, будьте любезны!

Торби огляделся, помещение было переполнено. Она нажала клавишу:

— Говорите! — и рявкнула: — Здесь умеют хранить тайны.
— Передайте мистеру Гаршу, что с ним хотел бы встретиться Рудбек из Рудбеков.

Торби показалось, что она готова посоветовать ему не нести чепухи. Но она торопливо встала и вышла.

Вернувшись, она тихо сказала:

— Советник может выделить вам пять минут. Вот сюда, сэр.

Личный офис Джеймса Дж. Гарша составлял резкий контраст и со зданием, и с его приемной, да и сам он напоминал неубранную постель: небритый, в мятых брюках, с заметным животом над ремнем. Он не поднялся навстречу вошедшему.

— Рудбек?

— Да, сэр. Вы мистер Джеймс Дж. Гарш?

— Тот самый. Ваше удостоверение. Сдается мне, что видел ваше лицо в каком-то выпуске новостей, но не могу припомнить, когда и где.

Торби протянул Гаршу свою карточку. Гарш внимательно изучил все ее графы и протянул обратно.

— Садитесь. Чем могу быть вам полезен?

— Мне нужен совет... и помощь.

— Как раз этим я и торгую. Но Братеру законники шепчут советы прямо в уши. Чем же именно я могу быть вам полезен?

— Можем ли мы поговорить конфиденциально?

— Раскованно, сынок. Надо говорить "раскованно". К юристу нельзя обращаться с такой просьбой: он или честен или нет. Что касается меня, я получен. Так что выбирайте.

— Видите ли... это длинная история.

— Так сделайте ее покороче. И говорите. А я буду слушать.

— Вы возьметесь представлять мои интересы?

— Говорите, а я послушаю, — повторил Гарш. — Может быть, я завалюсь спать. У меня сегодня не самый лучший день. Я ничего не обещаю.

— Хорошо, — сказал Торби и приступил к рассказу. Гарш слушал его с закрытыми глазами, скрестив пальцы на животе.

— Это все, — подвел итог Торби, — не считая того, что я хочу добиться ясности, чтобы вернуться обратно в Стражу.

Гарш в первый раз проявил интерес к его словам.

— Рудбек из Рудбеков? В Стражу? Не делай глупостей, сынок.

— Но, по правде говоря, я не настоящий Рудбек из Рудбеков. Я кадровый Стражник, который стал им в силу обстоятельств, от меня не зависящих.

— Я знаю эту часть вашей истории, любители трогательных романов проглотят ее, не пережевывая. Но мы оба столкнулись с обстоятельствами, над которыми мы не властны. Суть дела в том, что человек не хочет покинуть свое место. Даже если оно ему не принадлежит.

— И мне тоже, — упрямо сказал Торби.

— Давайте не будем заниматься глупостями. Первым делом мы добьемся, что ваши родители официально будут объявлены погибшими. Во-вторых, мы потребуем представить их завещания и доверенности.

И если вторая сторона начнет слишком суетиться, мы получим судебный ордер... и даже могущественный Рудбек сдастся перед повесткой "явиться-в-суд-или-будете-доставлены-силой". — Он закусил ноготь. — Но может пройти некоторое время, прежде чем вы получите ваше имущество и ваше положение будет определено. Суд может решить: или вы имеете право самостоятельно принимать решения, или же в завещании будет сказано, на кого возлагается эта обязанность, или же суд может назначить кого-то третьего. Но если все, что вы сказали, верно, то последних двух вариантов быть не может. Даже любой из судей, что сидят у Брадера в кармане, не осмелится на это, зная, что его решение будет отменено.

— Но что я могу сделать, если они ничего не начнут делать для признания факта смерти моих родителей?

— А кто вам сказал, что вы должны их ждать? Вы заинтересованная сторона номер один, поэтому вы и начинайте действовать. Другие родственники? Двоюродные сестры, например?

— Двоюродных нет. Я не знаю, какие еще могут появиться наследники. Есть еще родители моего отца Бредли.

— Даже не знал, что они живы. Они вас отговаривали?

Торби начал было возражать, но смешался:

— Даже не могу понять.

— Отметьте, когда мы дойдем до этого. Другие родственники... пока мы не заглянем в завещание, знать их мы не можем — а скорее всего это не произойдет до тех пор, пока суд не вынудит их. У вас есть какие-то возражения против того, чтобы давать свидетельства под гипнозом? Под воздействием лекарственных препаратов? Против детектора лжи?

— Нет. Почему?

— Вы самый важный свидетель факта их смерти, хотя прошло достаточно много времени.

— А если лицо исчезло очень давно?

— Смотря как оценивать. Временной промежуток служит руководством лишь для суда, в законе об этом ничего не сказано. Семь лет назад с этим еще надо было считаться — но теперь... Теперь смотрят на вещи куда шире.

— Когда мы начнем?

— У вас есть деньги? Или они вцепились в них когтями и не подпускают вас к ним? А я стою дорого. Обычно я требую оплаты за каждый мой вдох и выдох.

— Ну, у меня есть мегабак... и еще несколько тысяч. Около восьми.

— Хм-м-м... Разве я вам не сказал, что берусь за это дело? Вам не приходило в голову, что ваша жизнь может быть в опасности?

— Что? Нет, никогда.

— Сынок, люди творят черт-те что из-за денег, но они делают еще более ужасные вещи из-за власти, которую дают деньги. Любой, кто находится слишком близко к миллиарду кредитов, в опасности. Это то же самое, что держать у себя дома ручную кобру. Будь я на вашем месте и почувствуй я себя плохо, я бы нанял собственного доктора. Я был бы

осторожен, открывая двери и подходя к распахнутым окнам. — Он задумался. — Поместье Рудбеков сейчас для вас не самое лучшее место, не ищите их. Кстати, здесь вам бывать не надо. Вы член Дипломатического Клуба?

— Нет, сэр.

— Теперь вступите в него. Все будут удивлены, если вы не сделаете этого. После шести я часто бываю там. У меня там свой кабинет и что-то вроде частной конторы. Номер 20-II.

— Номер 20-II.

— Я еще не сказал, что берусь за ваше дело. Вы хоть понимаете, в каком я окажусь положении, если проиграю его?

— Нет, сэр.

— Как, вы говорите, называется то место? Джаббулпорт? Вот туда мне и придется отправиться. — Внезапно он улыбнулся. — Но меня что-то потянуло в драку. С Рудбеками, а? С Брадером. Кажется, вы упоминали мегабак?

Торби вынул чековую книжку и выписал чек. Пробежав его, Гарш сунул чек в ящик письменного стола.

— Этим мы еще расчеты не кончили, но во всяком случае есть гарантия, что вы не откажетесь от дела. Оно обойдется вам в копеечку. Пока. Увидимся через пару дней.

Торби расстался с ним, чувствуя приподнятость духа. Он никогда еще не встречал такого корыстного хищного старика — он напомнил Торби того опустившегося, покрытого рубцами человека, который бродил вокруг Нового Амфитеатра.

Выйдя наружу, он увидел штаб-квартиру Стражи. Еще раз бросив на нее взгляд, он, лавируя между машинами, внезапно кинулся через улицу к зданию и взбежал по ступенькам.

ГЛАВА 21

В огромном холле Торби увидел расположившийся по его периметру целый ряд кабинок для оперативной связи. Он протолкался сквозь толпу, кишащую в фойе, и зашел в одну из них. Приятный женский голос сказал:

— Назовите в микрофон свое имя, департамент и отдел. Ждите, пока не зажжется лампочка, а затем изложите свое дело. Напоминаем вам, что рабочее время закончилось и вас выслушают, только если ваше дело особой важности.

— Торби Баслим, — обратился он к бездушной машине. — В Корпус "Икс".

Он ждал. Записанный на ленте голос начал снова:

— Назовите в микрофон свое имя, департамент и...

Внезапно он оборвался. Мужской голос сказал:

— Повторите.

— В Корпус "Икс".

— Дело?

— Лучше посмотрите в ваших досье, кто я такой.

Наконец возник другой женский голос:

— Следуйте за световым указателем, который загорится сразу же над вашей головой. Не теряйте его из виду.

Следуя за ним, он поднялся наверх по эскалатору, спустился вниз по боковому коридору и вошел в дверь без всяких надписей, где его встретил человек в штатском и провел еще через две комнаты. Наконец он оказался лицом к лицу с человеком в гражданской одежде, который встал и сказал:

— Рудбек из Рудбеков? Я Крыла Смит.

— Простите, сэр, я Торби Баслим. А не Рудбек.

— Важно не имя, а подлинность личности. Я не Смит, но и оно годится. Думаю, вы можете удостоверить свою личность?

Торби протянул свою идентификационную карточку.

— У вас скорее всего должны быть мои отпечатки пальцев.

— Они сейчас поступят сюда. Не хотите ли еще раз оставить их?

Пока Торби занимался этим, на стол маршала Смита легло его дактилоскопическое досье. Он вложил обе карточки в сканирующее устройство, казалось, не обращая на него внимания. Но, когда на панели загорелся зеленый огонек, голос его стал куда теплее.

— Итак, Торби Баслим... или Рудбек, — сказал он. — Что я могу для вас сделать?

— Может быть, это я могу для вас кое-что сделать?

— Вот как?

— Я пришел сюда в силу двух причин, — заявил Торби. — Во-первых, мне кажется, я могу несколько дополнить последнее сообщение полковника Баслима. Вы знаете, кого я имею в виду?

— Я знал и глубоко уважал его. Продолжайте.

— Второе — я хотел бы вернуться в Стражу и продолжать службу в Корпусе "Икс".

Торби не мог припомнить, когда он пришел к этому решению, но оно было твердо, — и не только потому, что это было дело папы, корпус папы, работа папы.

Смит вскинул брови.

— Неужто? Рудбек из Рудбеков?

— Я тверд в своем решении, — Торби кратко рассказал, что ему еще предстоит вступить во владение имуществом своих родителей и поэтому пока он вынужден заниматься этими делами. — После того я буду свободен. Я понимаю, что со стороны артиллериста третьего класса это слишком самоуверенное заявление... хотя нет, я же был разжалован за драку со Стражником, который позволил себе непочтительно выразиться о Корпусе "Икс", но думаю, что мои знания могут вам пригодиться. Я знаю Людей — я имею в виду Свободных Торговцев. Я говорю на нескольких языках. Я знаю, как надо вести себя в Девяти Мирах. Мне довелось полутешествовать, пусть и не так много, потому что я не астронавигатор... но я посмотрел Галактику. Кроме того, я видел, как папа — полковник Баслим — работал. Может быть, и я смогу делать нечто подобное.

— Первым делом, вы должны любить эту работу. В большинстве случаев она достаточно неприглядна... она включает в себя вещи, которые уважающий себя человек не может делать, если только не считает их совершенно необходимыми.

— Но я считаю! Я был рабом! Вы знали это? Может, и это пригодится, если человек знает, как чувствует себя раб.

— Возможно. Хотя из-за этого вы можете быть слишком эмоциональным. Кроме того, маршруты работорговли — это еще не все, чем мы занимаемся. Когда к нам приходит новый человек, мы не можем обещать ему определенной работы. Он делает то, что ему приказывают. Мы используем его. Обычно мы выжимаем человека до капли. У нас очень высокая смертность.

— Я буду делать все, что мне будет приказано. Меня особенно интересует работорговля и ее пути. Ведь много людей здесь даже не знают, что она существует.

— Многое из того, чем мы занимаемся, для общества просто не существует. Можно ли ожидать от людей, которых вы повседневно видите вокруг себя, что они будут доверчиво воспринимать невероятные истории о мирах, лежащих за пределами их восприятия? Вы должны помнить, что лишь меньше одного процента людей покидали планеты, где они родились.

— Так я и предполагал. Во всяком случае, убедить их трудно.

— Но это еще не самое сложное. Гегемония Терры — это не империя; просто Терре принадлежит ведущая роль в обширной конфедерации планет. И между тем, что Стража должна делать, и тем, что ей позволено делать, существует вопиющая разница. Если вы пришли сюда, надеясь, что еще при своей жизни увидите конец рабства, то должен вас глубоко разочаровать. По нашим самым оптимистическим подсчетам, для этого потребуется не меньше двух столетий — а за это время рабство появится на планетах, которые сегодня еще и не открыты. Нет проблем, которые можно решить раз и навсегда. Это вечный процесс.

— Единственное, что я хотел бы знать, — могу ли оказаться полезным?

— Не знаю. Не только потому, что, по вашему рассказу, вы только недавно были внесены в списки... таких, как вы, у нас хватает. Корпус "Икс" — это скорее идея, а не организация. Меня не волнует, что, мол, Торби Баспим окажется не у дел; ему всегда найдется работа, даже если он будет всего лишь переводить. Но Рудбек из Рудбеков... м-да.

— Но ведь я сказал вам, что расстанусь со всем этим!

— Что ж, давайте подождем, пока это свершится. Как вы сами говорите, вы не настаиваете, чтобы вас сегодня же приняли в штат. А что там насчет другой причины? Вы хотели как-то дополнить сообщение полковника Баспила?

Торби помедлил.

— Сэр, полковник Брисби, мой Командующий, сказал мне, что па... что полковник Баспим доказал связь между работорговлей и доходами некоторых больших верфей, где строятся межзвездные корабли.

— Он сказал вам об этом?
— Да, сэр. Вы можете заглянуть в рапорт полковника Баслима.
— У меня нет нужды в этом. Продолжайте.
— Ну... он говорил о Рудбеках? О Галактическом Транспорте, не так ли?

Смит задумался над его словами.

— Если ваша компания замешана в работорговле, почему вы обращаетесь ко мне? Это вы должны рассказать нам.

Торби нахмурился.

— У вас есть тут Галактический Атлас?

— В нижнем холле.

— Могу ли я им воспользоваться?

— Почему бы и нет? — Маршал провел его в конференц-зал, над которым господствовал поблескивающий скоплениями звезд стереодисплей. Он был самым большим из всех, что Торби доводилось видеть.

Ему пришлось уяснить, как он действует, управление было достаточно сложным. Затем принялся за работу. Мышцы лица окостенели от напряжения. Под пальцами Торби возникали цветные огоньки и цепочки огней, воссоздававшие картину, которую он создал на Галактоатласе в своем кабинете. Он ничего не объяснял, и маршал в молчании следил за его действиями. Наконец Торби сделал шаг назад.

— Это все, что я теперь знаю.

— Вы кое-что не учли. — Маршал высветил еще несколько желтых и красных огоньков, а затем, не торопясь, добавил еще несколько пропавших кораблей. — Но вы совершили настоящий подвиг, восстановив по памяти эту схему — она очень убедительно доказывает существование связей, о которых мы только догадывались. Я вижу, вы включили в нее и свой случай — может быть, именно этим и объясняется ваша личная заинтересованность. — Он отошел в сторону. — Ну что ж, Баслим, вам был задан вопрос. Готовы ли вы ответить на него?

— Я уверен, что схема доказывает роль Галактического Транспорта! Не во всем, но в наличии своих людей на ключевых участках. Снабжение кораблей. Ремонт и горючее. Может быть, финансирование.

— М-м-м...

— Иначе как все это стало возможным?

— Вы знаете, что вам ответят, если вы решитесь обвинить в поддержке работорговли?..

— Но не в самой торговле. В конце концов, я так не думаю.

— Но вы обвиняете их в связи с ней. Первым делом, они скажут, что и слыхом не слыхивали ни о какой работорговле, что это всего лишь глупые слухи. Затем они будут утверждать, что, как бы там ни было, они всего лишь торгуют кораблями — а разве торговец скобяным товаром, который продает ножи, отвечает за то, что муж пырнет этим ножом свою жену?

— Здесь нет ничего общего.

— Но на этом они не остановятся. Они скажут, что не нарушают никаких законов, и если даже допустить, что где-то в самом деле существует работорговля, как могут они нести ответственность за дей-

ствия людей, которые, возможно, и творят зло за много световых лет отсюда? И тут они будут правы; вы не можете обвинять людей за то, чего они сами не делают. Затем некоторые вкрадчивые эlegantные личности осмелятся намекнуть, что рабство — когда оно еще существовало — было не таким уж злом, потому что большая часть населения, по сути, будет только счастлива, если ей не придется нести обязанностей свободного человека. Затем они намекают, что если не будут продавать корабли, это будет делать кто-то другой — таковы законы бизнеса.

Торби вспомнил о безымянном маленьком Торби, скорчившемся во тьме вонючего трюма, плачущем от ощущения ужаса, тоски и одиночества на корабле работорговцев, — а ведь корабль мог быть его собственным.

— Один хороший удар плеткой вышиб бы из них все эти лживые слова!

— Конечно. Но плети у нас тут не в ходу. Порой мне кажется, что нам не мешало бы обзавестись ими. — Он посмотрел на дисплей. — Мне придется зафиксировать все это; тут есть детали, которые пока не укладывались в общую картину. Спасибо, что пришли к нам. Если у вас появятся еще какие-нибудь идеи, приходите снова.

Торби понял, что его желание пойти в Корпус было воспринято без должной серьезности.

— Маршал Смит... есть еще кое-что, о чем бы я хотел попросить вас.

— Что именно?

— Прежде чем я стану одним из вас, если вы мне позволите... или после того; я не знаю, как это делается... но сначала я хочу уйти в полет как Рудбек из Рудбеков, на своем собственном корабле и проверить те места... красные огоньки, и среди них то, что связано со мной. Может быть, боссу удастся докопаться до таких вещей, до которых секретному агенту не дотянуться.

— Может быть. Но вы же знаете, что ваш отец однажды уже пытался предпринять такой инспекционный облет. И ему не повезло. — Смит почесал подбородок. — Но мы никогда об этом не думали. До того как вы появились во плоти и крови, мы считали, что их постигла обыкновенная катастрофа. Яхта с тремя пассажирами, с командой из восьми человек и без всякого груза не представляла большого интереса для пиратов, а ведь обычно они отлично знают, на что идут.

Торби был в ужасе.

— Вы считаете, что...

— Я ничего не считаю. Но хозяева, что хотят выведать делишки своих подчиненных, которыми те занимаются в другое время и в других местах, рискуют обжечь себе пальцы. И скорее всего ваш отец кое-что подзревал.

— Относительно работорговли?

— Не имею представления. Он хотел все проверить. В этом ареале. А теперь я вынужден буду откланяться. Но буду рад видеть вас снова... или позвоните, и мы встретимся.

— Маршал Смит... в случае чего, о том, что мы с вами обсуждали,

я могу поговорить с другими людьми?

— Что? Да обо всем. Пока данные не поступили в распоряжение Корпуса или Стражи. Факты, которые вам известны... — он пожал плечами, — кто им поверит? Хотя если вы будете говорить о своих подозрениях с деловыми партнерами... рискуете вызвать сильные эмоции по отношению лично к себе... хотя часть из них будет носить честный и откровенный характер. А другие? Хотел бы я это знать.

Торби явился так поздно, что Леда уже выходила из себя, сгорая от любопытства. Но она была вынуждена скрывать свои эмоции не только из боязни быть подслушанной, но и из-за присутствия пожилой тетки, которая явилась, чтобы выразить свое уважение Рудбеку из Рудбеков, и осталась ночевать. И лишь на следующий день, после того как они осмотрели ацтекские реликвии, им удалось поговорить.

Торби передал, что сказал Гарш, а потом решился на большее.

— Вчера пытался вступить в Стражу.

— Тор!

— О, я не сошел с ума. У меня была на то своя причина. Стража — это единственная организация, которая пытается положить конец работорговле. Но есть более серьезная причина, по которой я не могу вступить в нее сразу же. — Он рассказал о своих подозрениях относительно связи Рудбеков и маршрутов работорговли.

Она побледнела.

— Тор, это самое ужасное известие, которое мне доводилось слышать. Я не могу поверить.

— Я бы и сам хотел убедиться, что это неправда. Но ведь кто-то же строит их корабли, кто-то ремонтирует их. Работоторговцы не инженеры; они паразиты.

— Я все еще с трудом могу поверить, что существует такая вещь, как работорговля.

Он пожал плечами:

— Десять плеток убедят кого угодно.

— Тор! Ты же не хочешь сказать, что тебя секли плетьюми?

— Точно не помню. Но вся спина у меня в шрамах.

И пока они шли домой, Леда не сказала ни слова.

Торби еще раз увиделся с Гаршем, а затем они отправились на Юкон в компании старой тетки, которая прилепилась к ним. У Гарша были бумаги, которые Торби должен был подписать, и некая информация.

— Позыв к действию должен поступить от Рудбеков, потому что там была законная резиденция ваших родителей. Второе — мне удалось кое-что раскопать в наших газетах.

— Да?

— Ваш дедушка оставил вам здоровую кучу акций. Обычная история: бурные восторги по поводу вашего рождения. Журнал парижской фондовой биржи перечислил их по номерам. Так что в тот день их все знали.

— Выбор средств в ваших руках.

— Но я не хочу, чтобы меня подозревали в связи с вами и с Рудбе-

ками, пока судебный пристав не воскликнет: "Слушайте! Слушайте!" Вот почтовый адрес, по которому вы можете найти меня... в крайнем случае, по телефону, если в этом возникнет необходимость. И собираясь на встречу со мной, примите все меры предосторожности.

Торби было затруднительно претворить в жизнь эти указания, потому что телохранитель не отходил от него ни на шаг.

— Почему бы вам или кому-нибудь другому — скажем, какому-то молодому человеку — не позвонить моей кузине и не передать ей кодовое послание? — предложил он. — Ей часто звонят самые разные люди, большинство из них — молодежь. Она передаст все мне, а я уж найду возможность перезвонить вам.

— Отличная идея. Он спросит, знает ли она, сколько дней осталось на покупки перед Рождеством. Отлично: увижу вас в суде. — Гарш ухмыльнулся. — Похоже, что это будет весьма забавно. И очень, очень дорого для вас. Пока.

ГЛАВА 22

— Никак ты неплохо отдохнул? — Дядя Джек улыбнулся ему. — Ну и погонялись мы за тобой. Ты не должен был так поступать, мой мальчик.

Торби рванулся ударить его. Телохранитель отпустил его, втолкнув в комнату, но руки его были связаны.

С лица дяди Джека сползла улыбка, и он взглянул на судью Брадера.

— Тор, ты никогда не хотел признать, что мы работали на благо твоего отца и твоего дедушки. Естественно, мы лучше знали, как вести дела. Но ты доставил нам немало хлопот, и сейчас мы покажем тебе, как следует обращаться с маленькими детьми, которые не понимают хорошего отношения. Мы тебя научим. Вы готовы, судья?

Судья Брадер злобно усмехнулся и вытащил из-за спины хлыст:

— Ткни его мордой в стол!

Торби проснулся от удушья. Ну и приснится же такое! Он оглядел комнатку маленького отеля и постарался припомнить, как он здесь очутился. Они беспрестанно путешествовали, покрывая иной раз до половины планеты. Он уже стал достаточно разбираться в нравах и обычаях, чтобы не привлекать особого внимания, и новая идентификационная карточка служила ему не хуже настоящей. С тех пор как он выяснил, что подпольный мир всюду живет по тем же законам, это было уже не так трудно.

Наконец он вспомнил — он находился в Южной Америке.

Прозвучал сигнал тревоги — уже полночь, время двигаться. Торби оделся и посмотрел на свой багаж, который решил оставить здесь. Через черный ход он спустился вниз.

Тете Лиззи не нравился холод Юкона, но она смирилась с ним. Вдруг кто-то позвонил Леде и напомнил, что до окончания покупок к Рождеству осталось всего несколько дней, и поэтому им пришлось уезжать.

В Ураниум-сити Торби решил позвонить. Гарш ухмыльнулся с экрана. — Жду вас в окружном суде по делу "графство против Рудбека", четвертый зал, в девять пятьдесят девять утром четвертого января. А теперь сгиньте с глаз долой.

Поэтому в Сан-Франциско в присутствии тети Лиззи Торби и Леда поругались. Леда хотела отправиться в Ниццу, Торби настаивал на Австралии. Торби наконец гневно сказал:

— Ну и забирай себе машину! Я куплю себе другую! — Он вылетел вон и купил себе билет до Большого Сиднея.

Там он устроил старую шуточку, проскользнув в туннеле под Заливом и, убедившись, что отделался от своего телохранителя, пересчитал наличные, которые Леда сунула ему тайком, потому что ругались они публично. У него было чуть меньше двухсот тысяч кредитов. К ним была приложена записочка с извинениями, что она не могла собрать больше, но терпеть не может иметь с собой наличные деньги.

Ожидая рейса, Торби пересчитал то, что осталось от этих денег, и понял, что должен тратить их осторожно, вести себя очень рассудительно по отношению и ко времени, и к деньгам. И куда только девается и то, и другое?

В Рудбек-сити на него буквально набросились фотографы и репортеры; все вокруг так и кишело ими. Но он протолкнулся сквозь их толпу и в девять сорок восемь встретился в баре с Гаршем. Старик кивнул.

— Садитесь. Хиззонер скоро появится.

Судья вошел и, встав, провозгласил древнюю формулу справедливости: "...да будут заслушаны обе стороны".

— Этот судья на поводке у Брадера, — заметил Гарш.

— Что? Тогда почему мы здесь?

— Вы мне платите за то, чтобы об этих проблемах беспокоился я и только я. Любой судья становится хорошим судьей, когда знает, что он под прицелом, что за ним наблюдают. Оглянитесь.

Торби так и сделал. Помещение было настолько заполнено представителями прессы, что остальным оставалось лишь стоять вдоль стен.

— Я неплохо потрудился, — заметил Гарш, — если мне будет позволено так выразиться. — Он ткнул пальцем в передний ряд. — Этот увалень с большим носом — посланник с Проксимы. А старый жулик рядом с ним — Глава Юридического комитета И... — он замолчал.

Торби не видел дяди Джека, но судья Братер сидел за другим столом — на Торби он не глядел. Не видно было здесь и Леды. Он остро почувствовал свое одиночество. Но Гарш, кончив формальное представление дела, сел рядом с ним и шепнул:

— Вам послание от юной леди. Она просит передать, что желает удачи.

Торби принял участие в судоговорении, только давая присягу, а затем последовали заявления, контрзаявления и предупреждения. Когда его приводили к присяге, он заметил на передней скамье отставного судью из Высшего Суда Гегемонии, который как-то обедал у





Рудбеков. Затем Торби уже ничего не замечал, потому что излагал свой рассказ в глубоком трансе, в который ввел его психотерапевт.

Каждая деталь его повествования бесконечно обсуждалась и пережевывалась, но лишь однажды слушание обрело драматический характер. Брадер обратился к суду с протестом в такой форме, что по залу пронесся шепот и кто-то даже затопал ногами. Судья побагровел:

— К порядку! Бейлиф очистит помещение!

Несмотря на протесты репортеров, бейлиф приступил к исполнению своих обязанностей. Но первые ряды сидели неподвижно, не сводя взглядов с судьи. Высокий Посланник с Веганской Лиги наклонился к своему секретарю и что-то шепнул ему; тот зашелестел клавишами стенографической машинки.

Судья прокашлялся:

— ...пока не прекратится подобное нетерпимое поведение... Суд не потерпит неуважения к себе.

Торби не без удивления услышал его заключительные слова:

— ...из чего следует признать, что Крейтон Бредли Рудбек и Марта Бредли Рудбек скончались и ныне мертвы, став жертвой катастрофы. Да покоятся их души в мире. И пусть так и будет записано.

Судья стукнул своим молотком по столу.

— Если душеприказчики или опекуны наследников завещания в случае, если оно имеет место, присутствуют в настоящем суде, пусть они выйдут сюда.

О собственной доле Торби не было сказано ни слова. Торби поставил все необходимые подписи в комнате судьи. Ни Уимсби, ни Брадер при этом не присутствовали.

Когда Торби с Гаршем вышли наружу, он перевел дыхание.

— С трудом могу поверить, что нам удалось выиграть.

Гарш усмехнулся.

— Не обманывайте сами себя. Мы выиграли по очкам лишь первый раунд. Все дальнейшее обойдется вам недешево.

У Торби обтянулись скулы. Телохранитель начал прокладывать им дорогу через толпу, и они двинулись за ним.

Гарш не преувеличивал. Брадер и Уимсби продолжали управлять компанией "Рудбек и Ассоциации" и не собирались складывать оружия. Торби так и не увидел доверенности своих родителей, хотя сегодня он хотел убедиться лишь в одном: он предполагал, что разница между теми бумагами, что ему подготовил судья Брадер, и теми, что оставили отец и мать, заключается в нескольких словах — "аннулировать" или "аннулировать по устному соглашению".

Но когда суд на своем очередном заседании приказал доставить их, Брадер объявил, что они были уничтожены при очередной чистке архивов от ненужных документов. Он был приговорен к десяти дням заключения за неуважение к суду, исполнение приговора было отложено, и на том все кончилось.

Хотя Уимсби лишился той доли голосов, которые ему давали вклады Крейтона и Марты Рудбек, не получил их и Торби; предстояло еще

дождаться утверждения завешания. Все это время Брадер и Уимсби продолжали оставаться у руководства компанией, чувствуя поддержку большинства директоров. Торби не имел права доступа даже в Рудбек-билдинг, не говоря уж о своей старой конторе.

Уимсби больше не показывался в поместье, его вещи были ему высланы. Торби отдал Гаршу апартаменты Уимсби. Старик часто оставался ночевать, потому что они были очень заняты.

Гарш разъяснил ему, что возбуждены девяносто семь дел, относящихся к его имуществу; часть рассматривается, часть еще только ждет очереди. Коротко — завешание было по своей сути очень простым: Торби — единственный основной наследник. Но к сему появилось дюжины возражений против отказа в недвижимости; появилось немало родственников, которые хотели бы хоть чем-нибудь поживиться, если завешание не будет признано; снова поднимается вопрос о том, что значит "умерли и законным образом признаны мертвыми"; будет оспариваться дата, с которой исчислять смерть, что меняет суть дела; встал даже вопрос о подлинности личности Торби. Во всех этих делах нет ни следа присутствия ни Уимсби, ни Брадера: на переднем плане, как правило, какие-нибудь дальние родственники или держатели акций, выступающие истцами, — Торби был вынужден прийти к выводу, что дядя Джек пользуется немалым влиянием.

Но единственный иск, который по-настоящему опечалил его, был подан в суд его дедушкой и бабушкой Бредли, которые требовали, чтобы над ним была установлена опека в силу его полной некомпетентности. В качестве доказательства, кроме того неоспоримого факта, что сложная жизнь Терры ему в новинку, приводилось медицинское заключение, полученное у Стражников. Доктор Киршнамурти подтверждал, что он "в потенции эмоционально нестабилен и не может полностью отвечать за свои действия в стрессовой обстановке".

Гарш заставил его подвергнуться безжалостному публичному осмотру врача, пользовавшегося Генерального Секретаря Ассамблеи Гегемонии. Торби официально был признан совершенно здоровым. Это заключение последовало как ответ на обращение держателей акций, требовавших, чтобы Торби был признан профессионально неготовым вести дела компании, и сделать это надо было в интересах как общества, так и отдельных лиц.

Торби был измучен всеми этими нападками, он начал понимать, что быть богатым слишком разорительно. Он был уже по уши в долгах и не мог вступить во владение своим имуществом, ибо Брадер и Уимсби, несмотря на однозначные ответы, продолжали утверждать, что личность его сомнительна: тот ли он, за кого себя выдает?

Наконец суд, который был на несколько порядков выше окружного, предоставил Торби право распоряжаться акциями его родителей до тех пор, пока не будут окончательно улажены споры о судьбе имущества.

В соответствии с подзаконным актом, по инициативе держателей акций Торби созвал их на генеральное собрание, которое должно было избрать основных должностных лиц компании.

Собрание состоялось в аудитории Рудбек-билдинг, и в нем приняло

участие большинство акционеров с Терры, хотя часть из них была представлена по доверенностям. В последнюю минуту влетела даже Леда, весело крикнув присутствовавшим: "Привет всем!" Затем она повернулась к своему приемному отцу:

— Палочка, я получила извещение и решила повеселиться — вскочила в автобус и примчалась сюда. Я ничего не перепутала?

На Торби она глянула лишь мельком, хотя он занимал место вместе со всеми на возвышении. Торби не видел ее с того времени, как они расстались в Сан-Франциско, и испытал облегчение, смешанное с обидой. Он знал, что Леда продолжала обитать в поместье Рудбек и иногда бывает в городе, но Гарш предостерег его от попыток встретиться с ней.

— Если мужчина пытается встретиться с женщиной, которая ясно дала ему понять, что не хочет этого, то он дурак, — сказал он.

Призвав собрание к порядку, Уимсби объявил, что в соответствии с существующим порядком собравшиеся должны выбрать руководство компании.

— Пусть секретарь провозгласит список предполагающихся руководителей отделов. — Его лицо озарилось торжествующей улыбкой.

Эта улыбка встревожила Торби. Учитывая его собственную долю и долю его родителей, он контролировал примерно 45 процентов акций. Зная имена тех, кто поддерживал Уимсби, он прикидывал, что под контролем Уимсби было около 31 процента акций. Торби было необходимо получить еще 6 процентов. Возможно, сказался бы прилив эмоций по отношению к Рудбеку из Рудбеков, но он не мог быть в этом совершенно уверенным, несмотря даже на то, что Уимсби необходимо было перетянуть к себе вдвое больше голосов из тех, кто еще не определил свои симпатии... но, возможно — Торби не был в этом уверен, — они уже были в кармане у Уимсби.

Встав, он представился:

— Тор Рудбек из Рудбеков.

Затем представления пошли одно за другим, пока не подошла очередь Уимсби. На нем представление закончилось.

— Секретарь огласит список, — объявил Уимсби.

— Прошу сообщить, сколько у вас имеется в распоряжении голосов как у владельца и сколько вы представляете по доверенностям. Клерк сверит серийные номера по Большому Списку. Тор Рудбек... из Рудбеков.

Торби назвал свои 45 процентов и сел на место, чувствуя себя совершенно опустошенным и измотанным. Но взяв себя в руки, он вытащил из кармана маленький калькулятор. Всего было 94 тысячи акций, имеющих право голоса; Торби было необходимо получить 5657 голосов, чтобы у него был перевес хотя бы в один голос.

Он начал медленно складывать их — 232, 906, 1917... — некоторые из них впрямую, некоторые по доверенностям. Но и Уимсби занимался тем же самым. Некоторые держатели акций оповещали, что голоса по доверенностям они не отдают, некоторые воздерживались от выра-

жения собственного мнения, и Торби был вынужден сделать вывод, что эти доверенности были выданы самим Уимсби. Но счет голосов в пользу Рудбека из Рудбеков постепенно рос — 2205, 3036, 4309... и тут все остановилось.

Секретарь, конечно, получил инструкции, какие имена следует зачитывать последними.

— Досточтимый Курт Брадер!

Брадер отдал свою долю Уимсби.

— Наш председатель мистер Джон Уимсби.

Уимсби встал. Он так и лучился довольством.

— Мне лично принадлежит одна акция. Но в силу имеющихся у меня доверенностей я отдаю принадлежащие мне голоса...

Дальше Торби не стал слушать и потянулся за своей шляпой.

— Считаю, что список завершен, — начал секретарь.

— Нет! — Леда вскочила на ноги. — Я лично присутствую здесь. Это мое первое собрание, и я хочу сама голосовать!

— Очень хорошо, Леда, — торопливо сказал ее отчим, — но ты не должна прерывать. — Он повернулся к секретарю собрания. — На результат это не повлияет.

— Еще как повлияет! Я отдаю свою тысячу восемьсот восемьдесят голосов за Тора Рудбека из Рудбеков!

Уимсби вскочил.

— Леда Уимсби!

— Мое настоящее имя — Леда Р У Д Б Е К, — сдавленно ответила она.

— Незаконно! — закричал судья Брадер. — Голоса подсчитаны. Это слишком...

— Чушь! — крикнула ему в ответ Леда. — Я здесь и голосую сама. За десять минут до собрания я зашла к нотариусу в этом здании и отозвала свою доверенность — ведь я имела право на это, не так ли, судья? Если вы мне не верите, можете спуститься и проверить лично. Но что из этого? Я сама здесь. Можете меня потрогать. — Затем она повернулась к Торби и улыбнулась ему.

Торби попытался выдавить из себя ответную улыбку, а затем яростно повернулся к Гаршу:

— Почему вы таили это в секрете?

— Чтобы Уимсби, узнав, что она собирается делать, не уговорил или просто не купил себе недостающие голоса. Так он мог выиграть. До последней минуты она держала его в счастливом неведении, точно, как я и говорил ей. Вот это женщина, Торби. Не упустите ее.

Пятью минутами позже Торби, бледный и осунувшийся, поднявшись, взял молоток, брошенный Уимсби. Он стоял лицом к толпе собравшихся.

— Теперь мы приступим к выборам правления, — объявил он, с трудом слыша собственный голос. Список кандидатов, который разработали Торби с Гаршем, был оглашен с единственным добавлением: Леда.

Она снова вскочила:

— О, нет! Вы не имеете права так поступать со мной!

— Не принимается. Вы взяли на себя ответственность, так и несите ее...

Когда секретарь объявил результаты, Торби повернулся к Уимсби.

— Вы еще и генеральный управляющий, не так ли?

— Да.

— Вы уволены. И не пытайтесь вернуться в свой бывший офис.

Уходите.

Брадер вскочил на ноги. Торби повернулся к нему.

— И вы тоже. Стража, выведите их из здания.

Торби устало смотрел на огромную кучу бумаг, на каждой из которых красовалась надпись "Срочно". Он взял одну, начал ее читать, затем положил обратно и сказал:

— Допорес, переключите все вызовы на меня. И идите домой.

— Я могу остаться, сэр.

— Я сказал, чтобы вы шли домой. Неужели вы надеетесь найти себе мужа с такими кругами под глазами?

— Да, сэр. — Она переключила связь. — Спокойной ночи, сэр.

— Спокойной ночи.

Хорошая девушка. Надежная, подумал он. По крайней мере, он на это надеется. Он не хотел быть новой метлой, которая чисто метет, администрация должна продолжать работу. Он набрал номер.

Ему ответил голос без лица:

— Болтушка из семи яиц.

— Я Прометей, — ответил Торби, — и из девяти получается шестнадцать.

— Взбивай болтушку.

— Договорились, — согласился Торби.

Появилось лицо маршала Смита:

— Привет, Тор.

— Джейк, я вынужден отложить нашу встречу и в этом месяце. Мне ужасно неприятно — но ты только посмотри на мой стол.

— Никто и не ждет от тебя, что ты будешь отдавать делам Корпуса все свое время.

— Черт побери, я только об этом и мечтаю: как можно скорее разгрести эти залежи, приставить к делу порядочных людей, а затем взять шапку в охапку и вступить в Корпус! Но все это не так просто.

— Тор, ни один уважающий себя офицер не позволит расслабиться, пока на его участке все не будет в порядке. А мы-то оба знаем, что у тебя и тут, и там горит красный свет.

— Словом... словом, я не могу организовать встречу. У вас есть несколько минут?

— Давай, — согласился Смит.

— Думаю, что когда я был мальчишкой, за которым охотились, мне бы оченьгодились иглы дикобраза. Понимаете?

— Никто не ест дикобразов.

— Верно! Но, говоря языком торговцев, верный способ придушить

какое-нибудь дело — это сделать его невыгодным, неприбыльным. Работоторговля — это бизнес, и самый верный способ покончить с ней — это зажечь на ее пути красный свет. И если потенциальные жертвы будут утыканы иглами дикобразов, к ним не подступятся.

— Если бы только у нас были иглы, — мрачно согласился Директор Корпуса "Икс". — У тебя есть какая-то идея относительно оружия?

— У меня? Кем вы меня считаете? Гением? Но думаю, что я нашел одного такого. Его зовут Джоэл де ла Круа. Его выгнали, и это была самая большая глупость, которую могла сделать его контора. Я кое-что рассказывал о своей работе наводчика на "Сису". И он сам, по своей инициативе набрел на прекрасную идею. Он мне сказал: "Тор, это просто смешно, когда корабль выводит из строя тоненький парализующий пуч, в то время, когда у корабля хватает энергии, чтобы зажечь маленькую звезду..."

— Очень маленькую звезду. Но я согласен.

— Отлично. Я засунул его в наши Хевернейровские лаборатории в Торонто. И как только ваши ребята одобряют то, что он делает, я хочу дать ему грузовик денег и предоставить свободу рук. Я скормил ему все, что знаю о тактике пиратов и так далее, — то и дело спал ему пенты, потому что у меня нет времени сидеть с ним и как следует поработать. Меня буквально разрывают на части.

— Ему будет нужна хорошая команда. Такую работу в одиночку не сделаешь.

— Знаю. Я сообщу вам имена, как только получу их. Проект "Дикобраз" получит и деньги, и людей столько, сколько ему будет надо. Но, Джейк, сколько этих устройств я смогу продать Страже?

— Что?

— Ведь я должен делать дело. Если оно не пойдет, совет меня просто выставит. Я могу осыпать проект "Дикобраз" дождем мегабаков, но мне нужно одобрение директоров и акционеров. И если мы добьемся успеха, я хочу знать, что смогу продать несколько сот штук Свободным Торговцам, смогу взять себе, сколько потребуется, но мне нужна уверенность, что у меня большой потенциальный рынок, чтобы оправдать расходы. Сколько может взять Стража?

— Тор, ты зря беспокоишься. Если вам не удастся создать супероружие — а шансы у вас не так уж и велики, — расходы на исследования будут оправданы. Твои держатели акций ничего не потеряют.

— Я не зря беспокоюсь. Я завоевал это место лишь незначительным большинством голосов, и специальное собрание держателей акций может выставить меня хоть завтра. Конечно, расходы на исследования оправдают себя, но не так быстро, как хотелось бы. Вы должны считаться с тем, что о каждом кредите, который я трачу, тут же становится известно людям, которые спят и видят, как бы разделаться со мной, поэтому мне и нужно убедительное оправдание трат.

— Как насчет контракта на исследовательские работы?

— Чтобы отставной полковник стоял над головой у моих ребят и говорил, что нужно делать? Мы хотим дать им полную свободу действия.

— М-м-м... да. Хочешь, я направлю тебе письмо с предложением взяться за эту работу? Предложим самую высокую цену. Я должен поговорить с Главным Маршалом. В данный момент он на Луне, а я не могу найти времени, чтобы самому выбраться туда. Тебе придется подождать несколько дней.

— Я не могу ждать, я должен быть уверен, что вы сможете это сделать. Джейк, я хочу закрутить дела, чтобы они шли, и покончить с этим сумасшедшим домом. Если вы не сможете зачислить меня в Корпус, я все равно буду артиллеристом.

— Загляни сегодня вечером. Я зачислю тебя, а затем прикажу исполнять свои обязанности на том месте, где ты находишься.

У Торби дрогнул подбородок.

— Джейк! Вы этого не сделаете!

— Сделаю, если ты будешь таким идиотом и будешь сопротивляться моим приказам, Рудбек.

— Но... — Торби замолчал. Спорить не имело смысла: впереди еще была уйма работы.

— Что-нибудь еще? — спросил Смит.

— Думаю, что нет.

— Первая встреча с де ла Круа состоится завтра. Потом увидимся.

Торби отключился, чувствуя еще большую усталость. Дело было не в полунасмешливой угрозе Смита и не в тревоге, которую у него вызывала необходимость потратить большие суммы денег, принадлежавших другим людям, на проект, который мог провалиться. Дело было в том, что он взялся за работу, которая оказалась куда более сложной, чем он предполагал.

Снова взявшись за верхний лист, он положил его на место и нажал кнопку, соединявшую его с помещением Рудбек. На экране появилась Леда.

— Сегодня снова буду поздно. Извини.

— А я организовала обед. Все веселятся, а я сижу на кухне.

Торби покачал головой:

— Займи место во главе стола. Я перекушу здесь. Может, и перекусю и ночью.

Она вздохнула:

— Если ты вообще будешь спать. Слушай, мой дорогой дурачок, я хочу, чтобы ты был в постели не позже двенадцати и не вставал раньше шести. Обещаешь?

— Ладно. Если получится.

— Лучше, чтобы получилось, а не то тебе достанется от меня. До встречи.

К верхнему листу из кучи бумаг он так и не притронулся, он просто сидел в раздумье. Леда хорошая девочка... она даже пыталась помочь ему в делах — до тех пор, пока не стало ясно, что дела — не самая сильная ее сторона. Но она единственный человек, кто неизменно подбадривает его. И не будь женитьба явным несчастьем для Стражников... но он не может обречь Леду на такую невеселую судьбу. До

статочно того, что в последнюю минуту он увипивает от большого праздничного обеда. Да и другое. Он постарается обращаться с ней получше.

Все казалось простым и самоочевидным: просто взяться за дело, прочистить тот сектор, примыкающий к Саргону, а затем проложить курс к нему. Но чем допше он обдумывал ситуацию, тем сложнее она представлялась. Налоги... дела с налогами всегда были чертовски запутаны... И откуда он найдет время?

Смешно, но человек, в распоряжении которого находятся тысячи межзвездных кораблей, не может найти время, чтобы взлететь на одном из них. Может быть, через год-другой...

С этим проклятым завещанием ничего не ясно и до сих пор — прошло уже два года, а суд все пережевывает бесконечные детали. Ну почему их не могла настичь простая и понятная смерть, как всех людей?

Идет время, а он не может всецело отдалиться тому делу, которому служил папа.

Конечно, кое-что ему удалось сделать. Предоставив Корпусу "Икс" некоторые данные, почерпнутые из досье и папок Рудбеков, он дополнил картину, и Джейк сказал ему, что один из рейдов, вычистивший гнездо работорговли, был прямым результатом его действий.

Но знал ли кто-нибудь, чем занималась компания Рудбек? Порой ему казалось, что и Уимсби, и Братер мучаются чувством вины, порой — что нет: ведь все дела, которыми они занимались, носили совершенно законный характер... может быть, все дело в людях, которые злоупотребляли их доверием? Но кто знает, что это было именно так?

Открыв ящик письменного стола, он вынул папку, на которой не было надписи "Срочно" — но лишь потому, что он никогда не расставался с ней. В ней хранились самые срочные, самые спешные данные, касающиеся Рудбеков, а может быть, и всей Галактики — и даже более важные, чем проект "Дикобраз", успех которого виделся ему в отдаленном будущем. То, что лежало в этой папке, должно было нанести сокрушительный удар или как минимум серьезно подорвать работорговлю. Но дела шли слишком медленно, и впереди был еще непочатый край работы.

Дел было слишком много. Бабушка говорила, что никогда не надо покупать яиц больше, чем может поместиться в твоей корзине. Но у него было слишком много корзин. И корзинки прибавлялись каждый день.

Конечно, в трудную минуту он всегда мог спросить себя: "А что бы сделал папа?" Полковник Брисби выражался так: "Я просто задаю себе вопрос: "Как бы поступил полковник Баслим?" Это помогало, особенно, когда ему приходилось вспоминать слова судьи, предостерегавшего его относительно того дня, когда к нему перейдут все вклады его родителей: "Никто не может обладать чем-либо единолично, и чем больше объем его владений, тем меньше они принадлежат ему. Вы не можете распоряжаться своим имуществом по своему собственному усмотрению или совершать глупые поступки. Ваша заинтересованность не может превалировать над интересами держателей акций, общественного производства или публики".

Вызвав в памяти образ папы, Торби, прежде чем дать жизнь проекту "Дикобраз", обсудил с ним это предупреждение.

Судья был прав. Когда он взялся за дела, первым его желанием было прекратить всякую активность компании "Рудбек" в том зараженном секторе и тем самым подорвать работоторговлю. Но этого нельзя было делать. Борясь с преступниками, ты не имел права наносить уроки тысячам и миллионам честных тружеников. Надо было искать более тонкие, более оправданные пути хирургического вмешательства.

Этим он теперь и пытался заниматься. Он углубился в изучение содержимого безымянной папки.

Гарш просунул голову:

— Все еще пытаешься покончить с плетками? Что за гонка, малыш?

— Джим, как мне найти десять честных человек?

— Диоген был бы рад найти хоть одного. Дай человеку больше, чем он может ухватить.

— Ты знаешь, что я имею в виду. Мне нужно десять честных человек, каждый из которых мог бы взять на себя управление делами на каждой из планет, где обосновались Рудбеки. — И про себя Торби добавил: "которые устроили бы Корпус "Икс".

— Одного я знаю.

— У тебя есть какой-нибудь другой выход? Мне нужен хоть один, кто мог бы сменить управляющего в том зловонном секторе, и когда того кого не сменить, вернется, мы не сможем уволить его: мы должны принимать их такими, какие они есть. Потому что мы ничего не знаем. Но мы должны доверять новым людям.

Гарш пожал плечами.

— Это лучшее, что мы сможем сделать. Но если ты думаешь решить проблему одним махом, выкинь это из головы, мы не в состоянии сразу же найти столько квалифицированных специалистов. Но послушай, малыш, сколько бы ты ни пилился в эту папку, ты не решишь все вопросы за один вечер. Когда ты будешь так стар, как я, ты поймешь, что нельзя заниматься всем сразу, если не хочешь загнать себя в могилу. Как бы там ни было, когда-нибудь ты скончаешься, и кто-то другой будет делать эту работу. Ты напоминаешь мне человека, который взялся пересчитать все звезды. Чем быстрее он считал, тем больше их появлялось. Он плюнул и пошел на рыбалку. Что и тебе не мешало бы почаще делать — и подниматься пораньше.

— Джим, почему ты согласился прийти сюда? И я вижу, что ты не уходишь с работы, когда остальных и след простыл.

— Потому что я старый болван. Кто-то должен был поддерживать тебя. Может быть, я получаю удовольствие, когда у меня есть возможность врезать по такому гнусному и грязному делу, как работоторговля, и это то, что мне надо, — а я слишком стар и толст, чтобы жить по-иному. Торби кивнул.

— Я тоже так думаю. Но мне надо нечто другое, а я так занят делами, которые должен делать, что у меня нет времени на то, что я хотел бы делать... и у меня никогда не будет возможности делать то, что я хочу.

— Сынок, это всеобщий закон. И чтобы спастись от преждевре-

менной смерти в такой жизни, есть единственный способ — так или иначе делать то, что ты хочешь. И в этом правда. Завтра будет большой день, который еще не начался... и ты пойдешь со мной, засунув в карман бутерброды, и мы будем смотреть на красивых девушек.

— Мне надо устраивать званный обед.

— Нет, ты не пойдешь на него. Даже корабль из титановой стали должен время от времени вставать на ремонт. Поэтому отправишься со мной.

Торби посмотрел на кучу бумаг:

— О'кей.

Старик жевал сандвичи, пил пиво, любовался красивыми девушками, и с лица его не сходила невинная улыбка истинного удовольствия. Вокруг них были действительно очень красивые девушки, в Рудбексити никогда не было недостатка в высокооплачиваемых звездах шоу-бизнеса.

Но Торби не смотрел на них. Он думал.

Человек не может освободиться от лежащей на нем ответственности. Капитан не может, не может Старший Офицер. Но он не видел, каким образом вступит в Корпус папы, если и дальше будет вести такой образ жизни. Но Джим был прав: здесь, на своем месте, он может вести борьбу с этим грязным делом.

Но если ему не нравится этот способ борьбы? Да, полковник Брисби сказал как-то о папе: "Он был так предан идее свободы, что готов был ради нее пожертвовать своей... быть нищим... или рабом... или умереть — чтобы жила свобода".

Да, папа, ты прав, но я не знаю, как делать эту работу. Я делаю ее... я стараюсь ее делать. Но я выбиваюсь из сил. У меня нет способностей к ней.

— Чепуха! — ответил папа. — Ты можешь выучиться всему, если заставишь себя. Ты будешь учиться или я оторву твою глупую голову!

Где-то рядом с папой появилась Бабушка и, серьезно глядя на Торби, кивнула в знак одобрения.

— Да, бабушка. Хорошо, папа. Я постараюсь.

— Ты будешь больше, чем просто стараться!
с я!

— Я это сделаю, папа.

— А теперь садись поешь.

Торби послушно потянулся за ложкой и увидел, что перед ним вместо миски с похлебкой лежит сандвич.

— О чем ты там бормотал? — спросил Гарш.

— Ни о чем. Я просто думал.

— Дай своей голове отдохнуть и распахни глаза. Для всего есть свое время и место.

— Ты прав, Джим.

— Спокойной ночи, сынок, — шепнул старый бродяга. — Хороших снов... и удачи тебе!

Разбиваются души о счастье

* * *

*И вот слова –
Волнуясь и стыдясь –
Ложатся, будто в первый раз,
На белый лист бумаги,
Образуя
Волшебные узоры.*

*Слова соединяются влюбленно,
Как некогда в раю
Адам и Ева,
В блаженной,
первозданной чистоте.*

*И музыка созвездий –
Таинственно и чудно –
Слова лишает будничного смысла
И превращает их
В стихи.*

* * *

*Это молоточек память,
Искромечущее пламя,
Звездоплещущее знамя
В суматохе голубой,
Волн ликующий прибой,
Струн гитарный перебой,
Разговор сама с собой.*

*То, что скользкой льдинкой тает,
То, о чем сосед не знает,
То, чем пенится корыто,*

*То, о чем стучат копыта
По торцовой мостовой
В Петрограде, над Невой,
То, что пляшет шито-крыто
Пляскою святого Витта
В подсознании, на дне,
Что потеряно во сне,
То, что белой ниткой сшито,
То, что шито красным шелком,
То, что рыщет серым волком,
Крысою по книжным полкам,
То, о чем не скажешь толком,
То, чего не объяснить,
То, на чем порвется нить
Жизни.*

И стихов.

ИЗ ЦИКЛА "СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ"

* * *

*Мне казалось всегда, что писатель
Очень нужен на этой земле,
И что я для Вас, мой читатель,
Как тепло, как еда на столе.*

Ирина Одоевцева – "последняя из могикан". Ирина Одоевцева – живая легенда русской поэзии. Ее жизнью связаны легендарные времена "серебряного века" русской литературы – эпоха Блока, Сологуба, Гумилева, Северянина – и наши сегодняшние дни. Поэтому не случайна широкая известность ее мемуаров "На берегах Невы" и "На берегах Сены", в которых она поэтически рассказала о своей жизни, о своем ученичестве у Гумилева, о шестидесяти пяти годах, прожитых в эмиграции.

В 1987 году Ирина Одоевцева вернулась на родину. И, думается, слава мемуаристки не должна заслонять главного ее дарования – таланта замечательного, оригинального, острого, необыкновенно музыкального поэта. Поэта Божьей милостью.

Но какое Вам, в сущности, дело
До того, что я стать хотела
Другом Вашим, опорой в борьбе,
Утешеньем в горькой судьбе.

Вот пишу я черным по белому,
По щемяще до слез сожалелому,
Без утайки и без прикрас,
Откровенно, как в смертный час, –

Обо всем, что я не сумела,
Как горела душа и болела,
Как томилась и как всецело –
Вами, с Вами, о Вас, для Вас.

* * *

В окнах светится крест аптеки,
Цвет зеленый – надежды цвет.
Мой пушистый зеленый плед.
Закрываю, как ставни, веки.
Может быть, это счастье навеки,
А совсем не жар и не бред.
Разбиваются чайки о снасти,
Разбиваются лодки о льды,
Разбиваются души о счастье.
Расцветают крестами сады,
Далеко до зеленой звезды...
Как мне душно. Дайте воды...

* * *

Над зеленой высокой осокой скамья,
Как в усадьбе, как в детстве, с колоннами дом.
Возвращается ветер на круги своя,
В суету суеты, осторожно, с трудом.

Возвращается ветер кругами назад
На пустыню библейских акрид и цикад,
На гору Арарат, где шумит виноград
Иудейски картаво. На Тигр и Евфрат.

Возвращается ветер, пространством звеня,
На крещенский парад, на родной Петроград,
Возвращается вихрем, кругами огня...

– Ветер, ветер, куда ты уносишь меня?

Я говорю слова простые эти,
Сгорая откровенностью дотла:
Мне кажется, нельзя на свете
Счастливей быть, чем я была.

Весельем и волненьем ожидания
Светился каждый новый день и час
Без сожалений, без воспоминаний,
Без лишних фраз
И без прикрас,
Все было для меня всегда как в первый раз.

Всегда ждала я торжества и чуда,
Волхвов,
Даров,
Двугорбного верблюда,
Луны, положенной на золотое блюдо,
И, главное, читательской любви.

Средь меланхолических ветвей
Серебристо плещущей ольхи
Вдохновенно,
в совершенстве диком,
Трелями исходит соловей
Над шафранною китайской розой.
Восхищаясь собственной позой,
Тень играет дискобальным
бликом,
И роса на бархатные мхи
Капает жемчужинами слез.

Розы, розы... Слишком много роз,
Слишком много красоты-печали.
Было слово (было ли?) вначале,
Слово без словесной шелухи.

Светляками, крыльями стрекоз
Над кустами розовых азалий
За вопросом кружится вопрос
Ядовитее, чем купорос:
Можно ли еще писать стихи.
Можно ли еще писать стихи
Всерьез?..

Когда этот номер был уже
передан в типографию, из Ле-
нинграда пришло горестное из-
вестие о кончине старшей
русской поэтессы Ирины Одо-
евцевой. И сразу вспомнились
строчки ее стихов:

О, любите меня, любите,
Удержите на этой земле!

Увы, нет такой силы, которая
могла бы длить и длить жизнь
человека. Кроме, пожалуй,
любви. Зинаида Гиппиус, стар-
шая современница Одоевцевой,
любила повторять: "Говоря: "Я
тебя люблю" — я тебе обещаю:
"Ты бессмертен".

Так подарим же поэзии
Ирины Одоевцевой свою лю-
бовь.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ДЕЛОВЫМ?

ФИРМЕННЫЕ ИГРЫ

*или Первые шаги
на пути к вершине*

СРЕДИ ОБЫЧНОЙ АТРИБУТИКИ

пионерского лагеря – призывов "Будь готов!" и портретов пионеров-героев – проходило это необычное действие. Его герои 11–14-летние школьники из Москвы, Ленинграда, Бреста. Главный режиссер – Елена Евгеньевна Немчинова, ведущая программу детского менеджмента в Ассоциации экспортеров СССР. Режиссеры и постановщики – экономисты, психологи, программисты и музыканты из махачкалинской школы менеджеров (Дагестан) и сторонники уфимского движения "За альтернативное образование".

Впрочем, декорации все-таки изменились. Лозунги и плакаты

потеснились, уступив место рекламе: "Фирма "Класс" гарантирует качество рекламы!", "Журнал "10 x 10" – это то, что вам нужно!", "Читайте газету фирмы "INKR5", НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!". Вместо "Взвейтесь кострами..." в воздухе носились непионерские слова: "менеджмент", "прибыль", "малое предприятие". Все эти метаморфозы происходили в пионерском лагере "Романтика", куда после окончания третьей смены приехали на десять дней участники семинара "Юных менеджеров".

ФИРМАЧИ,

или президенты фирм работают не покладая рук, чтобы обеспечить процветание своим предприятиям, приводя этим в восторг

и недоумение уборщиц, поваров и начальника лагеря. Действительно, картина неправдоподобная. 8 часов утра. Я слышу, как в коридоре уже знакомый мне 13-летний президент фирмы "Чистота" уговаривает уборщицу:

— Я вас прошу, отдайте мне швабру, я все помою сам.

— Но мы же вчера с тобой договорились, что ты будешь только подметать, а пол я сама, — не сдается уборщица.

— Теперь наша фирма будет еще и мыть пол, вам же от этого легче, — настаивает президент.

— Господи! — Женщина отдает швабру и ведро, но не уходит, а начинает, если говорить фирменным языком, давать консультации по технике уборки помещений...

— Вам сметаны побольше или поменьше, зелень принести? — спросил меня президент фирмы "Приятного аппетита", наливая щи. — Приятного аппетита.

Последнюю фразу он сказал не между прочим, а настойчиво повторял, когда приносил второе и третье блюдо. Словно говорил: "Запомните, только в фирме "Приятного аппетита" вас так обслуживают".

Хотя ему такая реклама была не обязательна — конкурирующих фирм не было.

А вот другим президентам приходилось помать голову. Рекламные фирмы "Класс", "Тумбочка", "SPS" боролись за клиентов. Журнал "10x10" и фирма "Веников не вяжет", выпускающая газету "Рожица", — за читателей. Впрочем, в инкубаторских условиях лагеря траты редакторов на рекламу были, по-моему, излишними. Как только издания выходили в свет,

то есть развешивались на дверях столовой, около них собирались читатели, и все просматривалось и прочитывалось от корки до корки. Теперь, когда фирмы давно прекратили свое существование и мои слова не будут ни рекламой, ни антирекламой, я могу рассказать о наиболее интересном, на мой взгляд, журнале "10 x 10". Вообще часто название фирмы было совершенно произвольным: "Стоп" — уборка веранды, "Catch" — ловля мух. "10 x 10" расшифровывалось и довольно просто, и оригинально (не в пример телеканалу "2 x 2"): Саша Десятник — редактор, а в каждом номере всего по десять: анекдотов, карикатур, полезных советов. По заявкам частных лиц печатались ноты и дружеские шаржи. Полиграфическая база — очень скромная: бумага, клей, фломастеры, но работа не понарошку, тем более что журнал выпускали как раз не 10 человек. Десятник-редактор придумывал темы, писал, рисовал.

Вы, наверное, уже заметили одну особенность в работе директоров фирм, они занимаются совершенно несолидными делами: убирают, готовят, рисуют газеты. Так каждый из нас может сделать своему самолюбию подарок и называть себя, например, королем. И смотря на президента рекламной фирмы, целый день выводящего объявления, и президента "Приятного аппетита", который носится между столами с тарелками, можно подумать, что это маленькие дети, играющие в игру не зная правил. И я бы посчитала все эти благозвучные иностранные слова дешевой приманкой взрослых в благородном стремлении научить

детей трудиться, если бы не узнала, что

НАСТОЯЩИЙ МЕНЕДЖЕР,

прежде чем сесть в вертящееся кресло управляющего фирмы, "влезает" в шкуры своих подчиненных, какое-то время работая дворником, рабочим и так далее. Только после этого он может взять на себя ответственность руководить работой всех и каждого.

"Менеджер должен стоять на вершине пирамиды, но подняться туда он может, только пройдя все ее уровни", – так считает старший преподаватель дагестанской школы менеджеров Мухтар Амадзиев. Его требования к менеджеру вообще довольно высоки. Но прежде чем их предъявлять, надо сделать из человека менеджера. Слова эти звучат сухо и как-то угрожающе. Но это не значит сделать умную машину: менеджер, по мнению преподавателей, – всесторонне развитый, логически мыслящий, волевой "сверхчеловек". Достичь этого можно, только изменив систему образования, выкинув из нее дисциплины и принципы отжившего прошлого, которые не только не знакомят с реальной жизнью, но и противоречат ей.

Еще в школе должны быть такие предметы, как основы экономики и законы управления. Они ведь нужны не только тем, кто будет руководить, но и тем, кто будет подчиняться. А начинать постигать науки лучше до полового созревания, пока половая энергия не вытеснила познавательную.

Разговаривая с ребятами, я убедилась, что жажда знаний у них выше нормы. Это подтверждают и преподаватели, которые не скрывают, что в этом есть их

заслуга, ведь они привезли на семинар совершенно новые предметы: уже упомянутые законы управления и основы экономики. Плюс психофизическая подготовка, основанная на точных воинских искусствах. Это не традиционные уроки физкультуры, которые в самом лучшем случае могут укрепить мышцы, – это расслабление или, наоборот, концентрация энергии. Гимнастика "Чигун" восстанавливает дыхание, подготавливает организм к различным нагрузкам, которые сопутствуют деловому человеку и подрывают его здоровье, без которого и ум, и образование бессильны, как мудрые немощные старики.

Уроки социальной психологии начались с самого элементарного – коммуникации, т.е. умения общаться в бытовых и деловых ситуациях. Немногие люди умеют хорошо говорить, слушать – еще меньше. И часто предприниматели не могут просто понять друг друга. Во время семинара я присутствовала на так называемом совете директоров. Детей трудно судить за неусидчивость и отсутствие хороших манер, а особенно летом и без родителей, но смотреть, как разгорячившиеся директора перебивают и перекрикивают друг друга, было неприятно. И страшно, что побеждали самые грубые и горластые. Обнадеживает то, что происходило это в самом начале семинара, когда курс коммуникации и хороших манер еще не был пройден до конца. Кстати, уметь танцевать, не наступая партнерше на ноги, – тоже хорошая манера, ради которой в пионерский лагерь прибыл учитель танцев.

Менеджер XXI века должен во всех ситуациях чувствовать себя уверенно и свободно – снаружи, как вата, внутри, как сталь.

Все это учеба, теоретические знания, которые, конечно, пригодятся на всю жизнь, но они нужны и сейчас для управления своими фирмами. У вас давно уже, наверное, возникло недоумение. То, что эти ребята не хотят отдыхать в последние дни каникул, можно объяснить огромной тягой к знаниям, довольно интересно создать свою фирму и заслужить признание клиентов, но, думаю, этого интереса хватило бы на игру-однодневку, а каждая фирма в течение 10 дней доказывала свое право на существование и набирала

ОЧКИ И ДОЛЛАРЫ,

в которых и был основной стимул. Но сначала о правилах игры. На территории лагеря действовали 25 фирм, созданных при условии, что они будут приносить реальную пользу и не будут заниматься противозаконными операциями, например рэкетом. Фирма получала ссуду в тысячу долларов, которую постепенно должна была вернуть государству. Естественно, настоящими долларами никто не хрустел, не было и игрушечных. Все операции (заключение контрактов и наем рабочих) совершались через банк и беспристрастного и доброжелательного банкира Игоря Филипова, который также возглавлял совет директоров. На этом совете каждый вечер подводились итоги деятельности фирм, присутствовал там и Алексей Петрович Гасанов, директор махачкалинского Центра "Юный менеджер", являвший собой государство, имеющее неог-

раниченную власть. Он имел решающее слово при выставлении оценок.

–1000 очков фирме, которая работала плохо,

0 – фирма работает не очень результативно,

3000 – фирма приносит пользу,

5000 – прекрасная работа фирмы.

3000 очков – это 500 долларов.

Часть из них может пойти на погашение ссуды, часть на рекламу и другие расходы.

Любая фирма может прогореть. Труднее всего это сделать банку, т.к. он вне конкуренции. Но за ошибки и банк может быть оштрафован на 10–50% в пользу государства.

Даже теперь, когда на сцене появились доллары, не совсем понятно, зачем горбатиться ради этих практически не существующих бумажек, которыми так легко распоряжается несуществующее государство. Но все становится на свои места, если вспомнить, что трое, набравших большее количество очков, смогут поехать следующим летом на такой же семинар в Махачкалу. Если вы, читатели, разочарованы таким призом, то трое моих героев (я их представлю в конце) очень рады такой возможности, ведь махачкалинская школа менеджеров – самая первая, самая опытная и прогрессивная в стране. И ради того, чтобы еще раз встретиться с ее преподавателями, стоило выжить в условиях жестокой конкуренции, поступая иногда не совсем честно. Однажды власть имущий банкир заинтересовался, каким это образом у бойкой девушки, президента фирмы, давящей мух,

невероятно подскочили доходы, и совпало это с регистрацией рекламной фирмы "Тумбочка". Некоторое время ушло на наведение справок (источники неизвестны), неприятный разговор при закрытых дверях, и президент принесла документ, который гласил, что она заключает контракт с фирмой "Тумбочка" и обязуется выполнять посредническую деятельность, т.е. искать рекламодателей. Предыдущие дни она занималась этим нелегально, что запрещено законом.

А вот случай совершенно законный. Сопредиректора фирмы "Приятного аппетита" решили наконец облегчить себе жизнь и нанять рабочих, а самим руководить. Ведь очки все равно будут идти им, ссуда погашена, можно не скупиться и платить 100 долларов за работу. В этом случае удивляет другая ненажившаяся сторона. Но когда я рассказала эти эпизоды директору школы менеджеров Эльдарову Магомеду Чупановичу, он не удивился: "Семинар получился как модель взрослого общества, в котором все очень по-разному готовы к рыночной экономике: одни видят себя в честном предпринимательстве, другие ищут возможности нажиться всеми правдами и неправдами в основном за счет третьих, привыкших работать по старинке, по указке. А дети это очень быстро усваивают. Поэтому у нас тут не 16-17-летние подростки, а ребята помладше. Учить, а не переучивать гораздо легче и эффективнее". Но

ДЕЛО В ТОМ,

что вкладывать деньги в детское образование у нас считается невыгодным, ведь оно окупается

через много лет. Поэтому у нас в стране начинает приживаться совершенно неестественная форма обучения менеджменту. Уже сформировавшиеся в наших условиях руководители посылаются за рубеж на 2-3 месяца, чтобы посмотреть, как там это делается. Но полученные там знания здесь, к сожалению, неприменимы. Гораздо полезнее было бы тратить валюту на преподавателей детского курса предпринимательства. И они привезут нечто более важное — отлаженную систему обучения.

Возможно, у многих ребят после моего рассказа появится желание проникнуть в тайны менеджмента. Но махачкалинская школа принимает пока желающих только из своего города. Порадовать можно только москвичей — скоро в столице будет открыт лицей для менеджеров, куда будут приниматься ребята, достигшие десяти лет и, конечно, выдержавшие вступительные экзамены. Преподаватели против повального обучения менеджменту. Считается, что только шесть процентов людей обладают для этого необходимыми данными и складом ума.

А пока на следующий семинар в Махачкалу поедут набравшие большее количество очков редактор журнала "10 x 10", банкир и непредставленный мной Максим Александров, редактор газеты "Рожица". В этом году они научились искусству "вовремя перестать думать, что ты думаешь". Задача на будущее лето — научиться мыслить сразу двумя полушариями. Это трудно, но они будущие менеджеры.

Оля ЛЯЛИНА

Нина ТИХОНОВА

Фото
Дмитрия ЛОВКОВСКОГО

ЭСТЕТ-УВЕРТЮРА

У театроведа рано или поздно возникает профессиональное заболевание: на приглашение посмотреть спектакль он вздрагивает, в глазах мечутся ужас и мольба – только не это! Критик слишком много видел, но радоваться искусству, даже если характер позволяет специалисту сохранить такую способность, поводы находились редко. А самоуверенные (или своекорыстные – в конце концов, чем инженер человеческих душ хуже инженера-



производственника, дирижирующего штамповкой бракованных деталей?) режиссеры и актеры не унимаются. И потенциальный рецензент, как пропащий наркоман, изменяет зарок забросить постылое и тащится в театр, просто в свободную минуту или купившись на зазывное название.

"Школа русского самозванства", группа Саши Тихого – звучит? Есть такое дело. И только уже в зале, заприметив на сцене кафедру и примостившийся рядом диапроектор, театровед с отвращением подозревает – сейчас, ве-

роятно, состоится лекция с иллюстрациями, а что особенно противно, с модной нынче публицистической истерией, мол, посмотрите – Распутин (Григорий) – проехали, гляньте – большевики – ой-ой, какие мы, артисты, смелые параллели проводим. К тому располагают и эпитафии в программке: "театр – нужен" (Луначарский), "театры – в гроб" (Ленин), этакий абсурдистский стих, составленный из каждой тринадцатой строки первой попавшейся "Вечерки", и печальное пророчество "русского Фрейда" –



В.В. Розанова – "новое здание с чертами ослиного в себе повалится в третьем-четвертом поколении".

Это, стало быть, сейчас оно валится. Так что, спрашивается, плясать на трупе? Театр, строго говоря, широким массам никогда не был нужен: голодным – некогда, сытым – лень. Попробовать выдать анатомический театр за реанимацию, подперчивая намеками на либидо? Ухватить последние гроши, играя панихиду и по искусству, и по жизни?

Критик ломается как раз на том, что все знает заранее. Группе Тихого достаточно чуть-чуть отступить от стереотипа, чтобы опередить в дебюте. Впрочем, какое же тут отступление: скрипочка фальшиво выводит похоронный марш и... "Люди, львы, орлы, куropyтки... словом, все жизни... совершив печальный круг, угасли". Чехов.

Действительно, был уже один такой самозванец – Константин Гаврилович Треплев. Он сочинил лихо авангардистскую по своим временам пьесу, которая другим персонажам чеховской комедии не понравилась. С тех пор множество режиссеров и искусствоведов бьется над проблемой: был ли Треплев непризнанным гением или жалким неудачником с претензиями? И вообще, зачем Чехов соригинальничал, назвав "Чайку" комедией, тогда как там все складывается весьма трагично? На вопросы второго типа мы понаторели отвечать еще в школе, свисока указывая великим их "оплошности". А вот первый вопрос...

В сущности, любой человек, отважившийся на поступок – сло-

весное или физическое деяние, – самозванец. Кто его приглашал, кто просил? Именно таким, расширенным осмыслением темы самозванства заинтересовал меня спектакль Тихого. Привлекло, что речь идет не о том, хорошо или плохо самозванство. Даже не о – быть или не быть, хотя и об этом тоже. Человек как бы вообще не может – не быть, когда смерть – самый действенный шаг. Но как быть?

Ну да... Что делать? Кто виноват? Погнали по знакомым кочкам, из личного пристрастия называя все это оригинальностью. Верно, с оригинальностью нынче напряженка. И самыми, позволю себе заметить, прямолинейно-тривиальными нередко оказываются авангардисты-альтернативщики, на литературу которых делает следующую ставку "Школа самозванства". Это – язык XX века, пенял мне Тихий. Но мы-то на пороге XXI. Ну разгулялись извечные изгои, поскандалили, наглубили, ткнули в глаза нашими же обломками, хохотнули. Но потрясали-то в основном несанкционированной формой, а по содержанию – те же тоска и растерянность, только высказанные зачастую площе, чем у классиков. По контрасту теперь хочется "высокого штиля" – умиротворения – хотя бы мелодрамки или детективчика, чего-нибудь нелукавозанимательного и поближе, пусть к выдуманной, но норме.

Группа Тихого, казалось бы, уступает стремлению от хэппенингов и перформансов обратно к психологическому театру. Из авангардизма артисты прихватывают запредельную иронию – вплоть до самого черного юмора.

В таком сочетании появление на сцене вслед за репликой – "Константин Гаврилович застрелился" – весьма натурального трупа воспринимается и как вполне современная утка, и как логичное развитие сюжета, куда более оправданное, чем мхатовская аллегория с дохлой чайкой.

Первым шагом "Школы самозванства" стала попытка по всем правилам обряда похоронить мощи нахального выскочки. Но что поделаешь, если покойник все время оживает.

Зачем? Чтобы эпатировать – это мы тоже по учебникам вызубрили. Мертвяк воскресает до обыденности вульгарно, мигнув подоспевшему к нему монаху – побалуемся? Тот не против. И под ресторанную музычку, на фоне – вот они, слайды – изобразительных примет всех времен и народов персонажи гарцуют в банных халатах, реагируя на мелькание исторических указателей лишь томными переменами позы.

Артисты могут поразвлечь и почти клоунскими трюками – махнуть молотком по пакету молока, чтобы зрители испугались брызг. Однако дальше по-цирковому обыгрывать не будут, ограничатся аскетичной графикой (художник – студент постановочного факультета МХАТ Вадим Жакевич), в данном случае, белым сливочным пятном на черном настиле подмостков.

В тон своим любимым авангардистам группа Тихого будто вовсе не заботится о присутствии при всех этих странных зрелищах зрителей. Напротив, актеры пытаются выпроваживать публику из зала, в течение часа объявляя два

антракта, впрочем, оба по четыре минуты, чтобы было ясно, что и это – шутка.

Второй "антракт" – чуть ли не самый показательный эпизод в спектакле. Артисты едят кашу. Едят и едят. Долго едят. И так, знаете, интересно на них смотреть. Потому что каждый – характер. Это – к психологическому театру, да и – вообще к театру, который все-таки начинается не с вешалки, а с актера. Либо он привлекает внимание, что бы ни делал, либо – неактер – малоинтересен всегда.

Поэтому возблагодарим Щукинское училище, увидевшее творческие задатки в Никите Лысенко и Жене Пименове. В главном герое (в первом составе) "Школы самозванства" – Коле Приме, который настолько светлый человек, что, в сущности, мог бы стать художником в любом деле, и актерское, надо предвидеть, озарит. Ребята только что закончили училище, но раскрыться, как бывает, помогла любительская студия. Ее инициатор – Саша Тихий – тоже выпускник Щукинки, недавно получивший режиссерский диплом, а раньше – актер Петрозаводского театра.

Одаренность группы компенсирует традиционные для занудных экспертов претензии к степени режиссерского новаторства. Театр едва ли не впервые в нашей стране последовательно обращается к концептуализму, нынче занятому игрой заведомо отработанных клише. Так, утверждают концептуалисты, проявляется замороченность современного человека. Однако в чем же тогда работа автора – механически отражать всю эту помойку?

И вот тут особенно пригождается – театр жив! – главное магическое свойство актера: "договаривать", одушевлять то, что таится между строк текста, тогда как читатель словесные ребусы расшифровывать не обязан. В прямом контакте – душа в душу – можно еще что-то добавить самобытного в нашем перегруженном информацией мире.

Не случайно современные писатели все чаще исполняют свои произведения сами. Здесь смысл не только в отпечатанных на бумаге строчках, сколько в авторс-

кой интонации. Восстановить, а значит оценить ее, сможет только тождественный автору читатель. Но люди-то, как назло, все разные. А без интерпретатора авангардистский текст очень часто в самом деле не имеет смысла.

Стало быть, авангардисты пишут идеальные сценарии? Да, только – на себя. Другим придется либо подражать внешнему имиджу автора, либо поплыть по течению авторской мысли – куда вынесет.

"Все вымерли, – заявляет вслед за Треплевым поэт Дмитрий Пригов, – Я, Я один остался, один одишешенек." Истинный самозванец, не вкопать его никак. Он и художник, и сам себе театр – полнотелый мир в собственном лице. Отчасти поэтому поэзию Пригова воспринимать легче. А еще потому, что та часть его творчества, откуда в основном черпает группа Тихого, близка частушкам. В них главное не упустить, подчеркнуть комический поворот и, конечно, в принципе принимать такой характер общения. Когда актеры им наслаждаются, получается здорово.

Другое дело прозаик Владимир Сорокин. Его рассказ "Возможности", использованный в "Школе самозванства", я уверена, вообще нечитабелен для нормального человека. Либо это – медицинская карта из психушки, либо – злостный выпендрей. Хотя, с другой стороны, эка невидаль – серая, скучная жизнь, где люди сходят с ума.

В исполнении Примы рассказ сочетает, как минимум, два плана. С точки зрения персонажа в истории подчеркивается трогательная грусть. Но здесь же –





упуская такой "пустячок", многим не удавалось сохранять прелесть авангардизма – присутствует образ автора, упивающегося жуткими звуками. Художник, он и есть художник – что возьмешь. Подставит натура вместо красок ведро с дерьмом, им будет расписывать полотна, впрочем, не исключено, немного кокетничая по поводу столь неординарного материала для творчества.

Группа Саши Тихого в этом отношении какая-то удивительно добропорядочная. Они считают честным пропагандировать малоизвестную у нас литературу, сейчас ставят "Пельмени" Сорокина. Доверчивость ребят к авангардизму оказывается на пользу авангардизму, в их преподнесении он человечнее и демократичнее, чем, может быть, на самом деле.

КОНТРАПУНКТ МАСС

В сущности, авангардизм всегда рассчитан на впечатлительность очень непосредственного зрителя. Эстеты быстро начинают скучать, хотя, при возможности личной выгоды, сочиняют дифирамбы, признаваясь только в кругу друзей, что дурят недалеких и стебуются над стебками и снобами. Поэтому взглянем в зал, где "Школу русского самозванства" смотрит абсолютно неподготовленная публика.

Они пришли на эротическое шоу, за "клубничкой". Впрочем, сотрудников Министерства культуры мне тоже удавалось заманивать на спектакль только обещанием яро порнографического зрелища.

Однако простые зрители, как

выяснилось, ходят и на порноэкс-позиции не посмотреть голые тела, а... что бы вы думали?.. поговорить! Отчасти потому терпеливо не покидают спектакль. Спросите – другого места для разговоров не нашлось? В том-то, вероятно, и дело, что – нет. А тут – явный повод. Глядишь, будет зацепка возмутиться. Не все же на митингах – о политике. Тут – за интимную жизнь.

Я представляю, что настоящее своеобразие началось бы, привези "Школу самозванства" с ее обнаженными сценами в морге, солеными словечками и нарочитым эстетством в обычное ПТУ. Наконец-то встретились бы персонажи крутых авангардистов со своими прототипами и, думаю, последние встречно выдали бы актерам недюжинный спектакль. А что, интереснее, чем чопорные залы. Возможно, кой-чему зрители научили бы артистов, если раньше не набили бы морду.

Пожалуй, народ как всегда мудр. В конце концов, голый король – это как раз для того, чтобы кто-то заметил. Дальше – обсудим. И взаимно обогатимся. И придем-таки к какой-то норме. Но для начала очень хочется поговорить, и группа Саши Тихого предоставляет такую возможность. Не исключено, студии когда-нибудь приспееет время "приодеть" своего героя, но уже ясно, что играют они короля-Искусство блистательно. На фестивале "Игры в Лефортове-89" "Школа русского самозванства" получила приз за лучшее решение актуальной современной темы. В 1990-м с такой оценкой согласились жюри все-союзных театральных фестивалей в Челябинске и Москве.

Андрей КОСЕНКИН

АНГЕЛЬСКИЙ ВОЗРАСТ, РУДИК, ИЛИ КИТАЙСКИЙ СМЕХ

ПОВЕСТЬ

Местность, где началась моя жизнь, называлась Среднерусской возвышенностью. И хотя никаких гор и даже холмов, сколько мы потом ни искали, рядом не оказалось, именно в нашей местности, славной грибными лесами, построили ГОХК (горно-обогатительный химический комбинат).

Когда я еще не родился, ГОХК только начали строить, но когда пошел в школу, трубы его уже вовсю заволакивали небо над местностью сизым, как вечернее небо, дымом. Грибы вымерли. Жители устроились на работу.

Мы занимали комнату в новом первом бараке. Барак переоборудовали под жилье из старой бани и н о в ы м звали, вероятно, в насмешку. Баню эту еще в начале века, в преддверии революционных событий, пытаясь задобрить эксплуатируемых, построил местный капиталист. "Самодур" — как нам потом объяснили в школе.

Наша комната считалась одной из лучших, так как располагалась в бывшем предбаннике. И многие из тех, что получили комнаты не в предбаннике, нам завидовали. Хотя завидовать было нечего: им, находившимся в более невыгодной во всех отношениях части барака, другое жилье дали раньше, чем нам, живущим в привилегированном предбаннике.

Но если говорить честно, лично я ничего плохого не видел в том, что единственные годы моего счастливого детства проходили в старой

капиталистической бане. Мне нравилась наша комната: в посиневшей стене — маленькое оконце, тесовые, пахнущие смолой стены перегородок, длинный казарменный коридор со стоптанными башмаками и грязной кирзой у дверей, с вечным смешанным запахом прошлой еды, керосина, мыльной пены и исхлестанных березовых веников... Собственно, если подходить к ней строго с анкетными рамками, моя жизнь началась вовсе не здесь, а несколько севернее — на бывшую родину отца переехали мы недавно, но именно в этом бараке я понял, что окончательно существую, и полюбил его как факт биографии.

Барачные пюды жили шумно, но меня, мелкого, никто специально не обижал. Раз только. Когда тетя Зина метнула жестяной таз (или, как их еще у нас называли, шайку) в соседку Таню. У Тани, насколько я теперь понимаю, были шашни с т. Зининым мужем, вернее, у т. Зинина мужа были шашни с соседкой Таней. А скорее всего и шашней-то никаких не было, одни лишь претензии — уж больно хороша была Таня.

Случилось все это днем, когда основное население барака работало. Я сидел в одном конце коридора, тетя Зина в другом, в засаде. А может, и не было у нее никакой засады, может быть, просто так получилось: цокала Таня по коридору своими первыми в нашем бараке шпильками, а тут тетя Зина из комнаты, с тазом. А увидела Таню (да еще высокую такую, красивую), и все в ней затряслось, ну уж, не знаю, как у них там бывает, — в общем:

— Сука, ты сука, сука позорная, — крикнула тетя Зина и, как дискбол с известной скульптуры древнегреческого искусства, метнула шайку в красивую Таню.

Плавной дугой пролетев через весь коридор с тревожным набатым гулом, шайка опустилась на мою голову, как кепка на палец. Что больше меня поразило — боль или звук, произведенный внезапным ударом, — не помню. Помню лишь: спустя некоторое время я очнулся в комнате Тани, на ее грешной кровати, и сама она, будто какая-нибудь кающаяся Магдалина, стояла передо мной на коленях.

Удар оказался недостаточно сильным, чтобы впоследствии отразиться на моем отношении к женщинам, но вполне ощутимым, чтобы тетя Зина и Таня, "повязанные одной кровью", почувствовали сестринское единение и простили друг друга.

И хотя после этого случайного инцидента я стал несколько заикаться, самое замечательное было в том, что именно благодаря удару шайки по голове теперь я мог почти во всякое время поскрестись в Танину дверь и побыть с ней наедине. Конечно, я ее не любил. И даже совсем не любил; даже той детской любовью, о которой придумывают школьные учительницы с неудавшейся личной жизнью. Да и в школу я еще не ходил. Однако мне нравилось бывать в ее комнате с чужим влажным и впастным запахом. Просто как другу.

Жизнь обитателей любых барачков предполагает одинаковое существование, но жизнь Тани, точнее, не сама жизнь, а время жизни — юное, вырвавшееся из общего порядка и еще не залапанное обыденными заботами, было иным, особенным, терпким, как запахи в ее комнате. Наверное, поэтому меня и тянуло к ней, в ее комнату с плесенью

по углам, ленивой, небранной постелью, пустыми бутылками под столом и торопливо расплюснутыми о дно щербатого блюда мужскими ночными окурками. Впрочем, все это взрослые домыслы, главной причиной, по которой я рад был даже женскому обществу, было обыкновенное пустынное одиночество: такая уж к этому лету сложилась в нашем бараке демографическая ситуация. Ну никого, равного мне по возрасту и уму, хоть сам с собой разговаривай... Вот я и пристрастился к красивой Тане. Но ненадолго.

Наша барачная уборная стояла на берегу пруда. Как всякое заведение такого рода, уборная была разделена на два независимых отделения дощатой перегородкой с выбитыми для удобства зрения сучками, дыры от которых в свою очередь были запломбированы плотно скрученными жгутами из газетной бумаги. Насколько позволяли условия полуказарменного существования, интимная жизнь оберегалась тщательно и угрюмо.

Написанные нетрезвой рукой символические знаки на дверях заведения расплылись от времени и непогоды, но никто их не подправлял. Да и нужды в том не было: жители знали твердо и безошибочно, на какой двери когда-то стояла соответственная их половому значению буква. Я же на этих расплывшихся пауков и вовсе не обращал внимания, интуитивно что ли, сразу и точно определив приличествующую мне дверь. И никогда не ошибался. Кроме одного дурацкого раза. Впрочем, может быть, этот раз и научил меня будущей осторожности: в дальнейшем я всегда выбирал исключительно ту дверь общественных учреждений, что вполне соответствовала моему роду и положению.

В тот же печальный раз по рассеянности или в крайней нужде я забрел в дамское отделение.

Трудно логически объяснить то, что случилось дальше. Но женщин, шипевших на мир, как керогазы на сбежавшее молоко, я уже и тогда понимал меньше, чем мужчин. Тем паче — данную женщину. Я ее и теперь не понимаю. Хотя, как выяснилось позднее, сама она была без греха — просто всего боялась. Но сильно. Так сильно, что ее потом даже лечили от напрасного страха в специальной лечебнице.

Со всегдашней морокой и праздничным нетерпением отстегнув перекрестные лямки и извлеки набухший стручок, я уж собрался сделать то, чего и собирался сделать, как сзади раздался торопливый хлопок отпущенной двери, а следом за ним — ужасный, пронзительный крик. Крик этот особенно поразил меня в самое сердце, потому что я понял: ни один уважающий себя мужчина и даже мальчик так кричать никогда не будет. И точно — кричала женщина.

Не знаю, чем уж так сильно поразил ее сикающий в женском сортире мальчик, но кричала она отчаянно. Думаю, тихая будка ни до, ни после уже никогда не слышала такого дикого крика.

Струя моя оборвалась, не достигши желаемого предела, и я не то чтобы понял, но всем телом почувствовал жгучий, неясный стыд. Как поливальный шланг без воды, стручок мой сник, обломился, а я все еще в известной позе замороженно смотрел на женщину. Так же внезапно,



как начала, женщина перестала кричать и, широко растопыбив руки, медленно пошла на меня. Расстояние было небольшим, и, конечно, она бы меня поймала, и тогда я уж и вовсе не знаю, чем бы все это кончилось, но здесь закричал я и, как был с приспущенными штанами, кинулся ей прямо в ноги...

Бежал я долго...

За спиной оборванными вожжами летели лямки моих штанов.

И в самом себе не было мне пощады.

В однообразной жизни барака всякое происшествие не уходило в беспамятство без всестороннего и тщательного анализа. Когда под вечер я вернулся домой, сидевшие на лавке соседки встретили меня шумно и весело, как мужчину:

— Ишь, делово-о-й!..

— Испугал бабу ... — барачная девушка просторечно назвала часть мужского тела, которой якобы пугаются женщины.

— Пугач какой!

— А сам убежал...

Той, что застучала меня, не было среди них, но будто бы и была, и все они казались мне на одно лицо.

— Да кто от нее не бегал-то, девки...

Но самое горькое было в том, что и друг мой, красивая Таня, сидевшая здесь же с семечками в подоле на широко расставленных точеных коленях, тоже смеялась:

— От меня бы не побежал небось...

— Ну, хватит, совсем мальчика запозорили, — вступилась за меня тетя Зина. — Иди давай, мать тебе там пряников наготовила.

Пряников, конечно, никаких не было. Да все пустяки.

Только вот к красивой Тане я теперь не мог приходить так запросто. Да и не запросто больше не приходил.

Кроме того, это досадное недоразумение заставило меня пересмотреть и некоторые другие жизненные позиции. Так, например, я наотрез (а бывал я там по малолетству в женские дни) отказался от посещения бани, где то, что якобы искал увидеть в сортире, еженедельно назойливо чернело перед глазами вполне открыто. Тем более росту я был еще невеликого.

Мое решение мать приняла болезненно, с ремнем в руках. Вообще наши отношения естественно повторяли отношение государства, в котором мы жили, к подданным, жившим в нем. Однако в тот раз я был стоек. И в конце концов в страхе перед "гнидами империализма", по выражению бабушки, а попросту вшами, однажды мать собрала мне белье, сунула в руку новенький, пореформенный гривенник и в мужской день одного отправила в баню.

Взамен отданной под жилье руководство ГОХКа выстроило новую баню. По утверждению старожилов, крепостью кранов и пара новая баня значительно уступала старой, что, кстати, давало мне дополнительные основания гордиться нашим бараком. Но если я когда-нибудь по-настоящему чем и гордился, так именно в тот день, когда, держа под мышкой сверток с банными причиндалами, солидной походкой шел по

главной улице ПГТ. Именно так — "поселок городского типа" стало зваться наше село с тех пор, как начали строить ГОХК. Красивые банты шнурков от ботинок аккуратно взлетали и опускались в легкую пыль дороги. Не то что собаки, даже дети не задевали меня, угадывая значительность цели, не говоря уж о взрослых.

Дело было утром — баня встретила раскрытыми дверцами пустых одежных шкафов. Длинный и лысый, как огурец, в черном халате и на босу ногу галошах банщик уважительно взял мой билет, накопил его, словно бабочку, на острый сталистый штырь и замечательно громко произнес:

— Пожалуйста, молодой человек, располагайтесь.

Польщенный, я быстро расположился.

Вход или выход в баню для меня и по сей день остался волнующим моментом обыденной жизни — будтоходишь не в баню, а в театральный зал перед третьим звонком: "партер уж полон, логи блещут", и нужно занять свое место.

В сумрачном, с крашенными окнами и вялыми лампами помывочном поближе к нежаркой еще парной жались несколько стариков с белыми дряблыми телами выработавшихся людей и Коля-дурафан с грязной веревкой под крест на жесткой, морщинистой шее, да у дальней стены зазывно плескались какие-то пацаны. Я мог бы остаться со стариками, как сталь закаляя волю, мог бы подсесть и к неразумному Коле, ходившему и зимой босиком, но это означало бы мой страх перед теми, у дальней стены, а мне хотелось быть свободным и сильным — зря что ли я один пришел в баню? И, прижимая таз к тощим бедрам, я прошел к сверстникам, впрочем, оставив между ними и собой независимое пространство.

А пацаны-то оказались пацанами с новой Гохровской слободы! О, Гохровская слобода! Новая легенда, слава, страх и позор нашей местности! Жестокость нравов, пролетарская сплоченность, презрение к жизни, впитанное с молоком вербованных матерей, делали гоховских пацанов самыми суровыми и безжалостными бойцами меж представителей различных географических положений нашего ПГТ. Думаю, понимай он истинную расстановку сил, связываться с ними не стал бы и Коля-дурафан, который вообще никого не боялся. А тут — я... Но отступать без повода было б слишком нелепо, в конце концов "не с военной пришел я к ним", и я посчитал за честь вымыться в их непосредственной близости.

А они меня как бы и вовсе не замечали, и скоро я уже без внутреннего трепета наливал свои посильные полшайки из одного с ними крана. Я уж совсем освоился и даже начал подумывать: а не предложить ли им свою свободную дружбу. Но им явно было не до меня, а потом я и сам настолько увлекся безнадзорной возможностью, опустив голову в таз, выпученными глазами разглядывать его перламутрово-серое дно, что, когда меня спросили:

— А ты че тут делаешь? — хотя и понял, что обращаются лично ко мне, не сразу нашелся с ответом.

В своем превосходстве они не чувствовали ни очевидной глупости

вопроса, ни собственной наготы; в снисходительной свободе их поз, в детской убогости неразвитых членов не было никакой психологической неуверенности. Будто засунув руки в несуществующие карманы фиктивных брюк, передо мной стоял сам Изюм, и его разбойно-дебильное лицо с общим и законченным выражением агрессии, вне строгой ее направленности, не обещало хорошего. (Кстати, когда сейчас в очередях, пивных или на страницах газет я встречаю подобные лица, то с благодарностью вспоминаю Изюма, научившего их отличать.)

— А ты че здесь делаешь, падла, я тебя спрашиваю? — Растягивая губы, как блатной, и обнажая смородиновые пропуски зубов, еще раз спросил он.

— Изюм, не трогай меня, — попросил я. — Я здесь моюсь.

Пацаны засмеялись, а Изюм неожиданно отскочил назад и растопырился, как та дама в сортире.

— Чи-и-и-и-во-о-й? — растягивая гласные, как мужики перед дракой, припадочно закричал он.

— Я моюсь.

— Как ты меня, сука, назвал? — И длинный, будто и не его и настоящей рукой, двинул меня по уху так, что голова моя, как отпущенная ветка оборванной черемухи, мотнулась и другим ухом зачерпнула воду в тазу. Товарищи одобрили, и сам Изюм, видимо, довольный ударом, качаясь передо мной на носках, засмеялся:

— Я, сука, тебе не Изюм, а Николай Иванович, понял? Не, ты понял? Я кивнул.

— Ну, ладно, мойся. Смори у меня... — неопределенно погрозил он и через черную, будто обугленную дыру цыкнул меткой с л ю н е й в мой таз.

Плевок застыл в моем море, как шхуна при штиле. На глаза мои пал туман. Пацаны уходили. И когда в этом стыдном слезном тумане я увидел их белые, жалкие и вихлястые (как никогда их не называли у нас в ПГТ) зады, совершенно для себя неожиданно я повторил артиллерийский маневр тети Зины. Выплеснув опоганенную изюмовой слюной воду, я метнул свою шайку им вслед. Но промахнулся. Взвихрив ветром прилизанные водой волосы, шайка с тупым звуком ударилась о близкую стену и с рассыпчатым каскадом хромого звона прокатилась по цементному полу.

В бане стало скучно и холодно. Я понял, как меня сейчас будут бить... Однако изюмова команда стояла недвижно.

— Ты че, парень? Ты че, психованный? Мы ж те ниче не сделали! Ты че, тазами-то? — Стоя на месте, Изюм изумленно широко разводил руками, как жабрами рыба: — Мы ж пошутили, сморим свой парень моется, ну че не пошутить-то, ты че?..

Кто-то поднял мой таз и с уважением поставил на бетонную лавку. Но не вблизи.

— Ты че, парень, свои ребята... Я те говорю: ты че, моешься, что ли? Ну и все, ну и мойся. А че тазами-то кидаться? Не, ну точно говорю, ты че?.. Сморим, свой пацан моется, ну я и решил: дай, думаю, подойду узнаю, че он, моется, что ли? А ты тазами — не, ну ты дал!.. Здорово. —

И он протянул мне руку.

— Здравствуй, — ответил я, удивляясь этому внезапному обороту.

— Ты че, тоже мыться?

— Да, — я уже ничего не понимал.

— Ну и мойся, а то че так, тазами в своих ребят? Ты ж не Коля-дурафан в натуре. Нормально. Ты, вообще, пацан, если кто че, прям сразу говори: Изюма знаешь? И все, меня все знают. Я — Изюм, понял? Не, ну ты понял?

— Понял.

Он обернулся к своим.

— Не, нормальный чувак, чуваки. Тазами только кидается, а так, ништак... Вот так вот. Ты мойся, брат, че ты? Все путем.

— Спасибо, — неожиданно сказал я.

— Да ладно, че там, фигня, — благодарности, тем более неизвестно за что, Изюм не стерпел, а потому, как показалось мне, покраснел и по-взрослому смущенно добавил: — Из спасибо шубы не сошьешь...

Он уже не был мне отвратителен, как минуту назад. Да что отвратителен! Убедительная легкость его слов, неопровержимость и доказательность доводов делали меня по отношению к нему и его ребятам человеком угрюмым, неуживчивым, странным. Ну, правда, пошутили, чего тазами-то кидаться? Такие пацаны, такие... Изюм — брат мой!

— Ну, давай петруху, — он опять протянул руку, и мы еще раз скрепили знакомство крепким пожатием. — Ты теперь мойся всегда без б, я тебе говорю... Ну, покеда, мы-то готовы. Ща сполоснемся токо, и все...

Как по команде, все подались к своим шайкам действительно ополаскиваться и скоро ушли. А я остался, храня состояние по делу отмеченного человека.

Первые обидные действия Изюма сейчас представлялись мне почти естественными и даже за удар по уху я вовсе не держал зла — что ж поделаешь, если этого требует этикет. Правда, его плевков до сих пор вызывал некоторое чувство, но о плевке я старался не вспоминать — чего не случается меж друзьями. Главное было в другом: наконец-то у меня появились настоящие, замечательные товарищи и не где-нибудь, а на Гохровской слободе, о! Что мне теперь детское пускание пузырей в обезлюдевшей бане, когда друзья мои через минуту покинут ее пределы и спаянной, ловкой ватагой, словно какие-нибудь тимуровцы, пойдут по улице ПГТ в поисках приключений, но без меня! И никто не увидит и никому потом не докажешь, что и я мог бы быть с ними, что это мои друзья и сам Изюм мне не враг!..

Если б можно было вернуться домой недомытым, я бы вернулся, но недомытым возвращаться было нельзя. И с классическим чувством победившего долга, крепко, как зубы, сжав веки, скользким, холодным мылом принялся мылить голову.

До сих пор процесс намыливания головы действует на меня странным чудесным образом, когда перед умственными глазами проходят самые неожиданные, сиюминутно несвязанные ни с какой реальной действительностью картины и мысли. Я и сейчас могу увидеть себя

золотодобытчиком, фараоном, охотником на сафари, членом партии и правительства, любимым какой-нибудь известной актрисы, вспомнить, чего никогда со мной не было, и даже могу подумать такое, что если бы рядом оказался психический врач, сумевший взглянуть в мои мысли за мытьем головы, как благонадежный и порядочный человек, он должен был вызвать "скорую помощь" или хотя бы милиционера. Можно, наверное, подобные аномальные явления моей в целом здоровой психики объяснить гипнотическими манипуляциями собственных могущих рук, но лучше вообще ничего не объяснять, тем более что во все остальное время жизни мне не приходится в голову ничего замечательного. Я реалист.

Все это я говорю лишь для того, чтобы объяснить, почему же тогда в пустой и тихой, словно колодец, бане я ничего не услышал. Но думал я о чем-то очень хорошем, иначе боль, кипятком полоснувшая по рукам и лицу, не вызвала бы такого крика и шока. А что шок был — это точно, так как закричал я не сразу.

А получилось все так. Пока я проваливался в нирвану, кто-то подменил мой таз с умеренно теплой водой другим — с кипятком. И когда, так часто бывает в детстве, неожиданно резко защипало глаза, я бультыхнул лицо в чужую, жгучую воду...

В общем-то, это была обычная изюмова шутка. Правда, для чистой шутки вода в тазу оказалась слишком горячей. Может быть, в спешке он просто не рассчитал?

Ясное дело, придя в себя, я закричал. Причем, по-видимому, настолько не по-людски, что крик мой вернул к жизни и Колю, обычно наблюдавшего за любыми ее проявлениями с презрением и равнодушием.

Открыв глаза, я увидел грязную мокрую веревку в бахромке с позеленевшим древним крестом, низко свисавшим с опущенной шеи, мерно и нежно в качании касавшимся моей кожи. Освежая руку холодной водой, жесткой ладонью Коля-дурафан гладил мои щеки и лоб. И эти короткие шершавые прикосновения были спасительны и желанны, как утоление жажды. При этом он свистящим образом втягивал воздух, как бы определяя этим звуком степень моей боли и его страдания к ней.

— С-с-с-с-с-с... — говорил он, прикладывая лечебную руку.

— С-с-с-с-с-с... — снова говорил он, и крест от движения, но будто от воздуха, идущего по жилистой шее, мелко дрожал на веревке.

— С-с-с-с-с-с... — говорил он, и мне уже было спокойно, словно участвовал во мне не он, чужой деревенский придурок, а кто-то, может быть, самый близкий.

И только хотелось плакать, но уже не от боли, а от другого, жгучего где-то внутри, и спрашивать, спрашивать: чего же это такое?

Но я знал: Коля мне не ответит.

Между прочим, Коля, как пришел из тюрьмы, говорили старухи, стал почти что святым и дал слово, по-другому — обет: никому и ничего больше не говорить. И не говорил. Правда, некоторые утверждали, что язык ему отрезали в тюрьме. Но это неправда, язык у него был целый,

я видел. И иногда, обернувшись к гоховским трубам, воздев кулаки, он мычал прямо в небо что-то отчаянное; но в мычании не было слов, и мало кто понимал, что его мучило...

Коля и голову мне сполоснул, и в предбанник отвел, и даже помог одеться, не подпуская других стариков. Да и интерес ко мне после того, как я перестал орать, стих. Только банщик, похожий на огурец, то ли правда горя, то ли от скуки службы, стоял с нами рядом:

— Вот ведь, отвоевались, отсиделись, а все звереем, звереем чего-то, Коля, когда конец? Чего с нами дальше-то будет? А?..

Но Коля не отвечал. Как будто и в самом деле знал, что с нами будет дальше...

За испорченную кожу лица мать меня неожиданно пороть не стала, а только сама заплакала. И мне ее было жалко. Я даже в душе почти согласился опять ходить с нею в баню, но она об этом больше не вспоминала.

Взамен старой кожи выросла новая.

Коля-дурафан при встрече смотрел на меня обыкновенно, не отличал.

Зато банщик, звали его дядя Паша, в банный день непременно жал, как взрослому, руку, расспрашивал про жизнь и вообще помогал советом. Пока сам не умер, царство ему небесное.

И вот, когда мое одиночество приобрело окончательные и завершённые формы, и появился Рудик. Как благодать.

Если мальчик рыжий, можно написать: мальчик был рыжий. Если уши на стриженной голове торчат так заманчиво, что редкий человек, проходя мимо, удержится щелкнуть по ним пальцами, приговаривая: "Ну и лапти!" или: "Вот так локаторы!", смело можно написать: мальчик был лопоух. Если же мальчик страдает насморком, можно найти слова и для носа, независимо от того, мал он или велик. И про глаза что-нибудь написать нетрудно, например, что глаза у мальчика были свинцово-серыми, в длинных пушистых ресницах, в паутине которых то и дело путались всякие мошки и прочая дрянь и которые так тяжело было разлеплять после сна. Легко добавить, что глаза мальчика не по-детски грустили, будто смотрел он не на мир в его разнообразном веселье, а куда-то еще, и видел там такое, что ему нельзя было не грустить. Да мало ли что можно написать в самом деле! Только все это будет неправдой. Потому что невозможно, вопреки времени и природе, остановить движение плывущих линий мальчицкого лица. Его лицо — отгадка целой будущей жизни. И даже самым большим художникам не удавалось написать лицо ребенка, как хотелось. Ну, девочек, правда, еще куда ни шло, а мальчиков нет — так, херувимы и ангелочки с глазами конченных стариков. Встречаются, впрочем, и неплохие портреты, прямо скажем, удачные, но, глядя на них, невольно думаешь не о будущей жизни, а о близкой смерти портретируемого лица.

И я, разумеется, не возьмусь описывать Рудика. Тем более, был он — вылитый я. И даже заикался совершенно со мной одинаково,

будто и там, откуда он появился, также существовали глупая ревность и летающие по баракам тазы.

А в общем — самый обыкновенный мальчик. Только что Рудик. Я и сам не могу понять: отчего его звали Рудиком? То ли оттого, что однажды на лето к нам и правда приезжал странный мальчик по фамилии Рудин, хотя звали его Константин, то ли оттого, что мальчика с таким странным именем представить жителям нашего ПГТ было просто невыносимо.

Хотя чего не сделаешь, когда хочется.

— Здравствуй, — сказал он мне. — Хочешь со мной дружить?

Конечно, я не сразу поверил в искренность предложения, хотя и ответил:

— Хочу.

— Рудольф, — протянул он по-взрослому открытую руку, — Рудик.

— Гыга, — смешался я от протянутой руки и от счастья.

А звали меня тогда именно так — Гыга. Впрочем, меня и сейчас так зовут, то есть Игорь.

— Ну, вот и отлично, Игорь. Мне давно не хватало друга.

Сказал он несколько книжно, но без насмешки.

И потекло наше лето.

Легко и безбольно цветочным прахом осыпалась высохшая кровь сгинувших во веки врагов на бесконечных бранных полях отечественной истории.

За околицей ПГТ под ветром славянских мечей пожилась дикая травяная азиатская конница; трещали чванливые ветви крестоносных акаций; податливые западным ветрам поляки неслись на нас шелковыми кукурузными гривами новоцарской культуры; французские лопухи падали среди знойного луга рядом с окаменевшими от мороза вздутыми тушами бедных своих коней; и белогвардейцы — белой, далекой рощей, с песней в груди (тоже ведь русские, а песен мы еще не делили), стройно и обреченно шагали на красные пулеметы:

"Пощады никто-о не желает..."

Да их бы никто и не пощадил. (В школу мы еще не ходили, но были уже политически грамотны.) Хотя с остальными, более внешними врагами нам нравилось быть великодушными. Даже с немцами последней кровавой бойни. С ними, вообще, мы воевали, как бояре, спустя рукава — слишком уж они были тупы. Войны мы не застали и судили о ней по лихим кинофильмам.

Но все-таки война есть война. Случалось, и нас задевали шальные пули.

Только дети и тихие сумасшедшие владеют верой, возможностью перевоплощения и подлинным знанием. Хотя и не помнят о нем. И когда самый близкий мне сумасшедший в минуту просветлений и откровенности говорил о вечности бытия, я ему верил вот так же, как верил в то лето Рудiku или себе самому, упавшему на колкую скошенную траву с тусклым от смерти взглядом. Подтянув покрасивей коленку, нам нравилось умирать понарошку.

Правда, раза два я и по-настоящему умирал.

Никто, конечно, не умирает в начале сил среди белого дня, чтобы потом очнуться и жить столько лет, но главное — верить: многое тогда можно. А в школу я еще не ходил, и верить мне никто не мешал.

Однажды легко: лежал на земле, лежал, смотрел на светлые бредовые облака и вдруг догадался, что умираю. И умер. И вовсе не мучился смертью. А даже наоборот. Услышал, как мошки перестали меня бояться, и жизнь из земли потянулась как к своему, скребя колючими лапками. И ни о чем не жалел безгрешной душой...

И ожил нетрудно. Только ноги и грудь опалил. Как умирал, солнце било в глаза, а воскрес — уже закатно висело над ГОХром; и мать потом тревожно и щекотно натирала сгоревшую кожу постным студеным маслом.

В другой раз не так. Будто лежу я в лесу. А лес незнакомый, нехоженный, и деревья вокруг, как люди, ждут, когда я умру, перестану их видеть и только услышу, как зашумят они: ш-шшу, а это уж все. И ничего не исправишь; и страшно умирать, сделав все, что ты сделал, и так и не сделав того, что был должен. А главное — то обидно, что лишь теперь, умирая, и понимаешь, что должен был совершить. Именно совершить. И оказывается, даже перед смертью, вернее, перед ней-то особенно важно, чтобы сделал, несмотря ни на какие коврижки, что должен был сделать. А ты вот не сделал, не совершил. А просто-то как же все было, Господи! И никто не поверит, что только сейчас узнал, что же тебе предстояло, потому и не выполнил. И никто не простит. И только отец посмотрит не прощая, но не судя, захочет, но не сможет заплакать и горько уйдет сожалея. И это будет последнее расставанье...

А тогда меня Рудик спас. Пришел и говорит:

— Ты что, умираешь?

— Да, — говорю, — прощай.

А он сказал:

— Подожди, не умирай. Еще рано.

— Так я уже умер, — говорю, — не могу.

— Нет, — отвечает, — ничего. Это миг тебе такой дан. У меня сначала тоже так было. Потом прошло. Ты только запомни, запомни!

Тут я и ожил. Но еще больше расстроился:

— Не помню, Рудик, не помню...

И он посмотрел на меня сожалея, как минуту назад, еще в смерти смотрел отец: не прощая и не судя. Но не ушел.

Войны начинались и заканчивались.

Стояло лето.

Освобождаясь от последствий рахита, бездомные псы, рыская по голодным помойкам, запасались на долгую зиму сил, птицы пели, будто ни позади, ни впереди не было и не будет ни холодов, ни метелей, мужчины, черня солнцем плечи и выбритые шеи, ходили в майках, а у женщин кругами прел ситец под мышками — стояло лето. Пышное предшкольное лето.

Когда у отца что-то в жизни не ладилось, а не ладилось у него постоянно, он нарочно смеялся: "Человек рожден для счастья, как птица для полета". Мне нравилось это веселое выражение. Казалось, и сам я рожден, если уж не для счастья, то для чего-то очень хорошего. Как коммунизм. Тем более по окончании школы без коммунизма и надо было прожить-то всего десять лет, как подсчитали мы с Рудиком.

Согласно практике беспрекословной жизни мы верили: всеобщее равное счастье установится властью жестких, но справедливых правителей, подобных Леониду. Об этом спартанском царе нам из Плутарха пересказал отец. И мы пожалели, что нет его теперь, Леонида. На что отец, наверное, не столько нам, сколько себе ответил:

— Будет вам Леонид, — и плюнул на папиросу.

— Христос с тобой, — заметила бабушка, — хватит уж...

Конечно, мы ничего не поняли, но надежда осталась. А так как коммунизм был еще далеко, как достойный сын сумасшедшего времени, я решил все силы отдать его приближению. Рудик со мной не спорил. И однажды в мечтах о всемирном братстве мы покинули ПГТ, дабы, пробравшись в ближайшую страну какого-нибудь капитала, немедленно начать революционную пропаганду среди бесправных и угнетенных детских масс западной демократии. Но к двум часам попудни по доносу случайного попутчика, оказавшегося провокатором, в неблизком городе нас задержала отечественная милиция и под надзором с оказией отправила восвояси.

Долго порола мать несостоявшегося, слава тебе, Господи, Че Гевару, выбивая революционную дурь.

Рудик был рядом, и я молчал, будто спартанский мальчик с украденной писой под полою плаща, вспоровшей ему живот. Хотя, конечно, немного и плакал, но про мальчика думал, чтобы плакать поменьше.

Зато отец не судил, а только смеялся наутро:

— А, "юноши, обдумывающие жизнь", р-р-р-революсьенеры, Герцен, ядреная вошь, с Огаревым! Слышь, мать, — подмигивал бабушке Наталья Григорьевна, — Берии на них нету...

А нам хоть что: хоть Берия, хоть царский режим — мы гордились...

Отец — худой и черный, словно народоволец после тюрьмы, был из немногих, кто носил в нашем ПГТ шляпу (хотя не по чину), и единственный в моей жизни, кто носил ее хорошо.

Барачные женщины вздыхали о нем: "неудачник", а наша первая учительница однажды сказала, что "прошное у него темное..." Но в школе я еще не учился.

Теперь, я думаю, он был типичным представителем прекрасных неудачников, во всякие времена не оставлявших Россию своею бедностью. И долго не унывал. Может быть, для того лишь, чтоб я заранее не боялся жить.

А вот мама вызывала у меня сомнительного трепета чувства. Когда она, красивая и большая, как животное элитных кровей, неслышно появлялась за спинкой стула, мне хотелось (да и Рудiku тоже) тихо сползти под стол и отсидеться там, под столом. Наверное, с тех пор я

не могу полностью доверяться слишком красивым женщинам — я не понимаю их требовательности.

Однажды я и еще один мальчик праздновали день рождения хозяина. Умеренное веселье с крем-содой достигло своего апогея, и тут незнакомый со строгими порядками дома мальчик нечаянно пукнул. На беду зашедшая в комнату мама сразу почувствовала некоторый ароматический диссонанс.

— Кто пукнул? — спросила она, и, как прищепка на пустой бельевой веревке, в живой комнате повисла мертвая тишина.

— Кто пукнул, я спрашиваю? Ты, Рудольф? А ну, встань!

Кумачовый, как цвет надежд, Рудик послушно поднялся, и мама (бедная, любимая мама), нагнувшись, понюхала бесконтрольное место сына. Правда, выдержав такт, других она нюхать не стала, ограничившись общим замечанием и в честь дня рождения даже не поставив именинника в угол...

Стремительность и необратимость исторических преобразований, воровская поступь нового времени, устремленного в светлое будущее, делали прошлое сразу и навсегда чужим и далеким. Но Рудик хранил память о прошлом и точно знал, что когда-то у него были родственники. Он их п о м н и л.

Например, отец бабушки Натальи в нашем селе, когда оно еще не было ПГТ, заведовал церковью, за что, как говорили старухи, "и надел терновый венец, оставив в муках потомство". "Муки и венец" звучало, конечно, красиво, но слишком. Тем более, что более красивых, умных и веселых людей, чем бабушка и отец, я, откровенно говоря, редко видел.

Хотя отец до конца все-таки не выдержал стиля жизни. А попросту тихо сошел с ума. Зато бабушка не менялась уже до смерти, тем паче, что скоро и умерла.

Наталья Григорьевна была высока и крепка, с большим старорежимным лицом, каких теперь нет, на котором все было ясно завершено: и губы — так губы, и нос — так нос, и глаза — так глаза, спокойные и синие, словно небо без ветра. А над этими частностями — настоящий человеческий лоб и корона уложенных просто и одновременно величественно ни пегих, ни сивых, а натуральных седых волос. В темно-синем платье с белым воротником, что длинными крыльями опускался на высокую грудь, она и в самые будние будни выглядела, будто пришла на праздник.

Вот уж мне было странно, что и она сидела в тюрьме. Хотя по мне гораздо страшнее было не то, что сидела — среди нахлынувших с дальних пределов земли строителей ГОХКа мало, кто не сидел, а то, что была "поражена в правах". Я прямо так и видел, как ее "поражали..." Да и сейчас она жила на веранде своего бывшего дома.

И Рудик учил меня п о м н и т ь.

— Чтобы быть смелым — надо верить, чтобы верить — надо знать, а чтобы знать — надо помнить. Но чтобы помнить, нужно быть смелым, Игорь, — так говорил мне Рудик.

И я с ним соглашался.

В мечтах идиота, в военных и штатских забавах, в слушании учительных глав из Плутарха и романтических произведений А.М. Горького в исполнении бабушки шло наше лето.

А еще Рудик очень хотелось, чтобы и без него мне больше не было одиноко:

— Все равно без людей ты не обойдешься. Как говорит отец: "нельзя быть свободным..." И нужно идти к ним, к людям. Но с добром. Тогда и они станут добрыми.

Рудик верил: в каждом есть мера добра. Не то что в Изюме или сыне начальника нашего отделения милиции, но даже в каком-нибудь Выропае, совсем уж отпетом и напроочь отвергавшем Моральный кодекс строителя коммунизма, есть она, эта мера. Просто в скуке и мерзости удобнее быть плохим; привыкли жить не по воле... А по воле всякому хорошему быть лестно. И когда накатит что-нибудь этакое: песня, танец, любовь или боль, в такой вдруг печали признаются, что душу по самые легкие, младенческие волосики видно станет. Только редко...

И я с ним соглашался. К людям, однако же, не спешил. Мне хватало Рудика. С ним меня было двое. А это не так уж мало. А еще, догадываясь о нравах, больше всего я не за себя опасался — все одно привыкать, но за Рудика — слишком уж он был не з д е ш н и й для нашего ПГТ.

Как индейцы, мы уходили все дальше. Пока однажды не оказались в Еловой посадке, принадлежавшей гоховским пацанам. И там, вопреки любому здравому смыслу, выстроили шалаш.

Я, правда, предупреждал Рудика, что этого делать не нужно, но ему-то что? Он просто не понимал: почему Еловая посадка может быть только гоховской, а Вишневый сад — только поповским?

— Зря, что ли, революция уравнила в правах всех жителей вашего ПГТ?

— Революция революцией, — говорил я, — ты это не трогай, — но в посадку ходить отговаривал.

И все-таки именно там мы построили наш шалаш.

И под вечер первого дня в витых спиральях пыльного солнца, отдыхая, словно древние плотники от трудов, долго беседовали о том, как важно иметь в этом мире убежище, да хоть такой вот шалаш, где можно вспасть помечтать о том, чего никогда не будет.

Однако застройка чужой территории не могла пройти даром. И не прошла. Придя к шалашу наутро, по резкому свежему запаху человеческого детского кала мы сразу же обнаружили несколько мин, припорошенных прошлогодней листвой.

— Ну вот, — сказал я, торжествуя, потому что все-таки оказался прав, — надо сматывать удочки.

— Но это же малодушно, — воскликнул Рудик. — Это же з н а к, это же все равно, что "Иду на Вы..." Нам объявили войну? Ну, что же, так просто это им не пройдет. Негодяи!..

Но в этот момент раздался такой дикий вой, что на мгновение даже Рудик струхнул, и, наверное, потому мы замешкались и не успели встретить их грудь в грудь и глаза в глаза.

— У-у-у-у-у-у... Су-у-у-у-у-у-ки... — ревела посадка.



Погребая защитников под обломками, шалаш наш рухнул.

В военном отношении операция была выполнена прекрасно! Все работало на противника: и внезапность вероломного нападения, и превосходство сил, и определенность намерений.

Я тогда еще верил словам отца о том, что слабый, но правый должен победить сильного, но неправого. Слабыми были мы, а кто был больше не прав — и не сказать, — они ведь тоже защищали родную землю Гохровской слободы. И я отчетливо понял: этот бой мы отдадим за фу-фу.

С десяток цепких и крепких рук обхватили нас сзади и спереди, поволокли, повалили, прижали...

Будто не знал, с кем имеет дело, Рудик пытался протестовать:

— Что вы делаете? Что вы делаете? Так нельзя! Это же не по правилам! Вы же банда!..

— Слышь, Изюм, — сказал кто-то нехорошим угодливым голосом, — он тебя с Бандой сравнивает.

— Ха, — засмеялся Изюм, необретенный мой друг. — Банде до меня, — он повторил неприличную, но популярнейшую в наших местах народную присказку, неожиданно присовокупив: — как Титову до Галгарина.

И легонько, как футболист, устанавливающий мяч для штрафного, пнув в поддых, спросил:

— Ну ты че, в натуре, ниче не понял, что ль, а?

И неожиданно, как артист в кинофильме, закричал:

— А ну встать! Встать!

И мы тоже, как в кинофильме, будто какие-нибудь израненные большевики, с трудом поднялись с земли. И когда мы поднялись, Изюм спросил:

— Вам че, чуваки, места мало?

И сплюнул с пронзительным звуком первого дзыка козьего молока о днище пустого ведерка и просто потрясшей всех точностью. Плевков завис на задрожавшем под ним трепетном, юном листе березы, будто специально для этого случая затесавшейся среди елок, и только потом, как бы собравшись с силой, медленно скатился на голову пораженного Рудика.

Ослабленные веселым смехом изюмовы подручные не опасались нас. И напрасно. Они просто не знали Рудика. Да и сам я толком, видно, не знал его. Как только изюмов плевков гнусно и вязко слепил его волосы, Рудик бросился на плевалыщика, уже не думая ни о каких кинофильмах.

— Мерзавец, мерзавец, какой мерзавец! — повторял он изящное, однако неупотребляемое в нашей местности даже женщинами ругательство, и не кулаками, а открытыми ладонями толкал в грудь в свою очередь изумленного противника. Причем в силу действительного изумления и глубокой природной трусости Изюм отступал, даже не пытаясь обороняться, только приговаривая после каждого толчка:

— Че ты, че ты, ну, че ты...

Но когда отступать стало некуда, Изюм все же пришел в себя, и

тогда всем стало ясно, что этот парень еще ни разу не дрался.

Кстати, если б не Рудик, если б не этот Муций Сцевола моего детства, я, уже крещенный Изюмом в бане, непременно смотался бы, просто сбежал, и все. Или в конце концов обошелся бы малой кровью — вытер плевков, и хрен с ним. Но если б я так поступил, то и не было бы никакого Рудика.

А Изюм уложил уже князя Игоря, братьев Гракхов, Минина и Пожарского, декабристов, народовольцев, Огарева и Герцена, бил их в морду рублеными ударами, коротко вскидывая грязные кулаки... И тогда, уже не знаю как изловчившись, я схватил одну из опор разрушенного шалаша.

— Атас, Изюм! Психованный!

Не по возрасту отлично владея телом, Изюм одним махом взвился над дракой и приземлился не там, где должно по закону ньютонова яблока, а сразу же за соседней расщеперившейся ветками елкой. В такой позиции преимущество, данное мне оружием, не имело значения. Кроме того, открыв спину, я допустил непростимую тактическую ошибку. Хотя и понятную для первого опыта защиты человеческого достоинства.

Внезапно неизвестное тело ударило под колени, чьи-то руки за плечи опрокинули навзничь, и уже в следующий момент надо мною распятым снова стоял Изюм.

— Не, ну ты точно психованный. На ребят своих с колом?! С колом, сволочь, да, с колом? Бей лазутчиков!..

И эти неожиданные "лазутчики", откопанные в рухляди древней памяти, обидели меня больше, чем само битие, тем более били в меру и с уважением.

Нет, правда, били не в охотку, а так — для острастки. А напоследок чуть ли не извинились и только попросили: больше уж не ходить в их посадку. Все-таки чем-то мы заставили их смотреть на нас не просто как на бессильных придурков.

И ушли, "стуча сапогами". Хотя, разумеется, никаких сапог на них не было.

А потом уж и мы, очистив от вонькой грязи вражеских мин и прочего мусора леса одежды, потянулись к поселку. И Рудик, будто перед кем-то оправдываясь, все повторял:

— Я же не знал, что по лицу можно, что по лицу, я же, честно, не знал...

Конечно, это не такое уж большое событие, чтоб о нем помнить, да я б и не вспомнил, если бы в новый день, свирепо подмазанный йодом, Рудик неожиданно не сказал мне:

— Собирайся, товарищ!

— Есть, — как было заведено ответил я по-военному и собрался.

Оказывается, утром на веранде, служившей кухней, бабушка сказала отцу вроде бы просто так: что-де, мол, только наказывают за дело, а обижают всегда за так.

А отец сказал, что обиды нельзя прощать, иначе их накопится слишком много и тогда человек либо уж и вовсе на все обидится, либо

так и привыкнет терпеть любые обиды, не обижаясь, а это, сказал отец, не по-человечески...

Не знаю, о чем еще они говорили и что имели в виду, но Рудик эти слова почему-то принял на мой собственный счет и твердо решил мстить не мстить, но уж во всяком случае сегодня же, нынче, нарочно пойти в эту чертову Гохрову слободу. Как говорится: "пускай ты умер..."

Ничего другого я от него и не ждал. Хотя сам до этого, конечно бы, не додумался. Не то чтобы мне нравилось терпеть обиды или я уже и вовсе, как Коля-дурафан, перестал обижаться, но уже тогда я мыслил достаточно здраво, чтобы понять бесполезность каких-либо доказательств в споре с людьми, плюющими на всякие доказательства, если они сильнее и их больше. В общем, идти мне не хотелось, а попросту было страшно. Одно дело, когда тебя бьют внезапно, и уж совсем другое, когда ты сам специально идешь, чтобы тебя побили. Не каждый еще и пойдет. Да я бы и сам не пошел. Но ко второй половине дня, наговорив про братьев Гракхов, их матушку и вынуженное, на фиг, из груди сердце Данко, Рудик закалил мою волю, как кинжальную сталь...

От Поповки до Гохровой слободы было рукой подать: с насыпной песчаной дороги свернуть на многие лета убитую твердую тропку, по мосту перейти жалкий приток короткой речки Ердашки, и вот уже вам, пожалуйста, — Гохрова слобода, семь или восемь одинаково желтых двухэтажных домов, пропахших нищетой керогазов, да пара десятков разбросанных где попало сараев, архитектурными выражениями отражавших сложность судеб строителей.

Как всякая новая дорога, путь наш был долг. Сначала мирные и забавные, с серьезной, тупой прожорливостью пасшиеся на приколе козы по мере нашего приближения к конечному пункту становились все более хищными, и когда мы проходили мимо, стараясь не обращать на них никакого внимания, они замирали враждебно и подозрительно и долго провожали нас желтыми взглядами.

Томило.

— А что мы там не видели, Рудик?

— А мы еще ничего не видели, Игорь...

Малую надежду оставляло то, что на домашних допросах мы не выдали и начальных букв имен узурпаторов. Но напрасную. По странному мировосприятию Изюма наше молчание придавало ему только уверенности в правильности мер пресечения, избранных по отношению к нам. Однако мы шли и шли, хотя лично я давно б повернул назад.

Дома оказались обычнейшими домами, правда, во всем их порядке, в штукатурке, отскочившей тут же по закреплении и обнажившей перекрестье еще свежей дранки, прижимавшей клочья пакли, впрочем, от скуки выдранной уже кое-где до серого основания, было что-то непрочное, временное, понятное даже нам.

Возле сараев в пятнах зеленки, синьки и марганцовки сплоченно бродили стаи домашних птиц, распластанные жарой осторожные кошки косились на нас недобро, и даже самые мелкие дети, горстями глотавшие пыль, неохотно уступали нам путь и вслед смотрели нехо-

рошо. Ни взрослых, ни старух видно не было. (Это потом я понял: гоховские кочевые ребята вырастали не только без матерей, сильно занятых в работе, но и без бабок, растерянных по земле, и потому плохо знали, откуда они пришли.) Не было видно и никаких врагов, хотя от их явственного присутствия дрожал воздух, менялась природа и в животе делалось холодно и тревожно.

А Рудик все шел и шел. И наконец, за самым последним сараем с загоном для кур из колючей проволоки мы увидели их.

Мы увидели их... И тех, кто вчера был в посадке, и других, кого вчера не было, — цвет гоховской пацанвы. Но и среди них, судя по тому, что суетился он в центре, Изюм был в авторитете.

Спиной к нам плотной толпой они стояли вокруг прозрачного в свете солнца костра:

— Ну, давай, Изюм, хоре его за хвост тянуть... — Сказал Чира, строгий, сутулый пацан со старческими губами, даже в улыбке плывущими вниз. Чира — американский парнишка, говорили про него. Американский парнишка Чира.

— Ну...

— Щас, — засипел Изюм и откуда-то из глубины оттопыренной пазухи вынул за шкурку котяру, молча глядевшего в испуганные глаза.

— Пригрелся, падла, балдеешь? — спросил Изюм у кота, и все засмеялись.

— Хоре базлать, пацаны, — сказал суровый, сповно индейский вождь Чира и, как мешок, подставил старый духовой шкаф с защелкой на дверце. Духовку, как их называли у нас в ПГТ. Духовка работала от электричества и пекла пироги. Однако эта духовка уже ни на что не годилась, кроме как засунуть в нее кота. Изюм и опустил его на дно ящика. Но крышку закрыть не успел. Изловчившись, царапнув по железу когтями, кот взвился над толпой и, если б был птицей, наверняка улетел. Но сила притяжения неодолимо опустила его на землю, и уже здесь, на земле, сразу десяток проворных рук схватили его за разные места тела с победным красноармейским криком:

— Врешь, не уйдешь!

— Москва — Воронеж... — Значительно произнес Изюм, снова одной рукой держа кота за шкурку, а другой, в кулаке, помахивая перед его зажмуренной мордой.

В той суматохе нас, конечно, и засекли.

— Лазутчики!

И Изюм прямо с котом в руках так и пошел на нас, по-блатному гнусаво и долго растягивая гласные:

— Не, ну-у вы че, во-а-алки, в на-а-туре, а? Не, я не по-о-нял, ва-ам че не ясно, а?

— Да ладно те, на фиг, — остановил его Чира, — пусть пацаны посмотрят. Потом разберемся. Сувай кота-то...

Он так и стоял с раскрытым шкафом в руках и явно устал. Уже тогда было видно, как трудно преодолевает Чира случайно выпавшую на его голову необходимость жить.

— Да я ниче, пусть смотрят, ладно! Они ребята ништяк, я им ниче

по натуре, — Изюм неожиданно дружески подмигнул нам и отвлекся к коту:

— Я ж те сказал, падла: Москва — Воронеж...

И уже мордой вперед, обламывая раскинутые котовые лапы, с силой толкнул его в ящик и ловко захлопнул дверцу.

— Смерть вредителю! — Торжественно сказал он и захохотал.

— Кончай, кончай паскуду! — Истерически, как взрослый, затрясся Чира, однако, не бросил, а осторожно, двумя руками, будто кастрюлю, поставил ящик с котом на огонь. И вместе с дымом и искрами, выдохнутыми потревоженным костром, в небо унесся ликующий крик:

— Уа-а-а-а-а-а-а...

— Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы?..

У Рудика даже глаза побелели, как у сваренной рыбы, и только рот, только губы были такие внезапно алые, словно у модницы подкладка пальто, неожиданно мелькнувшая в ходе улицы.

И все повернулись к нам, но смотрели на нас спокойно, без интереса, не как на помеху, а как из окна, будто мы мимо шли. Но здесь заверещал кот. Именно что не замыкал, не закричал, а просто заверещал, как больно раненный человек. И все повернулись опять к костру. И тогда стало слышно, как глухо забился он телом о железные стенки ящика. Сгоревшее дерево подломилось, ящик шатнулся, наклонился и, перевернувшись, выкатился из огня.

— О-о-о-о-о-о-о!.. — заревели вокруг без смысла и слов, в одном восторге от чужой боли.

— Палку мне, палку! — кричал Изюм, подталкивая к огню сбитым до белизны носком ботинка несгораемый шкаф, в котором без прерыва, на одной запредельно-высокой ноте визжал сжигаемый кот.

Изюму подали палку, и он затолкал ящик в разворошенный костер, на самые угли. И сразу же дым, запах жженой, или, вернее, паленой шерсти.

И тут Рудик, мне показалось, одним прыжком через расстояние и тела перелетел к костру и голой ногой — бабушка научила его ходить босиком, чтобы он слышал землю, выбил духовой шкаф из костра. Кот внутри ухнул, поперхнувшись собственным визгом, и будто с понятием набираясь сил для новых мук, на мгновение затих и вдруг завыл уробно, непохоже, прощально.

— Ты че исделал, гадина, ты че исделал?

— Я же говорил, я же говорил: суки они, Чира, лазутчики!

— Ты че исделал, гадина? Он че, твой что ли? — и, сгорбившись еще больше, вплотную подошел к Рудику.

— Психованный! Держи Психованного! — орал Изюм, хотя я и не собирался бежать. Хоть и мог. Только опять этот Рудик, со всей своей славой древних веков, не позволил мне этого.

— Сюда его!

Меня подвели к костру, и кто-то для смеха подобранным обкусанным, гниловатым на вид и склизким на ощупь яблоком заехал мне в глаз.

— Да он же, падла, голубя съел! Монаха, ты понял? Да он же всех сожрет, сволочь!..

Рудик молчал.

И тогда сказал я:

— А может, не он это?

— А кто же, я, что ль?

— Отпустите.

— Молчи уж, дурак, сука, — Чира замахнулся, но не ударил, а только грустно махнул рукой, — испортил такую казнь... Хрен с ними, давай, Изюм.

— Отпустите, — снова сказал я про кота, но Чира не понял:

— Отпустим. Гада кончим и отпустим, не бойсь.

Но здесь кто-то и из пацанов сказал:

— Слышь, Чира, а может, просто повесим, на фиг. Живой же все-таки.

— А монах дохлый был что ли, дохлый? — Чира брызгал слюной и стучал себя в грудь, как старый преданный вождь в обиде измены.

— Ну утопим хотя бы...

— Ладно уж, хрена он там живой, — примирительно усмехнулся Изюм, цыкнув зашипевшей слюной в костер, и кто-то из окружения хихикнул.

— Нет уж, решили сжечь, значаща сжечь, — так же внезапно, как завелся, вовсе неожиданно равнодушно закончил Чира. — Давай, Изюм...

Ногами и палками они опять затолкали ящик на угли.

И кот опять заорал. И долго еще орал и бился в жаркие стены, хотя уже жирно, будто на кухне, запахло мясом...

А потом и нас отпустили. Только сказали, чтобы на Гохре нас, козлов, больше не видели...

Кстати сказать, Изюм так никем и не стал в своей жизни. Классу к шестому он как бы окончательно сформировался, остановился в росте и прекратил развитие. Модный интерес к его метким плевкам по всякому поводу прошел, а ничего другого за душой у Изюма не было. Он и потом, как ни рыпался, не отличился ничем: ни в тюрьму не попал, ни на мотоцикле не разбился. Да и не было у него мотоцикла-то...

А вот Чира, американский парнишка, сел. По-своему он и тогда уже был значительной личностью, и, конечно, потом, при его своеобразном и болезненном понимании справедливости, трудно ему было не сесть. Он и сел.

Но если бы лето продолжилось дальше, вопреки законам природы, и мне не пришлось идти в школу, думаю, Рудик снова потащил меня в Гохрову слободу. И я бы снова пошел.

А пока нас одолела настоящая человеческая тоска.

Только совсем уж тупой и беспамятный взрослый может посмеяться над детской тоской. Детская — она коротка, но мучительна. Коротка потому, что долго тосковать просто сил не хватает, а уж как мучительна — всякий помнит. А если не помнит, то и не объяснить; оттого и мучительна, что не объяснить. Да и не поверит никто.

— Иди побегай...

Но если маленький человек молча смотрит в окно и не идет на улицу и на все вопросы только и может ответить: так, скучно, — сердце его, пусть самое бойкое, полно такой пустотой и печалью, что впору расплакаться и оттого, что муху на стекле, ну, никак не зажать, и она все жужжит, жужжит...

В эти дни сидели мы дома тихо, как усталые взрослые, уныло шевелили страницы знакомых книг, и бабушка не вмешивалась в наше молчание.

А то на веранде, заменявшей светлую горницу, пили чай, стараясь не хлопнуть блюдцем и не капнуть вареньем на скатерть. Правда, хлоппали все равно и капали.

— Вы капайте, капайте, молодые люди, на то она и скатерть, чтоб капать.

Но капать совсем не хотелось. Однако предательские капли варенья из вишен, случалось, срывались с неопытной ложки, и было стыдно и любопытно смотреть, как, расплываясь, они сжирают льняное снежное полотно. Скоро челночный путь ложек над столом был ясен и тверд, как курс самолета, обозначенный кровавыми каплями бесконечных потерь.

Тоска. Пусть даже и с Рудиком. Да ему и самому-то, видно, стало не по себе у нас...

Но день пришел, и нам надоело обсасывать горькое, как вишневые косточки, одиночество.

— Ну и правильно, — сказала бабушка, — хватит! Разве мыслимо так по коту страдать? Мало ли, что еще будет?..

— Да не по коту мы, не по коту!

— Ну и ладно. Жить-то с людьми, от них никуда не денешься. Да они не такие и страшные, как привыкнешь.

— Да мы и не боимся никого, бабушка.

— А и не надо бояться.

— Только зачем они так-то?

— Не знаю. Но это они ведь не сами.

— А кто же?

— Не знаю. Кто их водит.

— А кто их водит?

— Не знаю. Кого кто.

— А кто меня?

— Не знаю. Наверное, Рудик твой.

В Рудика бабушка верила.

— А что с нами дальше будет?

— Не знаю. Только за человеком должна любовь быть.

— Любовь?

— Добро значит по-человечески. Тогда и будет все хорошо. Даже если будет и плохо.

— (...?)

И, спустившись с веранды, мы вышли за ограду обрезанной до предела усадьбы и встали перед чащей Вишневого сада...

Вишневый сад!

Наш сосед, всегда достаточно выпивший дядя Вова, так говорил своей дочери Катьке, девушке-переростку, к замужеству ненажившей груди:

— О, ступай, ступай, дура, в Вишневый сад, там пацаны титьки-то тебе оттянут...

— Дурак! — отвечала Катька, сердилась, краснела рыжим лицом, но в сад не шла. И напрасно.

Вишневый сад — ступень развития, всходя на которую многое виделось по-иному. Именно там определялось отношение к конкретной действительности, так не похожей на неконкретную.

Вишневый сад аз-буки-веди и музыкальной грамоты.

Ложь, скука, пошлость и лень.

Баррэ шестиструнной гитары: в невидимой тьме фальшивые и чистые голоса и, будто инопланетные позывные чужой и далекой веры, едва уловимые в шуме и треске помех запретные песни всемирных кумиров.

— Эту песню, чуваки, в натуре написал Ринга Стар, когда у него умерла жена. Она называется "О, моя дорогая": ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, О-уо-о-у...

И стыдливые признания в любви. И бесстыдные разговоры об откровенном, когда взрослые парни делятся с нами пикантнейшими подробностями отношений с особами из желтого дома.

Ах, эти бедные проститутки нашего детства! Именно так — проститутками (более унизительно и ругательно, чем могли) их называли у нас в ПГТ. Желтый дом — первое женское общежитие, где собранные со всего света девушки по договору за средний заработок малоквалифицированных специалистов бескорыстно удовлетворяли гиперсексуальные потребности населения. Если, конечно, не считать за корысть мечты о замужестве, в реальности воплощавшиеся крайне редко. Поэтому состав жилищ желтого дома постоянно менялся: научившись выпивать не закусывая, без жалости они покидали внезапную родину своих внезапных детей, так и не дождавшись ни обещанных благ, ни замужества, ни прощения.

О, эти уроки нравственности в темной школе Вишневого сада!..

А первая затычка скраденным у отца "Прибоем", после которой твердо решаешь: вырасту, лучше уж буду пить по праздникам, чем курить.

А первый стакан какой-нибудь особенно фиолетовой гадости типа незабвенного "солнцедара", плеснувшего по стране ядовитыми брызгами в годы моего безмятежного возмужания?

Вишневый сад — сад греха и познаний.

Вишневый сад — от октябратской звездочки, греющей невидимыми лучами самое сердце, до билета члена ВЛКСМ, наколотого собственной слепой фотографией на обломанный сук...

Вишневый сад — всеобщая принадлежность, общедоступная забе-

галовка... И по весне бесплодное, сумасшедшее, бешеное цветение напрасно оживших резаных, ломаных веток. Вишен сад не родил.

Вишневый сад...

После последнего указа о борьбе с пьянством, вероятно, оттого, что виноградников в нашей местности не оказалось, вырубili под корень Вишневый сад. Но на его месте ничего не построили. И пить приходится на ветру.

А пока, будто и правда дети из доброй сказки, мы стояли перед чашей его открытий.

Но только мы заступили черту, что всегда лежит перед нами, отделяя прошлое от настоящего, а настоящее, конечно, от будущего, тут же раздался крик:

— Стой, кто идет? Руки вверх!

— Ха! — встретили они нас.

— Здравствуйте, — сказал Рудик и книжно добавил: — Мир вам!

Но рук не поднял. Он не хотел сразу и заведомо быть врагом. Потому что теперь нас окружали свои ребята — Поповка. Исстари Поповка гордилась своими умами. Здесь, вокруг церкви, жили люди тверезые, селились и учителя, так как и школа раньше находилась при церкви, а не вместо нее. Одним словом, в давние времена Поповка слыла культурнейшим центром, в нынешнем ПГТ сместившимся к магазинам, клубу и киоску Союзпечати (непрерывно переворачиваемому при всякой серьезной драке).

— Здорово, коли не шутишь, — сильно в нос ответил Виктор по кличке Банда, прозванный так за неведомые грехи еще в колыбели.

Моряцкой походкой он подошел к нам и также непробиваемо по-французски спросил:

— Это тебе Изюм вагон и маненьку тележку дал, да?

(Передать испорченное насморком и отсутствием зубов бандино произношение в его истинном звучании нельзя, а писать согласно грамматике в данном случае просто кощунство. Поэтому, по мере возможности, я оставлю в его речи хоть немногие свойственные ей звуки.)

— Еще кто кому неизвестно, — обиделся я, хотя всем и все было уже известно.

— Да, ладно, это я так, для смеху, бдат. — И, подтянув повыше тяжелые сопли, протянул открытую руку.

А потом уж и остальные по-взрослому жали нам руки, и все говорили хорошее, необидное; и иронический Аркадич, и нежный Фигс, и резкий Трумэн, и простодушный Банда...

Господи, свершилось! Мы стали нужны им, пюдям!

— Слышь, а ты откудова к нам приехал?

Я сказал.

— Во, а говорили из Москвы, из Москвы, ма-а-а-аскви-и-ич...

— Я был в Москве. Один раз.

— Как Коля-дурафан, — садами-огородами?

— Проездом.

— Ну, был... — скривился Аркадич, — мало ли...

— Да иб что Босква, — сказал Банда и выругался по-матерному.

— Нет, Витич, — именно так поповские ребята произносили окончания имен, — ты не прав. — Конечно же, Рудик не смог сдержаться: — Москва — есть Москва. Столица пяти морей нашей Родины.

— Родина — это там, где родился, подял? — неожиданно, как мотоцикл нашего начальника отделения милиции, завелся Банда: — Нет, ты подял?

Я-то понял, что и свои ребята тоже могут вполне навешать. Но страшно не было, только обидно и жалко. Но и Рудик не мог поступиться истиной.

— Москва — столица нашей Родины, Витич.

— Ну и что?

— Как, что — столица!

— Говорит Босква — хлеба нету ди куска, Босква, — пренебрежительнейше отнесся Банда. — Повтодяю! Родина — это там, где родился, подял? Я родился здесь, и, значит, столица моей родины — Поповка! Родина хоккея — Родина моя!.. — внезапно и без всякой мелодии пропел он и совсем уж "не в масть" добавил:

— Ну и Босква, коदेशно. Это я так, для смеху, бдат. — И даже будто бы извинился: — Город недавижу.

— Это ты зря, Витич, — опять не сдержался Рудик.

— Зря?! А окурчиком с грядки закусить не пользительно?

И Банда вроде бы снова подступил к Рудиду, но вдруг добро и вполне бессмысленно захохотал:

— В городе одни только ... — Банда снова выругался по-матерному, — а огурцов совсем нету.

— Че ты, Банда, говоришь? Че ты, Банда, говоришь? Что в городе огурцов, что ли, нет? — спросил мальчик по имени Мистер Фигс, разволновался и покраснел: — Нет, Банда, город — есть город, а ты дурак. И у нас лет через пять город будет.

— Не будет, не будет!

— Будет.

— Не будет, — уверенно, как пророк, сказал Витич. Подумал еще и протянул М.Фигсу руку: — На спор, не будет?

И они поспорили о будущем нашего ПГТ, положив в заклад головы.

Между прочим, прав оказался Банда: городом наш ПГТ не стал. Новейшие геологические исследования обнаружили в недрах скудность сырьевого запаса прежде, чем закончилось строительство ГОХКа. И голову свою Мистер Фигс потерял...

М.Фигс. Если бы я не вспоминал о Рудике, я бы непременно рассказал о тебе.

Прослушав по Всесоюзному радио оперетту с почти одноименным названием, он сразу запомнил ее наизусть и тут же, подобрав музыку на отцовской двухрядке, во всякое время (а отец будил его, как домашнюю гордость, и ночью) мог исполнить любую арию. Чаще всего просили, конечно, эту:

"Цветы роняют лепестки на песок..."

А классе в пятом на школьном баяне М. Фигс самостоятельно выучил сонату номер два композитора Людвига ван Бетховена ("Лунную"). И не только ее первую общедоступную часть, так называемое адажио состынуто, но и все остальные, включая престо аджитато. Господи, как же жалко, что в нашем ПГТ музыка играла лишь сопутствующую прощальную роль, да и то для чувств провожающих оскорбительно слабо.

А Фигсом его звали не в насмешку, а исключительно из уважения произношения. Он был не вполне поповским и только лето проводил у нас целиком, у бабки, не чаявшей в нем души. А родители Фигса работали железнодорожниками и жили километрах в пяти на ближайшей железной ветке, в спленном из шпал семейном бараке. И Фигс, разумеется, с ними жил.

Из этого барака в нашем классе учились еще два мальчика — и оба кончили как-то слишком уж одинаково. Кто как, конечно, но оба скверно. Один — за нож, другой — по глупости. Только сроки разные. Вероятно, долгое наблюдение чужого движения рождает комплекс собственной неподвижности. И тогда, как луна шизофреника, начинает манить и тревожить убегающий желтый свет купированных вагонов...

А первый Фигс.

Это уж когда выпивать начали. Обходчик застукал их в немойтой из-под спирта цистерне. Наудачу там иногда прилично набиралось в свою посуду. Но вовсе не из алкоголической потребности выпить, а так, из удали и прелести любого противоправного действия.

— Ну-ка, вылезай давай...

То ли опохмелиться совсем не терпелось, то ли сам по себе мужик такой оказался строгий, обходчик этот, кто знает? Случай...

Все вылезли, а Фигс нет. Может, испугался, а может, перехитрить хотел, мужика-то...

— Все?

— Bce.

— Ну, смотрите...

Чирк спичкой и в люк ее. В скопившиеся пары.

[illegible]

И нет Фигса.

Но это было уже позднее.

Как говорится: "в Петропавловске-Камчатском полночь"

А дальше тот день покатился, как и положено ему катиться в обретенной компании поздним дошкольным августом. И все было так хорошо, как бывает лишь в детстве...

И наутро мы проснулись еще более счастливыми, чем заснули. Так бывает. И сладко, и нежно болели мышцы от вчерашнего счастья. И бабушка на нас не обиделась, когда мы отмахнулись от варенья и А.М.Горького: нас ждут, бабушка, ждут!..

Мы обошли весь Вишневый сад, с фасада и огородов Поповскую слободу, вышли к дому нашего начальника отделения милиции, фео-

дальним замком стоявшему на берегу имени его (начальника) имени Чумадуrowsкого пруда, но нигде никого, кроме коз и похмельных мужчин. Нас не ждали. Даже Рудик не мог утешить меня. Но здесь в полуденном мареве сонной печальной улицы перед нами явился "брат" и призывно махнул рукой.

И мы снова увидели их. Они не умерли, не приснились, но как равному жали руку и хлопали по плечу:

— О, Гыгич, о!

И казалось, не было у меня такого, чего бы я не отдал им.

— В общем так, есть дело, — сказал Аркадич. — Нужно пройти испытание.

— (?)

— Ну, типа проверки...

Конечно, разумеется, о чем речь? К испытаниям мы были всегда готовы. Особенно Рудик. Ему лишь бы смелым быть.

Солнце давно уже обошло пол-неба. А в стриженных по-английски кустах боярышника, где мы сидели, парило от высыхающей после ночного дождя земли. На ней-то струганой веточкой Аркадич и рисовал подробный план школьного сада...

По одну его сторону, разделенную асфальтированной дорогой, точно выверенными рядами шагали деревья царских пород: папировские наливки, прозрачные, как янтарь, пекин-китайки, желтые, словно Азия, грушовки медовые, слаще которых не было и не будет, скрыжапель, райская мельба, ранеты, шафраны, анисы, конечно же, и антоновки с известным запахом прошлого деревенского счастья; а по другую, в кучерявых горах плодоносных кустарников грядки со всеми видами овощей, достойных Выставки достижений... Славно произрастало на удобренной прахом предков земле бывшего церковного кладбища! Нет, если б я был начальником, я б непременно присвоил нашей школе имя Ивана Мичурина!

Стоит ли говорить, как гордилось этим разнообразным плодом коллективных усилий школьное руководство! Однако гордость рядовых создателей сада — школьных учеников зиждилась отнюдь не на усилиях частных рук, вложенном в общее дело, но на способностях, тайно забравшись в сад, потрясти какую-нибудь особенную красавицу, давно отмеченную на уроке труда, и урвать незаконного наслаждения. Если учесть, что сад охранял школьный кочегар Петр Михалыч скорее из служебного увлечения, чем просто по совместительству, легко понять, как высоко ценилась подобная доблесть. Редко кто мог считать себя полноценным, состоявшимся человеком, не побывав в том саду нелегально, хоть и всего-то сорвал пару яблок, кочан капусты или пук грязной моркови. Замечу, и девушки, когда дело коснулось девушек, выше любых пионов и георгинов из индивидуальных палисадов ценили жалконькие букетики какого-нибудь ночного дурманного табака, но только со школьной клумбы. Петр Михалыч имел ружье и неистребимую потребность стрелять из него. Пусть хоть солью.

— Да вы не бойтесь, он только ночью стреляет.

— А днем?

- А днем не стреляет.
- Редко, — вклинился Банда, принимавший жизнь без затей.
- А я говорю, не стреляет, — сказал Аркадич.
- Стредяет, стредяет, на спор? — заспорил Банда вне плана.

Но Аркадич спорить не стал. Он вообще никогда не спорил.

- В прошлой году Шаляпид полез, а Бихалыч ему солью ду-дых... — И не в силах продолжить, Витек упал в смеховую стихию.

— Шаляпина бабка к бочке три дня вожжами привязывала? — отмачивала.

- Так он же ночью полез!
- Вечероб, вечероб, на спор? — вернулся Банда.
- Ну, не днем же!..
- Не днем, коदेशно, что он, дурак что ли?

— Значит — не стреляет, — Аркадич умел убеждать: — Его сейчас вообще в школе нет, сам видел.

— Но это же воровство, ребята, — попробовал возмутиться Рудик, но здесь его уже все осудили:

— Во дурак, во дурак! Ты же дурак-то такой! У нас все общее, понял? А если поймают, — я амбрал, и все. Амбрал я!

На любые вопросы старших Банда всегда отвечал: "Я амбрал!", что значило: "Я не брал". Сначала учителя смущались, но потом привыкли, и классу к шестому вообще Витька перестали о чем-либо спрашивать.

— Дело не в яблоках, дело в принципе, — окончательно презирая нас, сказал Аркадич, — хотите лезьте, не хотите, как хотите.

Всякому лестно быть смелым. Да и выбора у нас не было. И мы полезли в свежий пролом забора.

Земля в саду была черной. И отовсюду, как на картинках о светлом будущем, свисали плоды. И никого вокруг не было, будто в первом раю. Только из-за забора, из другой уже жизни за нами следили экзамену-ющие глаза оставшихся на атаке:

- Коричневку рви!
- Да не эту, не эту!..

— Грушовочки бы, грушовочки, да побольше, — шипели оттуда. Но мы их не слышали. Как разведчики вне закона, мы уже не принадлежали себе.

А изобилие все не кончалось, искушая нашу привычку к бедной, но честной жизни.

И тут раздался тонкий, пронзительный свист. Я еще правильно успел подумать, что так высоко и тревожно может свистеть один только М.Фигс.

— Шуба!.. — Прошелестело в ветвях, и мы увидели, как к заборной дыре и одновременно к нам огромными проверенными скачками не только вперед, но как бы и в стороны, захватывая все пространство возможного отступления, быстро дыша, как собака, несется ярый чер-ный мужик, блестя и сверкая зубами в разинутом красном рту.

Я так испугался, что не заметил, куда исчез Рудик, а когда ткнулся к пролому сам, его уже загородила громадная и торжественная, словно памятник, фигура кочегара и сторожа.

— Стой, — заорал он. Но я уже и не пытался бежать, а просто врос в землю по самые щиколки.

— Стой, — опять заорал он и со всего маху врезался в меня, как КРАЗ в предупредительный столбик. От удара я должен был отлететь за забор, но в самом начале полета он схватил меня за плечо. Потрясенные яблоки, выбив рубашку, глухо рассыпались в рыхлую землю.

— Попался, гаденыш!

— Дяденька, дяденька... Я не брал!

— Отпираться? Не отопрешься! Ну-ка, собирай яблоки, быстро!

— Не нужно, не нужно, дяденька...

— А...

Петр Михалыч сам заправил рубаху в штаны и сам, не выбирая, набил заново пазуху:

— Я те выдерну, гаденыш, я те, падла, выдерну! Шагай, — подтолкнул он в спину и, придерживая за плечо — опытный конвоир, провел через сад, по торжественной площади, по ступенькам на каменное крыльцо для почетных участников митингов и собраний, под слова "Будь достоин...", и здесь, видимо, особенно прочувствовав вину и позор, я сказал ему действительно честно:

— Дяденька, отпустите меня. Я больше не буду. Правда. Никогда.

— Никогда, — усмехнулся недоверчивым лицом сторож и кочегар Петр Михалыч и, одной рукой приоткрыв тяжелую дверь, другой толкнул меня в школу, в вечные запахи краски, мытого пола, буфета и раздевалок, в ненависть, гордость, любовь, жар полового томления, возвышенные мечтания, в табели неуспеваемости, отметки за поведение, в надежду на веру, в желание добра, в драки и дерзость, унижение и стыд, в мать, двух павлов, образ татьяны и много еще чего, — во все мои десять классов...

На стене кабинета директора, куда гордо, как трофей, ввел меня Петр Михалыч, висела географическая карта СССР, своим размером подчеркивающая мизерность всякого задержанного ученика в масштабе страны. За столом сидел Борис Борисыч — директор. Мужчина румяного здоровья, хотя и лысый. По его собственным словам, "безвременно потерявший волосы шевелюры в дурном климате севера", где он служил. Вместе с Петром Михалычем.

— Вот, Борис Борисыч, нарушитель, поймал, — сняв с плеча тяжесть руки, скромно указал Петр Михалыч.

Понимая, что мне уже никуда не деться, Борис Борисыч не сразу поднял глаза от стола.

— Подойди сюда, мальчик. Не бойся. Имя?

Я сказал.

— Фамилия?

Я сказал.

— А папа твой кем работает?

Я сказал.

— А мама?

Я про маму сказал.



— Да он из барака, Борис Борисыч, — заметил Петр Михалыч.

Я понял, что в этом кабинете все про меня известно, и мне отчего-то стало стыдно нашей маленькой комнаты.

— Понятно, что не из бани, — строго пошутил Борис Борисыч. — А в школе хочешь учиться?

Я кивнул.

— Слышь, Петр Михалыч, он в школе хочет учиться, — Борис Борисыч помолчал и вдруг неожиданно-непохоже на свой покой и покой своего кабинета рявкнул: — А ты знаешь, что нам в нашей школе преступники не нужны?! Нам не нужны воры! Ты знаешь?

От внезапности крика я дернулся, подлая рубашка снова не выдержала постыдного груза, и яблоки, теперь уже гулко и дробно, как из рога на картинах о будущем, выпали из меня, раскатившись по блестящему полу. Я было их кинулся собирать, но Борис Борисыч крикнул, как на разводе:

— Стоять!

И с одним пойманным яблоком, в слезах и соплях, я вытянулся перед ним, как солдат.

— Ну, кто научил залезть тебя в сад? Говори!

— Я сам.

— Так, значит, не хочешь учиться в школе? — спросил он и поднялся из-за стола.

Белая рубашка волновалась от движения мышц, зеленые подтяжки португеей подчеркивали стройность пышного тела, помидорного цвета шею туго стягивал яркий галстук, и чувствовалось, под одеждой весь он был красивый и налитой, как удар...

В ту пору, когда я начал учиться в школе, в нашем правительстве произошли некоторые перемены, и к власти пришел не легендарный, а натуральнейший Леонид. И именно мне учительница поручила отнести снятый со стены портрет снятого со всех должностей правителя в кладовку завхоза Нинель Васильевны.

Если бы знала она (учительница), как нес я его, гордый государственным поручением!

Но когда я пронес портрет из конца в конец длинного коридора и ступил на лестничную площадку, то понял: портрет низложенного правителя вот-вот выскользнет из онемевших рук, чего доброго лицом упадет на залпванный пол, и, дабы этого не допустить, прикинул его на перипа.

А в это самое время волею случайных обстоятельств к нижней ступени лестницы неминуемым шагом как раз подошел директор. Он еще не сделал последний, роковой шаг, как портрет совершенно непреднамеренно все-таки выскользнул из ученических скользких пальцев и, медленно планируя, словно дожидаясь окончательного появления Борис Борисыча, опустился ему на голову. Честное слово, я этого не хотел. И хотя было очевидно, что ни один заранее продуманный и тщательно подготовленный террористический акт не мог свершиться с той потрясающей точностью, с какой все произошло, именно тогда

наша первая учительница сказала, что прошлое у моего отца темное. И добавила:

— Яблочко от яблони недалеко падает.

Не удержалась и еще продекламировала, стбывая такт по столу толстыми пальцами: "Вырастет из сына свин.."

Однако истинная драматичность происшествия, кощунственность и извращенность поступка заключались в том, что Борис Борисыч и отстраненный бывший правитель были поразительно одинаково безволосы. Причем, к несчастью, полного сходства с правителем Борис Борисыч достиг к тому времени, когда того уже сняли. А здесь портрет еще этот!.. (Замечу, несмотря на отсутствие волос, с дальнейшим возрастом внешность директора разительно изменилась в пользу нового руководителя государства за счет внезапного, небывалого роста бровей, что скоро идентично оригиналу срослись и начали пышно куститься.)

Но бить меня Борис Борисыч и тогда почему-то не стал.

— Когда хочется что-нибудь своровать, всегда нужно помнить, что говорит по этому поводу Законодатель. А Законодатель говорит...

И Борис Борисыч сказал мне, что говорит Законодатель по этому поводу.

— Ну так кто научил залезть тебя в сад?

— Никто, я сам.

— Врет, Борис Борисыч, я видел.

— Вот видишь, а ты говоришь: "я сам". Что же это, Петр Михалыч обманывает? Обманывает, да? Ну, говори, обманывает? Говори!

— Нет...

— Так кто же?

— Я сам.

— Интересно...

Больше всего я боялся, что мне не позволят учиться в этой прекрасной школе. И в другую школу меня не возьмут, потому что рядом не было других школ. И ни в какую школу т а к о г о меня уже не возьмут. И я не смогу, никогда не смогу стать полезным и нужным людям.

И кто знает, может быть, я бы и сдал их всех скопом, разумеется, поверив, что тем самым спасаю от "губительного пути", если бы в это время не появился Рудик. Ясное дело, не один, а вместе со всеми своими Мупиями Сцеволами, братьями Гракхами, спартанским мальчиком с украденной лисой под поллой, с мучениками, спасителями, блаженными идиотами и остальной командой. Войдя без стука, он установился рядом со мной.

Странное дело, но и Борис Борисыч и Петр Михалыч его заметили:

— Во, Борис Борисыч, второй пришел...

— Ты, мальчик, зачем сюда сам? Сюда нельзя, — странно и недовверчиво улыбнувшись, сказал директор.

— Простите его, пожалуйста. Он больше, правда, не будет. Я знаю.

Борис Борисыч посмотрел на Петра Михалыча, Петр Михалыч на

Борис Борисыча, взаимно обретая уверенность в незыблемости убеждений.

— Дialeктический подход... Религиозная ветка, — сказал Борис Борисыч и опять посмотрел на Петра Михалыча.

— А то! — подтвердил тот.

— Понятно... Это хорошо, что ты так за товарища. Но не нужно. Учти, не нужно. Нам ведь все равно все известно. Мы матерьялисты не зря. — И обратился к Петру Михалычу: — Ну-ка, Петр Михалыч, перечисль нам, кто там был за забором?

И Петр Михалыч, волнуясь и боясь упустить, обстоятельно доложил всех, кто был за забором, включая и тех, кого там сегодня не было.

— Вот так, — подытожил Борис Борисыч, — тайное всегда становится явным... Все мы живем в таком замечательном обществе, где никому и ничего не нужно скрывать друг от друга. Правда ведь, Петр Михалыч?

— А то!

— И не нужно! Подумайте, кому это нужно? Задумайтесь, кому это на руку? Прожь унижает. Только правда возвышает человека, как сказал наш великий пролетарский писатель. Вы думаете, вы нас с Петром Михалычем обворовываете? — Борис Борисыч отрицательно покачал головой. — Школу? — Он опять непримиримо покачал головой: — Нет! — и шепотом произнес: — Государство, дорогие мои мальчишки! А знаете ли вы, что такое обворовывать государство?! Нет, и верю, верю, вы еще не знаете этого... Но нас с Петром Михалычем не обманешь, не зря мы теряли здоровье в суровых условиях Севера, охраняя поганую нечисть, и мы никому не позволим вступать на скользкий губительный путь измены социалистическим идеалам!..

Борис Борисыч вел в старших классах обществоведение и потому любил и умел говорить не думая и красиво.

— Идите.

— А яблоки?

— Не нужно, — обиженно ответил директор, — сами воровали, сами и ешьте. Нам с Петром Михалычем ворованного не нужно. И эти подбери, — брезгливо кивнул он на пол.

Из кабинета, из холода школьного коридора, в котором я сразу успел замерзнуть мокрым лицом, мы вышли на залитую асфальтом и солнцем площадь для торжественных линеек и митингов.

А возле бабушкиной калитки нам тихо, по-ночному свистнули из Вишневого сада.

— Ну как, что, чего?

— Бил или только ремень расстегивал?

— И ремень не расстегивал?

— Так что ж ты распух, как баба?

— Да я...

— Выдал, сука, иуда!

— Нет, ребята, честное слово. Сторож вас всех заметил.

— Не трепи...

- y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-yyy...

Но нас не стали наказывать. Просто предложили в китайский смех сыграть.

— Как в футбол, только лучше, — сказал Андрей.

Все-таки они нам поверили, не отвернулись, не отвергли, поверили!...

— Спасибо, — также шепотом сказал я, — не скажем.

— Чего это с ним?

— Дурак. Не понимает. Играй с такими в китайский смех.

И все разошлись до вечера.

А мы еще долго гадали, что это за китайский смех?

— Воровать можно лишь от великого голода, и то не стоит, потому ворованным могут насытиться одни нехорошие люди. А хороших равно поймают и посадят в тюрьму или даже убьют. И потому хорошим людям жить нужно честно...

Что же касается китайского смеха, то игра эта, да вовсе и не игра, оказалась настолько гнусной, что я не стану описывать в подробностях, как все происходило на самом деле, а вспомню лишь одну суть.

К игре начинают готовиться загодя. Конечно, не за неделю, но уж во всяком случае план ее вырабатывается заранее, лишь только объявится подходящий объект. И хранится в глубокой тайне. А если кто-то по жалости или из-за других каких лишних чувств выдаст тайну избранному субъекту, он, безусловно, будет наказан. Испытывая к избраннику симпатии, дружеское влечение, человеческое участие или что-то подобное, под убедительным предлогом можно попробовать уклониться от игры:

— Ма, че, чай пить? Иду...

И уйти. Даже если никто и не слышал в гулком вечернем воздухе трубного материнского зова. Но эта мера условной порядочности накладывает на уклонившегося некоторую печать общего презрения оставшихся игроков.

Вечером в Вишневом саду не оказалось М.Фигса. Зато пришло много других, например, сын начальника нашего отделения милиции, кого не было утром.

Удачному проведению операции сопутствуют ответственность, дисциплина, терпеливая сдержанность и, насколько возможно, таинственный фон. В нашем случае все было соблюдено в высшей степени замечательно.

В быстрой тьме жутковатого сада, ожидая товарищей на назначенном месте, мы уж начали тревожиться, что внезапные обстоятельства помешали проведению игры, как вдруг отовсюду, словно ветер в верхушках деревьев, зашумели вишневые ветки, и на поляне, забросанной бутылочными пробками и окурками, появились они, для страха и пущей важности подсвечивая лица китайскими фонарями.

Не всякий может держать в себе тайну, смех, слезы или что-то еще бесконечно, промедление было чревато, поэтому сын начальника нашего отделения милиции, по старшинству принявший руководство операцией, тотчас приказал завязать нам глаза ветками, пропахшими тленом, старушечьими платками, нарочно прихваченными для этой цели.

— А дальше, что дальше?

— Тихо, тихо, — шептали вокруг.

И правда, хотя людей собралось немало, на поляне было так тихо, будто не было никого и мы остались вдвоем; и я слышал, как наши сердца, по давнему выражению, стучали в такт, готовые к любым испытаниям.

— Готовы? — спросили диким тревожным сипом.

— Готовы!

Господи, как мы были готовы!

Кто-то н о в ы й взял мою руку и сквозь красные вспышки в слепых глазах повел, навсегда отрывая от Рудика.

Послушный чужой руке, я честно шел, спотыкаясь на подвохах и неровностях почвы, а вокруг враждебно и жутко пыхтела черная пустота. Рудик не отзывался. И тут я понял, что я один...

А потом меня поставили на колени.

— Тихо, тихо, так нужно, ничего, так всегда...

И уже не веря, но все еще боясь обмануться, я стоял на коленях, пока они, давясь подступающим хохотом, освобождали из штанов терпеливые до первых капель, предусмотрительно наполненные до отказа шланги.

И не сразу сообразил, что это течет по лицу и почему, как от слез, солено губам и так обжигаяще горячо открытым рукам... А когда понял — все уже было поздно. Даже бессильно и яростно кидаться по сторонам, зная, что никого не поймаешь.

Оставалось лишь плакать, мешая слезы с чужой мочой, повторяя:

— Дураки, дураки, какие же дураки...

А над садом, над вечером, над мирами горели звезды. И стихал, удаляясь, китайский смех.

Завтра я не найду себя.

СОНАТА ДЛЯ ГОБОЯ



**Светлана
КОРОВИНА**

Позднее осеннее солнце застает обитателей этой квартиры уже на ногах. Действует привычный распорядок: Евгения Георгиевна и ее двенадцатилетний внук завтракают и собираются на занятия в музыкальную школу при Гнесинском институте. Укладывают учебники, ноты, гобой. Рассеянный утренний свет проникает в комнату сквозь арки больших окон, скользит по желтоватому потолку в потеках воды, по стенам, по афише с отогнутым углом, висящей рядом со старым шкафом.

**Фото
Анатолия
ЗЫБИНА**



На афише две фотографии, подписанные: "Лауреат I Московского конкурса артистов эстрады Николай Посикера" и "Дипломант XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве Елена Старцева".

А ниже другим шрифтом – "Выступают в сопровождении инструментального ансамбля "Пано-

рама". Билеты продаются".

Это одна из последних афиш Сашиных родителей. Автомобильная катастрофа, случившаяся два года назад, одним махом разрушила все. Кончились игры в "угадайку", когда мама предлагала определить название и автора звучащей мелодии, а Евгения Георгиевна (в молодости знавшая пе-



счетное число песен и арий из оперетт) тайком подсказывала внуку ответы. Пет теперь "семейных советов", на которых в четыре голоса решались все житейские проблемы, на которых рождались проекты Сашинного музыкального будущего...

Вернувшись из гастрольной поездки, они отправились за сы-

ном на Украину, где он отдыхал у родственников. Мама взяла ему электрофоно, чтобы и на отдыхе Саша продолжал заниматься. Подъезжая к поселку, она уже предвкушала радость встречи, уже слышала смех сына... Но – визг тормозов, страшный удар. И...

Осталась боль. И еще – "Папка памяти", на корешке которой выведено: "Хранить 1000 лет". В ней письма, телеграммы родителей из гастрольных поездок, вырезки из газет с сообщениями о концертах. И – еще какой-то конверт, который Саша быстро вытащил из папки и спрятал от нас: тайна...

...В одной из комнат Советского детского фонда с утра стоит гул. Идет регистрация юных музыкантов, которые вскоре отправятся в Канаду на традиционный Параллельный фестиваль – музы-







кальный праздник, проводящийся с 1905 года. Советских ребят пригласил Джордж Кохан, директор знаменитой фирмы "Макло-нальде". Саша Посикера получил приглашение одним из первых. И сразу же друзья и знакомые — кто в шутку, а кто и всерьез — стали называть его "вундеркиндом".

Наверно, поэтому на первую встречу с ним я ехала с чувством неуверенности: лавинообразное определение. И — была крайне удивлена, увидев обыкновенного мальчишку с живыми черными глазами, веселого и очень открытого. С гордостью, но без хвастовства, он сразу же показал мне красную книжицу с золотым тиснением: "Мы верим в тебя". Такие памятки были вручены "особо одаренным и нуждающимся детям" — стипендиатам Детского фонда в 1989 году.

Саша, как считает бабушка, пока оправдывает это доверие. Кроме работы в школе он ежедневно занимается музыкой дома, ходит на репетиции различных оркестров, не пропускает ни одного интересного концерта. Все самое значительное, самое важное для него он обсуждает с Евгенией Георгиевной.

Но не подумайте, что Саша с утра до вечера занят одной лишь музыкой. Приключения королевских мушкетеров, например, увлекают его ничуть не меньше, чем фуги Баха или прелюдии Рахманинова. А после ужина он мчит-ся к почтовому ящику, где его ожидает очередная куча газет и журналов, и, как говорит бабушка, "с головой проваливается в прессу" — в поисках новых сообщений об НЛО, полтергейсте и прочих аномальных явлениях. Но прохо-

дит еще минут двадцать — и Саша появляется перед Евгенией Георгиевной, увешанный пистолетами и саблями, изображая то ли лихого ковбоя, то ли кровожадного самурая...

— При чем здесь слово "вундеркинд"? — скажет мне на следующий день после визита к Саше его педагог по гобое профессор Иван Федорович Пущечников. — Вундеркинд — это что-то запредельное. Таким, например, в детстве был Моцарт. О Саше же я могу сказать только то, что для своего возраста он делает большие успехи. Но успехи эти ценны вдвойне, потому что мальчик пришел в музыку поздно. Мои ученики начинают играть на блок-флейте с пяти лет. А он впервые прикоснулся к духовому инструменту лишь в девять с половиной. За год прошел трехлетнюю программу и взял в руки гобой. Совершенно случайно "попал (как говорят у нас, музыкантов) на свой инструмент". У парня редкое сочетание — хорошие физические данные, музыкальное чутье и прогрессирующая техника... Если и дальше он будет работать так же настойчиво, то — я в этом даже не сомневаюсь — уже через пару лет Саша станет классным музыкантом, готовым к оркестровой деятельности...

Уж не знаю, что значит "классный музыкант" для Пущечникова, но для меня Сашина игра на гобое (он согласился исполнить сонату собственного сочинения) представляется музыкой экстра-класса.

Аккорды ступенчато перекашиваются, взрываются на полноту и замирают с басистым рокотом. "Подражание Баху" — улыбается бабушка. Саша же серьезен. Я еще не видела его таким серьезным.

Даже странно. Еще минут пятнадцать назад дурачился, ерничал, отвечая на мои вопросы, подшучивал над бабушкой. И вдруг – такая метаморфоза.

Но я случайно ловлю его взгляд, брошенный на афишу (ту самую, с отогнутым уголком). – и многое вдруг становится яснее.

Я вдруг понимаю, почему этот парнишка, никогда не отличавшийся усидчивостью, прошел трехлетний курс обучения за год. Понимаю, почему его самая любимая соната, звучащая сейчас, так хрупка и печальна, и почему так

задумчивы его всегда живые глаза. И почему из всех родительских афиш он повесил на стену не ту, что поярче, и даже не ту, где четче получились их фото, а именно эту – с такой, казалось бы, целеной припиской – “Билеты продаются”.

Эти два слова – как мостик из прошлого в будущее. Из “вчера” в “завтра”. Ведь раз билеты продаются, значит, впереди выступление, значит, мама и папа живы. И они будут живы всегда. В его радостях и огорчениях. В его надеждах. В его музыке...



ИЩУ ДРУГА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

*Очень многие ребята, приславшие письма
в редакцию нашего журнала,
высказывают желание,
чтобы на его страницах печатались адреса тех,
кто хотел бы найти друга по переписке,
единомышленника, разделяющего его увлечения.
Итак – вот адреса тех, кто ждет ваших писем.*

Наташе 14 лет, она любит фантастику, приключения, детективы, с удовольствием слушает группы "Ласковый май", "Комбинация", "Маленький принц" и другие.

446350, Куйбышевская область, г. Жигулевск, ул. Гоголя, 4, кв. 8. Мистрюкова Наташа.

Девочка, указавшая только свои инициалы, пишет: "Мне 13 лет. Обожаю большой теннис, английский язык, маму, шоколад, музыку, мою подругу, книги, красивые вещи и все вкусное, еще люблю танцевать..."

330068, г. Запорожье, ул. Круговая, 107, кв. 47. С.К.

Киевлянка Лиля ничего, кроме своего возраста – 15 лет, – нам не сообщила. Вот ее адрес:

252083, Киев, ул. Войсковая, 23. Матазюк Лилия.

Дине пятнадцать лет, она любит детей и хочет стать учительницей. Любит музыку, кино, танцы, любит читать и кататься на велосипеде. "Я люблю все красивое, – пишет она, – очень жалею, что сейчас нет ковбоев. Когда-нибудь я обязательно поеду путешествовать!"

341031, г. Мариуполь, пр. Metallургов, 165 – 58. Денисова Дина.

15-летняя Таня переживает разрыв с близкой подругой – и надеется, что найдутся мальчики и девочки, которые станут ее верными (хотя и заочными) друзьями. А почему бы и нет?

140408, Московская обл., г. Коломна-8, ул. Калинина, 10, кв. 167. Татьяна Ф.

Ира ждет писем от всех тех, кому нравится группа "Ласковый май" и ее солист Юра Шатунов. Судя по нашей почте, таких ребят – очень много. Жди писем, Ира!

347340, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, 68, кв. 109. Виноградова Ирина.

Наташе 13 лет, ей, судя по письму, нравятся видеофильмы с участием Брюса Ли и Джеки Чака.

127349, Москва, Алтуфьевское шоссе, 86, кв. 135. Наташа В.

13-летняя Таня пишет: "Я – "белая ворона" среди "серых". "Серые" – это те, кто ругается матом, кому хватает школьных знаний, чьи интересы – в модной одежде и в красивых мальчиках. А меня интересует история и культура родного города. Я знаю, что такие, как я, есть. Ау! Где вы, "белые вороны", откликнитесь!"

413110, Саратовская обл., г. Энгельс-10, ул. Щорса, 19, кв. 14. Смугина Татьяна.

16-летний Денис, называющий себя Дэн, обращается ко всем своим тезкам, которые подписались на наш журнал: "Дэны! Я хочу создать всесоюзную группировку Денисов. У нас уже собралась компания из 15 Дэнов, есть свой значок. Но мы все разные. Я, например, фанат группы "Депеш Мод", есть фанаты Цоя и Битлз. Пишите о своих увлечениях и житухе".

440035, Пенза, ул. Попова, 12а, кв. 78. Красников Денис.

Две 14-летние ленинградские девочки ждут писем от мальчиков 15-16 лет. Вот что они пишут о себе: "Мы занимаемся спортом, учимся в художественной школе, увлекаемся поп- и рок-музыкой, любим веселые компании и дискотеки. Ждем писем от мальчиков смелых, сильных, которые могут постоять за себя, симпатичных, веселых, добрых".

**193267, Ленинград, Гражданский проспект, 126/2, кв. 61.
Лазарева Мария.**

**195299, Ленинград, проспект Просвещения, 104, кв. 147.
Ефименко Мария.**

15-летняя Ира просто ищет хорошего, надежного друга.

171260, Тверская обл., Редкино, ул. Пионерская, 1 – 2. Костенко Ирина.

Юлии 14 лет, после окончания школы она хочет поступать в одно из московских театральных училищ. Ждет писем от мальчиков и девочек, которые в будущем хотят стать киноактерами.

**301302, Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Барсуки, Микрорайон, 3/26.
Яшина Юлия.**

И еще одно письмо – единственное в своем роде. Его автор интересуется эсперанто и, видимо, знает этот искусственный язык, придуманный Л. Заменгофом. Наверное, у него есть и единомышленники...

127543, Москва, ул. Корнейчука, 33а, кв. 114. Туякин Георгий.

Дорогие друзья! Мы ждем писем от тех, кто хочет, чтобы его адрес был напечатан в рубрике "Ищу друга".

Пишите о себе – сколько вам лет, каковы ваши увлечения, чего вы ждете от своих будущих корреспондентов.

И самое главное – пишите разборчиво свой адрес!

И пусть найденный на страницах "Мы" друг будет для вас самым близким...

Рубрику ведет
искусствовед
Нина ТИХОНОВА

Фото
Дмитрия
ЛОВКОВСКОГО

РОК-Н-РОЛЛ ПОД РАДИАЦИЕЙ



«В заглавии стояла: "Вопли Видоплясова". Сколько я ни напрягал внимание, стараясь хоть что-нибудь понять, — все труды остались тщетными. Это был самый напыщенный вздор, писанный высоким латинским сло-гом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, про-сит моего содействия, в чем-то

очень на меня надеется, — по при-чине моего просвещения».

Ф.М. Достоевский
«Село Степанчиково
и его обитатели»

Острословы замечают, будто появление в Киеве рок-группы "Вопли Видоплясова" является одним из последствий радиоак-

тивного заражения после чернобыльской аварии. В самом деле, до "Воплей" об украинском роке практически не было слышно. Изредка какая-нибудь команда, в духе времени "переплавлявшая" ВИА на металл, рассказывала, что под бдительным надзором Укрконцерта ничего живого сделать невозможно. И вдруг откуда ни возьмись объявился малоросский андеграунд, да еще столь ярким явлением как "Вопли".

На первых концертах "Воплей" в Москве меня поразило, что, хотя в репертуаре группы преобладают песни на украинском языке, а текст для нее немаловажен, музыканты быстро находят свою аудиторию в российском регионе. Говорят, группа имеет меньший успех у прибалтов, привыкших ориентироваться в роке на музыку. А в России, несмотря на то, что слушатели понимают тексты "Воплей", мягко сказать, в общих чертах, группа вполне вписалась в традиционное и любимое здесь направление — стеб-рок.

Сочетание народных напевов с рокавскими пассажами может давать острый пародийный эффект. "Вопли" не скрывают, а подчеркивают такую возможность, исполняя то "Краковяк-рок", то доину-рок в песне "Полонина". Многие слушатели из южнорусской молодежи склонны воспринимать подобную эклектику всерьез — для них "Вопли" как бы сглаживают грань между привычной эстрадой и авангардными новшествами в музыке. Такие зрители особенно ценят группу за утверждение национального — и по мелодике, и по языку — украинского рока.

Хотя, полно, рок ли это в меж-

дународном смысле? Не исключено, что неанглоязычный рок всегда воспринимается немножко как курьез. А уж колоритная украинская речь в рок-гарнире с непривычки слушается суперхолодной.

Все становится понятно, когда видишь "Вопли". Это вам не столичные герои — "провозвестники" и "паладины". Свою провинциальность группа сумела сделать основой художественного образа, превратив в достоинство. Выступай нынче "Вопли" хоть на стадионе, они превращают его в сельскую танцплощадку, на которую мужественно пробивается ранний рок. Для многих местностей нашей страны это не глубокая история, а сегодняшняя реальность. И потому так убедительны, свежи, человечны "Вопли", не знающие пока снобистского холода абсолютного признания.

На танцплощадке — довольно знакомый персонаж. В "деревенских" рассказах и фильмах такой обычно занимает единственную в селе должность, связанную с культурой, — директор клуба или библиотекарь. Он же считается инвалидом умственного труда, местным "чудиком". Его роль в "Воплях" исполняет Олег Скрипка. Берясь то за баян, то за гитару, то за саксофон, среди частушечно-плясовых мотивов, он истово утверждает полит-рок. Фраза "танцуют все" звучит у него по меньшей мере революционным лозунгом.

Рядом с "чудиками" всегда ходят какие ни есть "апостолы". Шалого культорга в спектакле "Воплей" сопровождает тощий долговязый парень, похожий на старшекласника, безбожно вы-

росшего из старой школьной формы. Приоткрыв от усердия рот и слегка высунув язык, что не делает его лицо более умным, он старательно "скребет" на бас-гитаре. Это – Александр Пипа.

А на авансцене, по уши натянув берет "борцов испанского сопротивления", шныряя блестящими глазами экстремиста, как подпольщик на шухере, нервно прохаживается приземистый гитарист Юрий Здоренко.

Здоренко и Пипа играют вместе со школы, с 1980 года. Однако лицо группы начало прорисовываться в 1986 году, когда Юра вернулся из армии, а из Ташкента на свой страх и риск переехал в Киев и присоединился к ребятам Олег Скрипка.

"Едва появился украинский рок, – рассказывает администратор "Воплей" Александра Семёнова, – в Киеве при поддержке комсомола возникла рок-артель. Группам предложили держаться вместе – хорошо. Но оказалось, что замостийные лидеры андеграунда еще большие бюрократы и тираны, чем прежние чиновники. Вожаки артели хотят распределять гастроли, как подачки. Начинаются интриги. Даже выдвинутый руководством артели принцип выступать по очереди для искусства не подходит – это уравниловка какая-то. В такой ситуации мы предпочитаем сотрудничать с кооперативом при государственной концертной организации."

Есть у "Воплей" и другие проблемы. У любых артистов всегда находятся поклонники, которые не просто поаплодируют из зала, зайдут за кулисы поздравить, но еще притащат ящик водки, будут

сутками таскаться следом и морочить голову гипертрофированными похвалами и обещаниями сказочной протекции. Молодым и непугано-добродушным "Видоплясовым" не хватает пока жесткости гнать подобных "доброжелателей".

А стоит серьезно думать над вопросами творческими. Группа становится известной, и 3–4 хитов из 20 песен репертуара уже явно недостаточно. Не всегда хватает мастерства держать образ, хочется пофорсить, покрасоваться на сцене, из чего создается впечатление, будто художественное решение вообще возникло у ребят случайно. Не хватает умения импровизировать и "ломать" зал, когда, бывает и такое, выступление "Воплей" вызывает резко негативную реакцию. Лично мне кажется, что музыканты недостаточно ценят органично присущие им пародийные краски, порой хотят быть "не хуже других", вполне серьезными. Меня, например, утомляет заигрывание группы с восточной музыкой. Хотя, может быть, я чего-то не понимаю в украинском тексте подобных песен. А может, и хорошо, что не понимаю: русскоязычные номера программы "Воплей" не слишком далеки от тривиальности, вдруг и украинские при внимательном рассмотрении окажутся такими же?

Вообще же мальчишки из "В.В." интеллигентные: даже название себе придумали такое, что не всякий с ходу сообразит, откуда оно позаимствовано. А сообразит – перечитает классику. А перечитает – поймет, что "Воплями Видоплясова" группа назвалась не только ради пушей эффектности,

но и по некоторой духовной аналогии советского рока с персонажем Достоевского.

Впрочем, настоящий Видоплясов умер в сумасшедшем доме. Его тезки пока не сдаются. В одной из песен, в грохоте модных ритмов их герой восклицает: "Хочется бігти до самого горизонту та кричати. — Брати, я знаю, що ви е, я кличу вас. Відчукнись!"

Эти заметки я делала около года назад. Нынче "Вопли" нашли выход на международную арену. Среди их уже не одноразовых гастролей за рубежом — выступление на фестивале в Бурже — том самом, где получила признание экстравагантность группы "АукцЫон". Во Франции больше, чем у нас, умеют ценить остренькое.

А тем временем Александра Семенова, по-прежнему похожая на сурового пацана, не дает потачки отечественным менеджерам. Другие ее коллеги только и норовят всучить взятку, чтобы коллектив вставили в программу. Администратор "Видоплясовых" взяла иной курс. Она бдительно следит, чтобы "акулы" концертного бизнеса не халявничали — делали фестивали не на дармовую пластинку. Больше положенного не надо, но проезд и проживание артистам — оплаты. Будь то хоть телевизионное шоу, возделенное для всякого актера. Я видела, как на съемках "Программы А" Семенова выпрыска из ведущего рубрики "Авангард" Артема Троицкого его личный столытник в компенсацию оплаты труда группы, заканчиваясь ТВ.

И правильно! Уважение к человеку начинается с умения им самим ценить собственную работу.

РОКАБИЛЛИ "МИСТЕРА ТВИСТЕРА"

Очаровательный блондин, гитарист, вокалист и автор большинства песен репертуара группы "Мистер Твистер" Вадим Дорохов плакал, споняясь на одной из многолюдных рок-тусовок. Слезы счастья артиста вскипали на винных парах празднования существенного для ансамбля события: "Мелодия" выпустила пластинку "Твистера". Утверждают, что это первый диск рокабилли, вышедший в нашей стране.

Впрочем, когда я увидела группу впервые ("Твистер" тогда по линии Росконцерта объехал буквально весь Союз), ребята пели попури из песен ностальгически знакомых — музыку отцов, однако не западных патриархов рок-н-

ролла, а отечественных эстрадныхников, кого вполне официально пропагандировали советские массмедиа в 60–70-е годы. Так и помнится: “А я иду к тебе с приветом... как к... королеве красоты”. Ох уж эти конспиративные “рокабиллышки” – Горовец, Пьеха, Миансарова, Хиль, Магомаев! Жанна Агузарова быстро сообразила, что в архиве “совка” можно отыскать замечательные твисты. Наследием не погнушались и “Твистеры”.

– Надо полагать, имея столь мощную предысторию на местной почве, ваше направление рок-музыки избежало традиционных притеснений? – беседую я с откровенно более трезвым контрабасистом группы Олегом Усмановым.

– Не совсем, – по обыкновению взбудораженно тараторит он. – С нашей фотографии на конверте пластинки соскоблили татуировки. На телевидении, в “Программе А”, порекомендовали исполнить песенку из арсенала англоязычного рока, забоялись нашего текста: “И на мою наколку ммуро косится мент”.

– А у вас татуировки настоящие? Фашисты бы из вашей кожи абажуры делали – так много разноцветных красивых картинок на теле. Я думала, это вы просто чернилами рисуете.

– Нет, самые настоящие. Нарисованные смываются, каждый день заново рисовать – никакого времени бы не хватило.

– Куда ж вам столько времени? Ну, барабанщик наш Валерий Лысенко, он из Белгорода. Вышшую школу КГБ окончил, на джазе завернул. У него уйма пластинок.

Павел Веренчиков недавно с нами, окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Пробует стать мультиинструменталистом. И на саксофоне играет, и на фортепиано. Нам бы собственную студию, вот где его талант бы развернулся, накладывали бы звучание разных инструментов, а то все разом в руках не удержишь.

Вдвоем с Вадимом Дороховым мы играем давно. Группу создали в 1985 году. Я в инязе учился, потом бросил. С саксофонистом мы оба еще и электронщиками успели побывать, я на телевизионном заводе работал. Теперь вернулся в иняз, надо поспевать совмещать музыку и учебу.

– У вас в группе еще мальчишек есть, шоумен, что ли. Он всегда танцует на сцене, когда вы выступаете, будто бы особенно увлеченный фэн взобрался на подмостки. Зовут его еще так приметно – Маврик. Считается, он на мавра похож? Это потому, что вы любите носить косынки не только как шейные платки, но и повязывая головы?

– Нет, это его настоящее имя – Маврикий.

– Здорово танцует. Учился этому где-нибудь?

– Нет, так, с детства танцевал.

– У него родители из искусства?

– Ты лучше спроси, кто у него дед с бабкой. Его фамилия – Слепнев. Дедушка – из экипажа летчика Водопьянова, на Северный полюс летал, челюскинцев спасал. А бабушка примой балериной в Большом театре была. Она-то с Мавриком балетным станком сызмальства и занималась.

– Насколько я знаю, пригла-

шениями из-за рубежа вашу группу не балуют?

— Не очень. Были в Польше гостями на "Зеленой гуре". В Хельсинки — два выступления и фильм там с нашим участием финны снимали.

— Для Запада рокабилли — глубокая история.

— Да уже второй виток проходит. На Западе рокабилли возродилось в 80-е годы. Подросли дети, способные по новой влюбиться в музыкальный стиль 50-х. Наша группа тоже на этой волне обраровалась. Сейчас все нарядились в кожаные куртки, ковбойские сапоги, рваную джинсуру. А мы давно живем этим стилем и дома, и на сцене. Дырки на джинсах не специально резались — сами протерлись на коленях. Теперь, вероятно, нам придется что-то менять, чтобы не быть на одно лицо со всеми.

— Так что такое — рокабилли? Я знаю, это — ранний рок, этап, когда синтезировались черная и белая музыка, ритм-энд-блюз и кантри.

И тут Усманова, собирателя и переводчика материалов по рок-н-роллу было уже не остановить. Он так и сыпал названиями, фамилиями. А ведь только основных направлений в легкой музыке на заре американского рока было, как минимум, пять.

Вокальные группы (у них тоже был свой "совок" — поясняет Олег) — конфетная лирика, блестящие, кордебалет.

Чикагский гитарный блюз. Хиты Чака Берри до сих пор исполняются.

Нью-орлеанский фортепианный блюз. Это — Литтл Ричард.

Северо-атлантический танце-

вальный оркестр. Самый известный музыкант — Билл Хейли.

И рокабилли. Оно "раскачивало" кантри, простонародный стиль хиллбилли (примерно переводя: Билли с пригорка) ритмами бита и рока. Говоря с меньшей научной точностью, но искренне передавая ощущение, рокабилли сегодня называют самым чистым "настоящим" роком.

Рокабилли покровительствовал Сэм Филлипс, который открыл в Мемфисе фирму грамзаписи "Сан". Он нашел Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Карла Перкинза, Джонни Кэша. Все они и еще Бадди Холли, Джим Винсент, Эдди Кокрейн, Джонни Бернет пели и играли рокабилли. Эта музыка переиздается и жива до сих пор.

— Похоже, в одну статью мы не уместим всех необъятных сведений о рок-н-ролле, да еще так, чтобы перед читателями не просто мелькали более или менее известные имена и названия, а раскрывался смысл каждого. Знаешь, со следующего года наш журнал открывает рубрику "Рок-ликбез", где мы станем подробно останавливаться на всех аспектах истории и теории рока. Своими знаниями согласился поделиться известный искусствовед, преподаватель курса джаза и рока в Московском педагогическом институте, автор и ведущий радиопрограммы альтернативной музыки "Контрасты", консультант международных фестивалей — это все один человек — Дмитрий Ухов. Может быть, и ты, Олег, примешь участие, расскажешь о запасах своего архива?

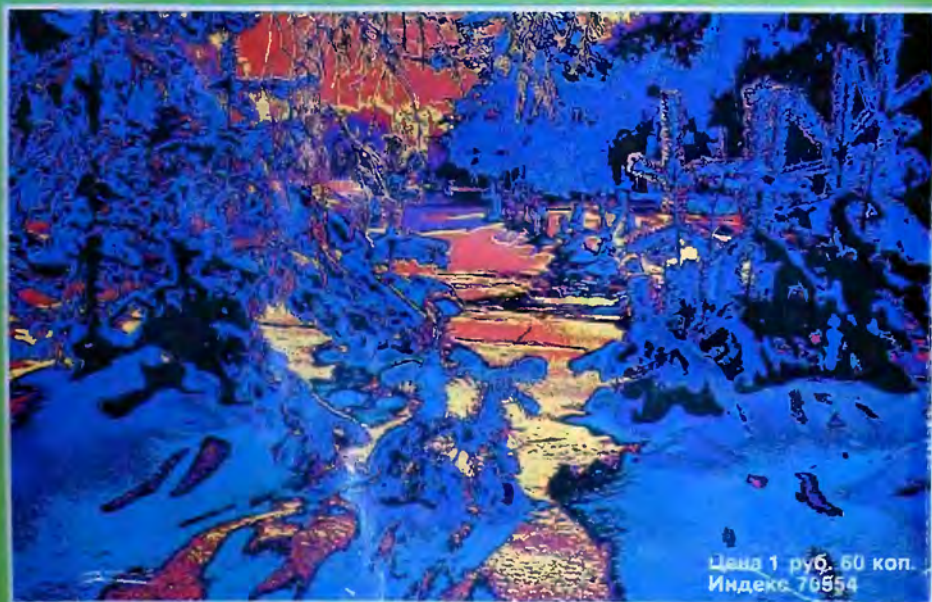
— С удовольствием. Тогда — до скорой встречи!



61
Редколлегия журнала "Мы"
присудила премии за лучшие произведения,
опубликованные в 1990 году.

Премий удостоены:

Прозаик Петр КОЖЕВНИКОВ – за повесть "Две тетради" (№ 7);
поэт Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ –
за цикл стихотворений "Воспоминания о свежести" (№ 8 – 9);
молодой прозаик Дмитрий ФИЛИМОНОВ –
за фантастический рассказ "Я все предусмотрел!"
Или 10 000 лет тому назад" (№ 3);
студент факультета журналистики МГУ Илья АЛЕКСЕЕВ –
за очерк "Бесконечная жизнь в пределах круга" (№ 8 – 9).



Цена 1 руб. 60 коп.
Индекс 76554

За произведения наших читателей,
опубликованные в рубрике "Проба пера",
премии присуждены:

Георги ЛОРДКИПАНИДЗЕ, 12 лет –
за рассказ "Уроки музыки" (№ 5 – 6);
Тане СМОЛЯРОВОЙ, 15 лет – за подборку стихотворений
"На дачных перероках" (№ 10).

Премий также удостоены
искусствовед Нина ТИХОНОВА
и фотокорреспондент Дмитрий ЛОВКОВСКИЙ –
за подготовку материалов рубрики "Рис. – микроскопидил".

Поздравляем первых лауреатов премий журнала "Мы"!